В. А. МАКЛАКОВ

ВТОРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

(ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКА)

ПАРИЖ

В. А. МАКЛАКОВ

ВТОРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

(ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКА)

ПАРИЖ

ГЛАВА I.

Смысл роспуска 1-ой Думы и политическая программа Столыпина.

Время от 8 июля 1906 г. до 3 июня 1907 г. представляет последнюю страницу периода, который называли «первой Революцией». Роспуск 2-ой Думы его завершил. При 3-ьей Думе внешнее сходство с «Революцией» исчезает. Начинается эпоха «конституционной Монархии». Левая общественность глумилась над «3-ье-июньскою» Думой, над ее «угодливостью» и «раболепством». Поводы для законного негодования эта Дума давала не раз. Но любопытно, что одновременно с нею начался подъем России во всех отношениях. «Конституционный строй» показал этим свою пригодность для России, несмотря на ее политическую неопытность и на проистекшую из нее массу ошибок. Но период конституционного обучения уже через 6 лет (1914) был приостановлен европейской войной, а потом прикончен подлинной Революцией.

В конце «первой Революции» стоит злополучная 2-ая Дума. Ей не повезло сравнительно с первой. Первую или ненавидели, или прославляли; вторую, повидимому, вспоминали только затем, чтобы бросать в нее камнями, которые летели с самых разных сторон.

Справа, умудренный жизнью Коковцев вспоминает об этой Думе с непохожим на него озлоблением и несправедливостью. Он говорит, будто ее заседания*)

> «носили характер какого-то невероятного сумбура, настолько было ясно, что никакая продуктивная работа была немыслима; да она никого в Думе и не интересовала, а все время уходило на бесполезные попытки правой фракции бороться против явной демагогии, неприкрываемого стремления дискредитировать правительство по всякому поводу со стороны всех остальных фракций, которых на самом деле и не было, так как вся Дума представляла сплошное революционное скопище, в котором были вкраплены единицы правых депутатов, отлично сознававших всю свою беззащитность даже с точки зрения руководства прениями со стороны председателя Думы».

*) Коковцев. Из моего прошлого, т. I, стр. 257.

По иному, но не справедливее, судили и слева. В предисловии к своей книге: «103 дня 2-ой Гос. Думы», А. Цитрон излагает общее мнение «левых». Все, по его словам, негодуют на эту Думу, которую будто бы «погубили» кадеты:

«Для всякого наблюдателя жизни Думы вставало непреложной истиной два положения: отступление партии народной свободы от начал русского освободительного движения и последовательная, прямолинейная тактика социал-демократов».

Поучительнее всего, как об этой Думе отзывались сами кадеты. Привожу цитату Винавера:

«И когда затем над безмолвствующей страной пронесся бушевавший семь месяцев смерч столыпинского режима, обществом овладело раскаяние, и собравшаяся «левая» Дума, под влиянием новых, идущих особенно сильно из провинции веяний, выставила резко лозунг: «беречь Думу», беречь уже не ту Думу, полную вдохновенного полета великой эпохи, успевшую в короткое мгновение одолеть все трудности новизны дела, начертить горделивые контуры нового государственного строительства, блеснувшую мужеством и талантами, внушавшую одним надежды, другим, если не страх, то уважение; «беречь» решено Думу серенькую, Думу «безглавую», Думу, как «символ»*).

Эта строгость ко 2-ой Думе тем разительнее, что причина «бесцветности» второй «серенькой Думы» лежала как раз в том «блеске», «мужестве», «вдохновении» Первой Думы, которые прославляет Винавер и которые не привели ни к чему; именно за них расплачиваться пришлось Второй Думе. Она оказалась в положении «обманутого сына» перед «промотавшимся отцом»; а Винавер посадил ее на амплуа тех дурнушек (repousse-beauté), которых французские красавицы вывозят с собой для выгодного сравнения. Во имя исторической правды надо быть объективнее к жизни этих двух Дум.

Общественное мнение считало бесспорным, будто деятельность первой Думы была борьбой «конституции» с «пережитками Самодержавия». Такое определение можно принять, но с поправкой, что «конституцию» защищало правительство, а «пережитки Самодержавия» — Дума. Это кажется «парадоксом». Но в нем разгадка этого времени.

Конечно, в тогдашнем правительстве не было никого, кто бы еще до 1905 года боролся за конституцию. Министров брали исключительно из класса, воспитанного на Самодержавии; никто из них о

*) Винавер. «Конфликт в 1-ой Думе», стр. 5.

конституции не мечтал. И тем не менее, за время 1-ой Думы нельзя указать ни одного действия правительства, которое бы конституцию «нарушало». С многими шагами его можно не соглашаться, но они были «конституционны». Было ли это результатом дисциплины культурных людей, или притворством — безразлично. Конституция была все время па их стороне, и своим лойяльным к ней отношением они отличались от Думы. Бюрократия приспособилась к новым порядкам и выдвинула «парламентарных» министров; этим лишний раз доказала способность русского человека не пропадать в трудных условиях.

Иное придется сказать про членов Первой Государственной Думы. Они давно были борцами за конституцию; многие были знатоками «парламентской техники» и считали себя «врожденными парламентариями»*). А деятельность их в Думе оказалась сплошным отрицанием конституции.

Это я подробно показывал в своей книге «Первая Дума» и не хочу повторяться. Только добавлю, что все неконституционные поступки и заявления, как отдельных членов, так и целой Думы, вытекали из того понимания, которое они имели о себе и своей роли. Они считали ее одну выразительницею «воли народа», которая выше конституционных «формальностей». С первых шагов они потребовали уничтожения Верхней Палаты, как средостения, подчинения министров себе и установление строя, где «Монарх только царствует, но не управляет». Что такое понимание было переоценкой своей фактической силы и недооценкой силы противника—ясно. Но оно кроме того было и отрыжкой идеологии главной язвы России — Самодержавия — при котором утверждение, что «закон» должен быть выше «воли» Монарха, считалось признаком «неблагонадежности». Для первой Госуд. Думы аналогичное утверждение относительно ее самой казалось «отсталостью»; «воля» народа, которую она выражает, выше законов. Если понимали, что у Думы нет сил такую точку зрения отстоять, то никто не замечал, насколько для «конституционалистов» она была **недостойна.** Только когда депутаты опасались, что их собственные права будут нарушены, они под защиту формальной конституции соглашались их ставить. Они считали ее обязательной для **правительства.** Но ведь то же самое было и при Самодержавии; и оно от **других** требовало, чтобы закон соблюдался; привилегия его нарушать принадлежала ему **одному.** Идеология Думы в этом совпадала с Самодержавием.

Сходство шло еще глубже. «Освободительное Движение» не заслуживало бы ни своего имени, ни своего места в истории, если бы целью его было не обновление России, не водворение в ней права, как высшего руководителя общежития, а замена одной «воли», т. е.

*) Винавер — Недавнее, стр. 135.

«произвола», другой. Из какой бы социальной среды ни вышел новый неограниченный повелитель России, какие бы цели он ни ставил себе, его «произвол» остался бы произволом, и при нем не создалось бы ни «правового порядка», ни «правовой атмосферы». Зло Самодержавия, которое со времен Сперанского все же хотело противопоставлять себя «деспотии» и сочетать Самодержавие с управлением «на твердом основании законов», заключалось именно в том, что, по силе наших законов, Самодержец мог изданные им самим законы, не отменяя их, — нарушать. Он считал себя **выше** их. Этой аномалии уже не было в Основных Законах 1906 года; уже потому одному они были настоящею «конституцией» и делали впервые правовое государство в России возможным.

Первая Дума этого не оценила. Она претендовала на то, чтобы ее **воля** считалась выше законов. В своей реплике на декларацию, Набоков называл Думу не Законодательной Палатой, а «законодательной властью». В запросе о черносотенных телеграммах, критика Думы квалифицировалась, как «дерзостное неуважение», технический термин закона, применяемый только к «Верховной Власти».

Это не было только плохою редакциею. Это совпадало с учением наших «властителей дум», будто основные законы 1906 г. только «лже-конституция», пока в ней есть **преграды** для «суверенности» Думы, пока существует вторая Палата из назначенных членов и правительство, которое перед ней **не ответственно.** Либеральная общественность считала это самоочевидной истиной. Ничего сделать нельзя, говорил Милюков, пока не будет введена 4-хвостка для выборов в Думу, не будет уничтожена 2-ая Палата и правительство не будет перед Думой ответственно. Без этого будто бы настоящей конституции нет.

Тогда иногда замечали, что с этого нельзя «начинать», что это может быть только «конечною целью». Но сейчас должно добавить, что этим учением наши политики стремились ввести в России тот самый спорный порядок, который в Европе привел к «кризису демократии». При таком понимании, «народному представительству» угрожает соблазн подчинить себе **все** функции государственной власти, становиться самому «Самодержавием». Всякое Самодержавие, хотя бы большинства, с господством права несовместимо. Оно порождает «угнетение», и «произвол». Нужно иметь такую многовековую политическую культуру, как в Англии, чтобы уметь добровольно самого себя ограничить. Этого не могло быть в России, выросшей на Самодержавии; первая Дума вдохновлялась его идеологией, когда считала для себя унизительным подчиняться «закону». Для установления начал правового порядка в России, надо было Самодержавие Монарха **ограничить**, а не заменять Самодержавием большинства Гос. Думы. Конституция 1906 г. — и в этом громадное ее преимущество перед хвалеными «освобожденскою» и «земскою»

конституциями, — именно это и сделала; она была построена на принципе разделения властей и их равновесия. Она ограничила Верховную Власть, но и «представительству» дала противовес в лице исторической власти, **от него независящей.** В этом был путь к установлению «правового порядка». Недаром Мирабо такими именно доводами защищал когда-то перед Национальным Собранием «королевское вето»*). **Это** было нужно России, поскольку она хотела «правового порядка», основы которого важнее преходящих и условных государственных форм, в которые он облекается.

Но «вожди» рассуждали иначе. Случайность и внешность они принимали за сущность. Парламентарный строй, 4-хвостка для выборов представлялись им непременными «атрибутами» конституционного строя. Без них он будто бы был «лже-конституцией». Потому они сочли и Основные Законы «насилием» над «волей народа» и не хотели признавать тех полезных начал, которые в них были заложены. В своей самоуверенности они не предвидели, что скоро в более опытных странах многие эти политические аксиомы будут взяты под сомнение.

Это придало тогдашней борьбе с правительством своеобразный характер. Когда правительство защищало конституцию от захватных поползновений народного представительства, оно понимало, что делало. Но что тем самым оно отстаивало принципы «правового порядка» против «Самодержавия» — ни общество, ни Дума, ни власть себе не отдавали отчета. А между тем из этого получилось, что победа правительства над Думой оказалась победой конституционных начал и Столыпин мог бы продолжать **то** дело, которому Дума не сумела служить. К несчастью, положение уже было сильно испорчено; оно напоминало задачу — продолжать войну после того, как генеральное сражение было проиграно. Если война и не окончилась, то обстановка ее стала совершенно другой.

Главный грех первой Думы был в том, что она подорвала ту «мистику конституции», которая овладела страной в 1904-5 годах. Ведь даже для сторонников Самодержавия конституция тогда стала казаться **единственным** выходом. Без такого общего убеждения и Манифеста бы не было. Конечно, те, кто от него ждали **немедленного** успокоения, были наивны и могли скоро убедиться в ошибке. Вакханалия, которая вслед за ним началась, была хуже первых дней Революции 1917 года. Это наблюдение не мне одному в 1917 году приходило на ум. Но эти события конца 1905 года самой идеи «конституции» еще не порочили. Ведь ее пока не было. Через полгода обстоятельства переменились. Натиск Революции в 1906 году был отбит. Конституция была объявлена; произведены выборы, открыта

*) Речь Мирабо, 1-го сентября 1789 г.

торжественно Дума. Государь стал конституционным Монархом и пытался лойяльно играть свою новую роль. Приветствовал депутатов, как «лучших людей»; обещал «непоколебимо охранять» новые Основные Законы; воздержался от упоминания своего исторического титула «Самодержец», что было всеми отмечено. И когда после этих «авансов» все-таки началась сразу атака на его власть, когда он увидал, как пренебрежительно Дума относится к данной им конституции, куда она с легким сердцем ведет государство, он испытал то-же чувство раскаяния, которое, вероятно, переживал в 1917 году, когда размышлял о подписанном им «отречении». Тогда совершился перелом в его отношении к конституции.

Не в его характере была смелость решений. Конституции он не отменил. Но его доверие с тех пор пошло к тем, кто ее не признавал. По этому признаку стало определяться его отношение к людям. Это открыло особенному сорту людей соблазнительный путь для успеха. Ненужно было понимать интересов России; достаточно было отрицать конституцию, показывать демонстративное пренебрежение к Думе, чтобы в его глазах попадать в число «умных и верных» людей. Государь не сознавал, какой уродливый отбор он этим сам делал в своем окружении. Те, кто стремился безболезненно ввести новый порядок, подпадали под его подозрение. Его доверие направилось к тем, кто толкал его к гибели. Условия же нового строя дали им в руки действительное средство влиять на Государя. Они тоже стали ссылаться на волю «народной массы», которая будто бы не хочет ограничения его власти. Они организовывали и мобилизовали темных или нечестных людей, разжигая в них и страсти, и слабости, фанатизм и тщеславие, и толкали их на прямые обращения к Государю в духе, который ему в то время мог нравиться. Эти обращения производили на него впечатление. Он увидел в них подлинный «голос народа», неиспорченного «обществом» и «интеллигентами». Так завязалось сближение Государя с якобы «настоящим народом». Карьеристы и честолюбцы из местных властей, более всего те, за которыми были грехи, стали ставить на этих людей свою ставку. В их борьбе против «конституционного строя» пресловутые «темные силы» стали козырною картой. Роковое влияние на Государя с тех пор не прекращалось; позднейшее «распутинство» сделалось логическим его завершением.

Так первая Дума мобилизовала против конституции ее правых врагов в искаженном и уродливом виде. Вместо здорового консерватизма (quieta non movere — по определению Бисмарка), полезного для государства, родилась агрессивная правая демагогия. Честные консерваторы брезгливо от нее отстранялись, но за то оставались без почвы. Началось вырождение прежней Монархии. Подонки страны приобретали такое влияние, что центральная власть перед ними становилась бессильной. Столыпину позднее пришлось

самому испытать, где скрывались настоящие и наиболее опасные враги исторической власти.

**
*

Роспуск Думы поставил Столыпина на первое место; он занимал его почти до смерти своей. Говорю «почти», так как исключительное положение свое он потерял уже раньше. Без пули Багрова он, вероятно, стал бы новым примером людской неблагодарности Только смерть возвела его на тот пьедестал, который опрокинула лишь Революция.

В литературе о Столыпине больше преувеличений и страстей, чем справедливости. Это удел крупных людей. У современников к ним или «восхищение», иля «ненависть»; правду им воздает только потомство. Думаю все-таки, что лично я отношусь к нему без предвзятости. При его жизни я не раз и резко против него выступал. Но уже во время Великой Войны с трибуны высказал сожаление, что в нужное время его с нами нет. В 1929 г. в эмиграции, вспоминая про Витте, я написал, что если Витте мог спасти Самодержавие, то Столыпин мог спасти конституционную монархию*). Я и теперь думаю это; им обоим мешали те, кого они могли и хотели спасти. И когда Милюков в 1921 г. в своих «Трех Попытках» писал про Столыпина, что он «услужливый царедворец, а не государственный человек»**), я нахожу, что это не только пристрастие; в этом нет ни чуточки сходства.

Сопоставление Столыпина с Витте само собой напрашивалось; оба были крупнейшие люди эпохи; судьба их во многом была одинакова. Любопытно, что они не выносили друг друга; по характеру были совершенно различны; различны были и их места в той тяжбе, к которой тогда сводилась наша политика, т. е. к тяжбе «власти» и «общества».

Витте по происхождению и по воспитанию принадлежал к лагерю нашей общественности. Был студентом Университета, а не привилегированных школ; чуть не стал профессором математики и начал свою деятельность на железнодорожной службе у частного общества. Случайно, по личному настоянию Александра III, перейдя в лагерь власти, он остался в нем parvenu. В своих «мемуарах» он старается это затушевать, указывая на происхождение своей матери из рода Фадеевых, которая будто бы сделала mesalliance замужеством с Витте-отцом. Старания Витте себя приравнять к этой среде характерны для нравов. Но в лагере власти Витте оценил те возможности работать в широком размахе на пользу страны, которые тогда Самодержавие открывало. Эти возможности и успехи его

---

*) Власть и Общественность, т. II, стр. 250.

**) Милюков, Три попытки, стр. 87.

увлекли и он разошелся с самой психологией нашей общественности. Витте знал хорошие стороны общественных деятелей и ту пользу, которую они бы могли принести, если бы не обессиливали и государство, и себя борьбой с Самодержавием. Такова, вероятно, психология честных работников в аппарате Советской России, которые соблазнились перспективой в нем активно служить России. Но когда, несмотря на усилия Витте направить силу Самодержавия по руслу «Великих Реформ», оно пошло по противоположной дороге, а личность нового Самодержца убила веру в Самодержавие, сам Витте посоветовал призвать общественность к участию во власти. В этом могло быть спасение. Но на этой дороге положение **Витте** оказалось особенно трудно. Оба лагеря — и власть, и общество, ему не верили; оба видели в нем перебежчика, который может опять изменить. Да и сила Витте была не на конституционной арене; историческая роль его завершилась с крушением Самодержавия; как практический деятель он не смог его пережить.

Более подходящим человеком для этой новой задачи мог быть Столыпин. Он вышел из лагеря власти; был там своим человеком; от него и не отрекался; в новых условиях продолжал служить тем же началам, в которых была заслуга исторической власти перед Россией. Она в прошлом помогла ей создаться, как «великому государству». Но оставаясь тем, чем он был, Столыпин понял необходимость для власти сотрудничества с нашей **общественностью.** По этой дороге Столыпин мог итти дальше, чем Витте, не возбуждая против себя подозрения власти. И общественность, для которой он был всегда чужим человеком, могла бы быть к нему менее требовательна. Это больно чувствовал Витте. В его отзывах о Столыпине чувствовалось инстинктивное недружелюбие к человеку, который осуществлял меры, которые Витте предлагал раньше его и встречал в обществе ту поддержку, в которой тем же самым обществом ему, Витте, было отказано. Но это относится только к **умеренной** части общественности. Кадеты же, тогдашние властители дум, упоенные октябрьской победой, оставались верны прежним заветам борьбы **«до полной победы» над властью.** Столыпина они не принимали. Для них он оставался прежним врагом. Из враждебного лагеря кадеты принимали вообще одних «ренегатов», которые к своему прошлому становились врагами. Быть одним из **них** Столыпин не хотел и не мог.

Свое новое направление Столыпин соединил с верностью **прежним** идеалам, а также иногда и предрассудкам. В нем была нелицемерная преданность той мощи «Великой России», которою общественность «пренебрегала». Свою аграрную речь 10 мая 1907 года он кончил словами: «им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия*)». Эта эффектная фраза в искаженном виде попала

*) Так было Столыпиным сказано и так записана эта фраза в сте-

на его киевский памятник. Этот идеал его вдохновлял. Но он унаследовал и некоторые его оборотные стороны. В 3-й Государственной Думе он старался воодушевить народное представительство «национальным подъемом», не замечая, что национальный инстинкт «поднимает», когда национальность защищает себя против **сильнейших**, а не тогда, когда она **притесняет** слабейших. В разноплеменной России **агрессивный** национализм увеличивал ее разъединение. В Финляндском вопросе он привел не только к нарушению **конституционных** начал, но и к падению авторитета Монарха. Эту политику Столыпин вел с своим обычным упорством; после 1917 года мы за нее заплатили.

Опыт убедил Столыпина, что именно для существования «Великой России» представительный строй стал необходим. Он перешел к признанию представительства не во имя доктрины «народовластия», а во имя укрепления всего «государства» и прежде всего «государственной власти». Если в вопросе о конституции он сошелся с нашей левой общественностью, то пришли они к одному и тому же с **разных** концов. И потому могли дополнять и быть полезны друг другу.

С «правыми» из-за этого он стал расходиться; там ему не прощали, что став конституционалистом, он как будто ограничил власть Государя и его этим уменьшил. Это было полным непониманием положения и лично Столыпина. Никто не был больше его привязан к Монархии и лично к Монарху; не как угодник, а как патриот. Это сказывалось и в большом, и в малом. Когда раненый на смерть, упав на свое кресло в театре, Столыпин издали перекрестил Государя, это не было с его стороны «обдуманным» жестом. Но красноречивее этого жеста было его повседневное поведение; при жизни своей он не раз был оскорблен неблагодарностью и малодушием Государя, но не позволял себе по его адресу ни упрека, ни жалобы. Я не могу представить себе его автором таких мемуаров, где бы он стал пренебрежительно говорить о Государе, как Витте. Его часто упрекали, что подчиняясь неразумным распоряжениям Государя, он своим личным **достоинством** жертвовал. Это правда, но он и в этом был старомоден. Он не признавал «достоинства» в том, чтобы ради него он мог покинуть своего Государя.

В понимании Столыпина переход Самодержавия к «конституционному строю» был направлен не против Монарха. Конституция для него была средством спасти то обаяние Монархии, которое сам Монарх убивал, пытаясь нести на своих слабых плечах непосильную для них тяжесть и обнажая те скрытые силы, которые за его спиной им самим управляли. «Конституционные» министры могли

нографическом отчете. Но на памятнике ее переделали в странное обращение: «Вам нужны великие потрясения и т. д.». Текст речи 10 мая слова «вам» и по содержанию не допускает.

бы оправдание его политики перед обществом взять на себя, сражаться с своими критиками равным оружием, защищаться от нападок не полицейскими мерами, а убеждением и публично сказанным словом. Для такого служения государству у Столыпина было несравненно более данных, чем у Витте; как политический оратор он был исключительной силы; подобных ему не было не только в правительстве, но и в среде наших «прирожденных» парламентариев.

Приняв конституцию, Столыпин хотел стать у нас проводником и «правового порядка». Этот термин требует пояснения. Он по нашим понятиям указывает на права «человека» в противоположении к правам «государства». «Власть» и «общественность» в этом смысле были как бы два противоположные лагеря: служить одному значило воевать против другого. На этом противоположении воспиталась вся наша общественность*). Преданность «правовому порядку» для нее поэтому становилась почти синонимом «свободолюбия». Столыпин, как человек из лагеря власти, рассуждал вовсе не так; подход к этому вопросу у него был другой. Правовой порядок для него означал не «объем» прав человека, а их **определенность** и **огражденность** от нарушения. Даже неограниченное Самодержавие **теоретически** понимало необходимость ограждать признанные им «права» человека. Но прежний строй не нашел достаточного выражения этой идее и оказался с ней несовместимым; в этом для Столыпина была одна из причин необходимости перехода от Самодержавия к конституции. Он на опыте, кроме того, увидал последствия «неопределенности» и «неясности» прав человека; видел анархию, которую породил Манифест 17 октября, провозгласивший **общие начала** противоречившие законам и навыкам жизни. В неопределенности и незащищенности личных прав была одна из причин хронического раздражения и неудовольствия всего населения, превращавшее общество из опоры и сотрудника государственной власти в объект полицейских воздействий. Правовой порядок был поэтому для Столыпина не порождением «свободолюбия», а потребностью самой здоровой, недеспотической «государственной власти». Столыпин не был ни теоретиком, ни журналистом; этой мысли он систематически не излагал; но она у него по разным поводам обнаружива-

*) В своей книге «Власть и Общественность» (т. II) я рассказал, как на Учредительном Съезде к. д. партии на меня набросились за то, что я осмелился высказать, что политическая партия должна уметь себя видеть на месте правительства и рассуждать, как правительство. Это значит, объяснял мне тогда С. Н. Прокопович, рассуждать «применительно к подлости». Мы должны быть «защитниками народа» против власти. Интересно не это; это происходило в сумасшедшее время. Интересно то, что уже здесь, в эмиграции, в 30-х годах, Милюков печатно в этом разномыслии принял его сторону против меня. Если это не только «политика», то это показывает власть старых переживаний.

лась, и больше всего в его своеобразном отношении к вопросу крестьянскому, на что мне впоследствии придется указывать*).

Говоря языком современности, Столыпин представлял ту политику, которую принято называть» «левой политикой правыми руками». В ней есть хорошая сторона; ей не грозят вредные **увлечения**; но в ней была и опасность. Идеи «личных» прав, свободы, равенства, без которых весь правовой порядок может оказаться «великою ложью», были для Столыпина второстепенными; у него часто не хватало чутья, чтобы замечать то, что в действиях его им противоречило.

Это было тем опаснее, что свои цели он преследовал всегда с непреклонной настойчивостью. В основе их была не только сильная воля, которая перед трудностями не отступает, но и доля упрямства, которое «боится» уступок и «ошибок» признавать не желает. Исключительно «сильные» люди, как Бисмарк, умели уступать, когда это было полезно, забывая о своем самолюбии. Столыпин же любил итти **напролом**, не отыскивая линии наименьшего сопротивления, не смущаясь, что плодил этим лишних врагов и открывал слабые места для нападений. У него было пристрастие к тем «эффектам», которые обывателей с толку сбивают; (он называл их действие «шоком»). Он не умел целей своих достигать незаметно, «под хлороформом», по выражению Витте, в чем была главная сила **этого** гениального «практика». Столыпин не хотел считаться с тем, что таким образом действий иногда наносил удар тем мерам, которые хотел провести; это ярко сказалось на ненужном и болезненном кризисе в связи с Западным Земством.

Такая тактика была слабою стороной Столыпина, особенно как представителя конституционной Монархии, обязанной сообразоваться с признанной ей самой государственной силой, т. е. с организованным в «представительство» общественным мнением. Оно затрудняло взаимное его понимание с ним. Но противоречия между словами и делом Столыпина общественность слишком упрощенно объясняла его лицемерием; так и Витте писал про него, будто «честным человеком он был лишь до тех пор, пока власть не помутила ему разум и душу»**).

К Столыпину такое объяснение относиться не может; для него власть не была непривычным делом, которое голову кружит. И соединять «лицемерие» с характером Столыпина трудно. Лицемерие совсем не его стиль. Столыпина невозможно представить себе ни «интриганом», ни «услужливым царедворцем». В своем личном поведении он был человеком независимым, решительным и смелым. За обидное слово о «Столыпинском галстуке» он вызвал Ф. И. Родиче-

---

*) См. об этом 3-ю главу этой книги.
**) Гр. Витте, Воспоминания, т. II, стр. 493.

ва на дуэль. Все это так, однако Азеф «расцвел» при Столыпине, и 2-ая Дума была распущена при содействии «провокации». Здесь есть тайна, но разгадка ее не в «упоении властью». Она проще. Столыпин — да не он один — просто еще не успел совлечь с себя «ветхого человека», воспитанного на старой идеологии о «неограниченной власти» Монарха или вообще «государства» над «личностью». Упрекать его можно не в том, что эту идеологию и он разделял, а в том, что он мечтал быть проводником «правового порядка», **сохраняя** ее. Для этой задачи необходимо было уважение к «суверенности» права, которого вообще было мало; его не было ни у представителей старого режима, ни у их врагов, — революционеров. Эту идеологию права могла бы воплотить «общественность» и первая Дума, если бы за чечевичную похлебку не уступила **этого** своего первородства. Столыпину же эта задача была труднее, чем ей. Защитнику «прав человека» вообще трудно выйти из **правого** лагеря, не став «ренегатом»; но на ренегата, которых в то время появилось так много, Столыпин не был похож.

На такого человека после роспуска Думы пала задача установить в России конституционный порядок; эту задачу он принял. Его дальнейшая деятельность, перемены, которые с ним происходили, не стоят в противоречии с этим. Нужно только смотреть глубже, чем видимость. Левая общественность тогда находила, что роспуск Думы должен был быть только шагом к полному упразднению представительства, и что будто от этого она Россию спасла своим хитроумным Выборгским Манифестом. Не может быть большего самообольщения, если только вообще это странное утверждение искренно. Опровергать его просто не стоит. Конечно, в правящем классе, и особенно в окружении Государя, такие настроения **были**; но им не дал ходу не Выборгский Манифест, а Столыпин. У него тогда был свой план и мы можем документально его воссоздать.

В «Красном Архиве» было напечатано любопытное письмо Государя к Столыпину, в котором он указывал ему канву для составления Манифеста о роспуске. В письме были приведены следующие три пункта:

«1) Краткое объяснение причин роспуска Думы,

2) неодобрение и порицание тем, кто позволил себе грабить и жечь чужую собственность,

3) заявление, что все дальнейшие задачи мои, как отца о своих детях, будут направлены к справедливому обеспечению крестьян землею»*).

Это был старый стиль патриархальных Самодержцев, с их «отеческим» попечением о подданных, как о детях своих. Но что на этой канве вывел Столыпин?

---

*) Гр. Витте, Воспоминания, т. II, стр. 493.

«Неодобрение и порицание тем, кто позволил себе грабить и жечь чужую собственность» он заменил в Манифесте той беспощадной войной вообще с Революцией, которую считал одной из своих главных задач. В этом он был непреклонен и искренен. «Да будет всем ведомо, что мы не допустим никакого своеволия и беззакония и всей силой государственной мощи приведем ослушников закона к подчинению нашей Царской воле». Но это только **одна** задача. Манифест далее говорит, о чем в конспекте Государя не было и намека, что «распуская нынешний состав Государственной Думы, мы подтверждаем вместе с тем неизменное намерение наше сохранить в силе самый закон об учреждении этого установления»; а далее, что не менее знаменательно: «мы будем ждать от нового состава Государственной Думы осуществления ожиданий наших и внесения в законодательство страны соответствия с потребностями обновленной России».

Так ставил свою задачу Столыпин, и на это получил одобрение Государя и обещание Манифеста. Все дальнейшее уже зависело от состава будущей **Государственной** Думы. Ее роль в жизни страны ставилась на первое место. Подготовить подходящую Думу, получить в ней благоприятный состав, способный страну обновить, и сделать все это без нарушения избирательного закона, было главной и совершенно законной целью Столыпина. Именно для этого, а не для чего другого, выборы были отсрочены на ненормально долгое время, на 8 месяцев. Общественность была совершенно неправа, когда в этом усмотрела желание Думы не созывать. Столыпин, понимая ту вредную общественную атмосферу, в которой Первая Дума работала, которая ее сбивала с пути, эту общую атмосферу хотел изменить и сделать это **до** выборов. Это сейчас становилось для него первой задачей.

Потому, прежде чем перейти ко 2-ой Думе, в чем содержание книги, надо посмотреть, как **эта** задача была им исполнена. Мы увидим тогда, что Столыпин лучше ставил задачи, чем их разрешал.

ГЛАВА II.

Борьба Столыпина с революционным движением и ее результаты.

Первой и наиболее простой задачей Столыпина было положить конец тем насилиям, самоуправствам и беззакониям, которые наполняли русскую жизнь с 1905 года и в которых одни с тревогой, а другие с радостью видели приближение «Революции». В возможность ее тогда стали верить и сверху, и снизу, и вне России. Во время первой Думы угроза ею была на устах почти всех депутатов. Ее выставляли, как главный и неотразимый аргумент против возможного роспуска. Позднее, на процессе о Выборгском воззвании, когда о Революции не могло быть более речи, представительные кадеты, в лице самого Муромцева, нашли возможным сказать, что они прибегли к своему знаменитому Манифесту, чтобы избежать неминуемой Революции, заменить ее более мирным «пассивным сопротивлением». Такое утверждение на суде было, конечно, позднейшим самовнушением; но в тот момент, после роспуска, немедленной революции действительно ждали, в форме ли массового восстания, военных бунтов, всеобщих забастовок, погромной волны, или, по крайней мере, в наиболее примитивном и неуловимом виде террора. Эти предвидения в первое время казались оправданными: в июне произошли военные восстания в Свеаборге, Кронштадте, на крейсере «Память Азова». В августе — взрыв Столыпинской дачи. В октябре — грандиозная по смелости и удаче, экспроприация в Фонарном переулке, доставившая в революционные кассы несколько сот тысяч рублей и т. д. Индивидуальные же террористические акты были просто бесчисленны: были убиты Мин, Лауниц, Максимовский, Игнатьев, Павлов и др.; по официальным сведениям, опубликованным в «Красном Архиве» — в 1906 г. было убито 1.588, в 1907 — 2.543 человека. Можно было думать, что начинался революционный штурм; что, как бывает в решительный момент войны, в него бросался последний резерв. Но уже через несколько месяцев от него осталась только «последняя туча рассеянной бури». Сами левые партии не могли отрицать: на данный момент «Революция кончилась». Нужна была Великая Война, чтобы снова ее подготовить.

Такое быстрое отступление как будто торжествовавшей уже Революции в нашей истории быле не первым. Его мы пережили в декабре 1905 года. Наши отцы видели то же после 1 марта. Жизнь этим опровергала тех, кто утверждал, что для подавления Революции одной репрессии мало, что **всегда** необходимы уступки; в **этих** случаях уступок сделано не было, а с Революцией все-таки «справились».

Можно объяснять это тем, что настоящего революционного настроения тогда еще не было; что с ним смешали то бурление на поверхности, которое Розанов охарактеризовал ядовитой брошюрой: «Когда начальство ушло». Но в таком объяснении есть ложный круг. Кто мог бы сказать, удалось ли репрессии остановить революцию потому, что революционного настроения еще не было, или что это настроение переменилось потому, что репрессия не опоздала? С известного момента пожара нельзя потушить; но в начале любой пожар может быть остановлен. Революция, подобная 1917 году, могла наступить и в 1905, если бы ей тогда «уступили». Но и 1917 год мог кончиться иначе, если бы правительство кн. Львова себя повело так, как через год революционное правительство действовало в Германии. Правда, репрессия революционную развязку может только **отсрочить**, т. е. только выгадать время. Но умная власть эту отсрочку может **использовать**, чтобы революцию сделать не только невозможноей, но и «ненужной». Отсрочка часто спасает безнадежное дело. К несчастию, история дает материал только для наблюдения; опыта сделать нельзя, и потому дальше предположений мы не можем пойти.

Но для тех, кто не соблазняется Революцией, кто понимает, к чему она, в конце концов, привела бы, самая **отсрочка** ее должна почитаться заслугой: она дает шанс ее **совсем** избежать. Эту заслугу должно признать за Столыпиным.

И потому, если бы борьба с Революцией была его **единственным** делом, подобно задаче начальника воинской части, призванного для подавления открытого «бунта», который, исполнив свой долг, в дальнейшем уступает место другим, гражданским властям, критиковать Столыпина было бы трудно. Он поставленной перед ним задачи достиг. Но он был главою правительства, которое **само** эту временную победу должно было в дальнейшем «использовать» и в этом он себе отчет отдавал. Он признавал, что задачей исторического момента было **преобразование старой России** и установление в ней «правового порядка». В **этом** был его долг. Потому борясь с революционным движением, он не должен был допускать, чтобы эта борьба разрушала **основы** такого порядка.

Это ставило принципиальный вопрос. Какими приемами «правовое государство» в праве «бороться» с открытыми своими врагами? Самого права его на эту борьбу нельзя отрицать, не обрекая

«правового государства» на гибель; это было бы то же, что отрицать право пацифистских демократий на создание армий и ведение войн. Но, из признания за государством права на применение «силы», на строгость «репрессий» и на «предупреждение преступлений» не следует, что **государству дозволено все.** Есть приемы, которыми оно само **себя** разрушает. Существует разница между военным положением, временными, исключительными законами с одной стороны, и статутом «заложников», приказами о расстреле «восходящих и нисходящих родных» заподозренных в преступлении лиц, которыми себя опозорили германские оккупанты. Самозащита «правового государства» против врагов, даже в опасные для него моменты, от начал «правового государства» не должна отступать. Этот принципиальный вопрос был затронут перед первой Государственной Думой, когда в заседании 13 мая зашел спор о немедленном и полном снятии «исключительных положений».

Поучительно, что **тогда** прославленные наши юристы на этот вопрос ответа **не** дали; они или трагичности его не понимали, или не хотели давать **существующей** власти никакого оружия для борьбы с Революцией. Они отделывались уверением, что исключительные положения **никогда** не нужны, что для восстановления у нас спокойствия достаточно «амнистии» и «неприкосновенности личности», и даже прямою неправдой, будто исключительные положения уже формально **отменены** Манифестом. Это был не честный ответ на большой вопрос, а «политика». Но что же по этому вопросу думал такой человек, как Столыпин?

Тогда перед первою Думой он признал негодность существовавших у нас «исключительных положений», сказал свою знаменитую фразу о «кремневом ружье», которого он бросить не может, пока не дадут ему **нового.** При существовании Думы правительство одной **своей** властью дурных законов изменить не могло, а по своему настроению тогдашняя Дума **никаких** улучшений для «исключительных положений» не приняла бы. Правительству приходилось поэтому поневоле пока оставаться при «кремневом ружье». После роспуска оно стало свободно; оно могло по ст. 87 издать другие законы для борьбы с революционными наступлениями, **приведя их в соответствие с новым режимом.** Можно было признавать и необходимость «исключительных положений», и пользу строгих репрессий; все это совместимо с правовым государством. Но и в **такие** периоды репрессии должны были быть основаны только на нормах закона, для **всех** обязательных, от которых **никому** нельзя отступать. Только тогда государство сохраняется, как правовой институт, а не разгул физических сил. Примеры подобных исключительных положений знало даже наше старое русское право.

Возьмем военное положение. Там, где оно вводилось, несколько категорий дел, специальной 17-й статьей предусмотренных, бывали

изъяты из общей подсудности и передавались **военным судам** для суждения по законам военного времени. Это суровая мера, но с правовым режимом вполне совместимая. В ней нет **произвола,** так как это — общая мера для всех. Но наше положение об «охране», под которым, якобы временно, а на деле постоянно жила вся страна, было построено на другом основании. В нем была также 17 статья (простое совпадение нумерации), которая предоставляла Генерал-Губернатору право передавать по своему усмотрению на суждение военного суда «отдельные дела о преступлениях, общими уголовными законами предусмотренных». Между этими двумя семнадцатыми статьями идейная пропасть. В одном случае была хотя и жестокая, но общая **норма,** в другом было разрешение, данное Генерал-Губернатору, существующий закон **нарушать.** Вытекающее из этого для Генерал-Губернатора право **по своему произволу** назначать, кому он пожелает, смертную казнь по законам военного времени, было в миниатюре все старое Самодержавие.

В этом был тот разврат, который всех приучал к беззаконию, заменял закон произволом и этим «воспитывал нравы». Что же в междудумье в этом отношении сделал Столыпин? Он не только **не исправил,** хотя бы частично, «исключительных положений», но он их в самом «невралгическом пункте» **ухудшил.** Единственная новелла, введенная им в эту область, была знаменитая «мера» 19 августа 1906 г. о «военно-полевых судах».

Она предоставила Генерал-Губернаторам в тех случаях, «когда совершение преступления является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании», право предавать обвиняемых особому военно-полевому суду с применением наказаний по законам военного времени и т. д.

В этой мере не только сохранен, но усилен тот антигосударственный принцип, на котором покоилось все положение об охране. Все было представлено усмотрению Генерал-Губернатора. Он может не вмешиваться и предоставить делу итти по общим законам; может отдельное дело передать **обычным** военным судам; может, наконец, если захочет, отдать дело особому специальному составу суда, из одних **строевых** офицеров, без участия военных судей и военного прокурора, без всякой проверки и жалобы. И такой приговор должен был **исполняться немедленно.** Все, что было главной язвой «исключительных положений», этой новеллой было подтверждено и усилено.

Подкладка этой меры теперь обнаружилась. В «Красном Архиве» (т. V) напечатано письмо Государя Столыпину от 12 августа 1906 года*):

«Непрекращающиеся покушения и убийства должностных

*) Красный Архив, т. V, стр. 103.

лиц и ежедневные дерзкие грабежи приводят страну в состояние полной анархии. Не только занятие честным трудом, но даже сама жизнь людей находится в опасности.

Манифестом 9 июля было объявлено, что никакого своеволия или беззакония допущено не будет, а ослушники закона будут приведены к подчинению царской воле. Теперь настала пора осуществить на деле сказанное в манифесте.

Посему предписываю совету министров безотлагательно представить мне: какие меры признает он наиболее целесообразными принять для точного исполнения моей непреклонной воли об искоренении крамолы и водворения порядка.

12 августа 1906 г. Николай.

P. S. Повидимому, только исключительный закон, изданный на время, пока спокойствие не будет восстановлено, даст уверенность, что правительство приняло решительные меры, и успокоит всех».

Повеление Государя, шедшее в разрез с тем, что собирался делать Столыпин, не первый и не последний пример той роковой роли, которую играл Государь в его неудаче. Письмо очевидно кем-то подсказано; оно не соответствует слогу Государевых писем. Но это неважно. Столыпин предписание все же исполнил, несмотря на свои личные взгляды и заявления.

Мера 19 августа оказалась единственным изменением, которое Столыпин внес в закон об «исключительных положениях». Оно еще увеличило число смертных казней. В 1906 г. — люди еще не одичали, как теперь, и казни волновали. Помню впечатление от ежедневных газетных сообщений, что столько-то смертных приговоров, там-то, «приведено в исполнение». Правда, ко всему можно привыкнуть; сила впечатления даже обратно-пропорциональна количеству. Одно мертвое тело на нервы действует больше, чем тысяча трупов на поле сражения. Говорят, Сталин остроумно сказал: «один труп — это трагедия; а миллионы трупов — это статистика».

А что сказать про более мягкие, но столь же произвольные меры — про аресты, обыски, увольнения с должности, ссылки в определенные местности и т. п.? Они даже не отмечались в газетах. Они были нормою жизни. А как учесть, сколько на почве **законного** произвола происходило и **беззаконий**, которые оставались не раскрытыми и безнаказанными? Сколько побоев, истязаний и пыток в местах заключения? Невозможность такие случаи проверить благоприятствовала преувеличениям и прямым небылицам. Но понятно, какие чувства подобные приемы управления порождали в тех, кто им подвергался или хотя бы только в их существование верил.

Столыпин мог, даже не изменяя закона, по крайней мере, дать своим подчиненным инструкции применять закон сообразно духу времени. Правовой режим, который он хотел ввести, его **обязывал к** тому. Таких инструкций, однако, дано не было. Когда теперь опубликованы документы этой эпохи, можно увидеть, что скорее было обратное. Так, 15 сентября 1906 г. Столыпин разослал руководящий циркуляр губернаторам за подписью своей и Трусевича. Он показателен.

В нем он напоминал, что окончательно введен **новый государственный строй.** «Надлежит признать, говорит циркуляр, что правительство твердо стоит на почве непоколебимого желания проводить намеченные Высочайшей волей реформы и т. д.» Казалось бы, что если это так, то все приемы управления, в том числе и по борьбе с Революцией, должны были соответствовать принципам проводимой реформы. Должно бы было всем указать, что борьба с Революцией не избавляет органы власти от обязанности и в этой борьбе законов не нарушать, и беззаконий с их стороны не оправдывает. Это было бы тем **новым** словом, которое могло бы повлиять на административные привычки полиции. Вместо этого, Столыпин им разъясняет, что с установлением нового строя «правительство ставит своим величайшим долгом **во что бы то ни стало** охранять общество от преступных посягательств». Это трафаретная формула, соответствующая старой идеологии власти. Когда она повторяется без оговорок, органы власти, привыкшие улавливать «волю начальства», не могли не вывести заключения: **несмотря на новый строй, борьба с революцией ведется на прежних началах.** Так и говорил циркуляр: «не малодушием и компромиссами должны бороться слуги Государевы с крамолой, а энергией, твердостью и действительной решимостью за престол и благо России принести в жертву все свои интересы». Именно эти слова всегда до сих пор говорились. Столыпин как будто хотел ими напомнить, что в этом отношении «новый порядок не изменил ничего».

Отголоском «новых времен» явилась только немыслимая при старом порядке рекомендация губернаторам на ряду с «местными коронными органами» пользоваться услугами и общественности, т. е. **«частных лиц, сочувствующих борьбе с революцией»,** и «на первом месте **патриотических и монархических** обществ, образовавшихся в очень многих местностях Империи». Циркуляр советует «губернаторам принимать меры нравственного влияния к объединению и дисциплинированию организации **таких** групп путем примирения их на почве устранения **программных** крайностей». Пикантность этого совета, между прочим, в том, что главной целью этих рекомендуемых организаций являлась борьба с тем новым строем, который Столыпин собирался вводить. Привлечение чисто «партийных» организаций к борьбе за порядок, превращение **их** донесений в «аген-

турный источник» — было поощрением того разложения государственной власти, с которым Столыпин позднее не справился и которое Монархию погубило. Он сам подчинял «коронные органы государства» влиянию этих «безответственных организаций».

Но в репрессивной политике Столыпина оказалось нечто еще гораздо более недопустимое и несовместимое с «правовым государством», о чем мы полностью узнали только позднее. Я имею в виду его отношение к «провокации».

Это слишком широкое слово. Апологеты «внутренней агентуры» на это справедливо указывали. Такая агентура нечто другое, чем провокация; морально ею можно гнушаться, но она не провокация. «Провокация» вообще ненужна государству; она — злоупотребление его отдельных агентов. Им легче раскрывать преступления, созданные ими самими, чем те, в которых они не участвовали. При чистой провокации само государство бывает обмануто. Провокатор якобы ограждает от зла, которое сам же устроил. Когда раскрылось дело Азефа, Столыпин и его изобразил только «агентом». Он сказал в своей речи шутливую фразу, которая привела в восторг 3-ью Думу: «нельзя правительству ставить в вину непорядки по революции». Дума тогда удовлетворилась его объяснением. Азеф оказался перед нею оправдан; осужден был один Лопухин, который его роль обнаружил. Но так легко на это смотреть невозможно.

Настоящую позицию Столыпина в этом вопросе раскрыли не революционеры, а его же сотрудники; не в порядке его обличения, а в целях защиты и восхваления. Имею в виду генерала Герасимова, начальника Петербургского Охранного Отделения, главное действующее лицо этой системы. В 1933 году в Берлине он выпустил книжку, которую я видел во французском переводе — под заглавием «Tzarisme et terrorisme». Она совпадает с тем, что по возвращении из ссылки рассказывал Лопухин, что раскрыла другая мемуарная литература. Герасимову поэтому можно поверить.

Мы узнаем от него, что Азеф был выбран главою Боевой Организации, уже находясь на службе полиции, что он принял этот пост с благословения не только Герасимова, но и Столыпина. Знали ли они оба в то время, что Азеф удостоится чести этого избрания потому, главным образом, что в 1904 г. руководил убийством Плеве, и в 1905 г. — Великого Князя Сергея? Герасимов уверял, что оба они об этом не знали; это было «до них». Он добавлял, будто по просьбе Азефа, он даже отыскал один документ в архивах полиции, который и уничтожил; этот документ де ясно доказывал, что об убийстве Плеве Азеф своевременно предупреждал, и даже называл имя будущего его убийцы — Сазонова. Выходило, следовательно, что какие-то лица из лагеря власти, Плеве в это время нарочно дали убить. Характерно, что такая улика, если такой документ был, в

угоду Азефу была Герасимовым, по его сознанию, все-таки **уничтожена.**

Но как бы то ни было, так как на обязанности Азефа лежало не раскрыть **одно** преступление, а исполнять систематически эту задачу без ограничения времени, т. е. так как после одного предательства он должен был все-таки свой руководящий революционный пост **сохранять,** то Азеф и Герасимов выработали совместно план **общих** действий; заключили между собой соглашение, которое обе стороны «честно» (выражение Герасимова) исполнили. Азеф обещал всегда доносить о том, что **готовилось,** а власть, раскрывая покушения и заблаговременно казня исполнителей, обязывалась **не трогать** революционных вождей, т. е. тех членов Организации, которые преступление подготовляли. Иначе они могли бы о его предательстве догадаться. Исполняя это соглашение, полиция их не арестовывала. Им давали возможность уехать. Если же они медлили во время сами уехать, то за ними начинали так «демонстративно» следить, что они заподазривали, что открыты и торопились исчезнуть. Бывало, что другие чины полиции, непосвященные в тайну, их арестовывали. Им давали возможность тогда убежать. Для правдоподобия даже **судили** и **осуждали** тех стражников, которые не доглядели за ними. Те, кто упустили по недосмотру, отвечали за тех, кто это делал умышленно.

Эта система имела слабое место. Покушения могли иногда удаваться. Герасимов рассказал пикантный случай, как в момент покушения на Дубасова в Москве, там оказалось два агента полиции: Петербургской — Азеф и Московской — Жученко. Они друг друга не знали, но оба служили в полиции и каждый **своему** начальству в устройстве этого покушения доносил на **другого.** Проверить было нельзя и вопрос по-днесь остался открытым. Другой пример. С тех пор, как Боевая Организация партии С. Р. была в руках Азефа, можно было спать спокойно; о всех **ее** покушениях заблаговременно будет известно. Но часть революционеров отделилась от Боевой Организации и создала группу максималистов, от нее независимую. Для борьбы с нею Трусевич решил последовать примеру Герасимова и заагентурил некоего Рыса. Он ему обещал, что никто, кроме Трусевича, про него знать не будет; Рысу была обеспечена неприкосновенность и ему дали убежать из тюрьмы. Герасимов не без торжества рассказал в своей книге, что Трусевич был одурачен, оказался неспособным людей разгадать, что Рыс обманывал его, а не своих сочленов по партии, и что это именно он — Рыс, — организовал взрыв Столыпинской дачи.

Общая картина ясна. Дело не ограничивалось **моральной** грязью всякого предательства, которой не брезгали пользоваться представители законной власти России; они пошли дальше: они совершали «преступные действия», законом караемые, охраняли и вы-

пускали из тюрем «преступников», давая им возможность беспрепятственно **организовать,** если и не доводить до конца преступления. Если бы то делали только низшие агенты, на свой собственный страх, **государство** должно бы было их судить, как пособников или **попустителей**; их могли оправдать в виду специальных «мотивов» поступка, могли дело замять, закрыть глаза на то, что узнали, и тем внешнее приличие соблюсти. Мало ли что за кулисами делается, и все-таки терпится. Но дело происходило не так. Это делал не только Герасимов, это **знал и одобрял** высший представитель государственной власти — Столыпин. Этого мало. О деятельности Герасимова Столыпин доложил Государю, и Государь сам пожелал его видеть. В своих воспоминаниях Герасимов говорит, что он Государю сделал о ней подробный доклад. О чем Герасимов счел приличным перед Государем молчать, мы уже не узнаем. И после той аудиенции Герасимов был произведен в «генералы». Любопытная мелочь: Герасимов при докладе указал Государю, что одним из препятствий к успеху его полезной работы являлась «финляндская конституция»; она таких приемов борьбы у себя не допускала*). Государь этим был возмущен и обещал поговорить со Столыпиным; находилось ли это в связи с внесением в 3-ью Думу законопроекта о Финляндии, нарушавшего финляндскую конституцию? Как бы то ни было, нельзя говорить, что Герасимов поступал тайно от государственной власти; она его **одобряла** и потому за него отвечала сама. Беззаконие творил не отдельный агент, а все государство.

В чем причина такого падения государственной власти, которое Столыпиным было допущено, и за которое потом он заплатил собственной жизнью? Не в его «властолюбии», для которого этого вовсе не было нужно, не в его «лицемерии», которое одно не может объяснить ничего. Причина, как я уже указывал, лежала в той идеологии, по которой государство все «смеет» и все «может», перед пользой которого исчезает и закон, и мораль, и совесть, и права «человека». Этой упрощенной идеологии держался Столыпин; во 2-ой Думе он открыто ее защищал. Он оправдывал право властей **во имя спасения** государства не стесняться законом. Такая цель будто бы покрывает **все**; это, по его определению, состояние «необходимой обороны». Эта идеология, преклонение перед государственной пользой и «волей», как перед высшей инстанцией — «великая ложь» нашего времени. Она является там, где, так называемое, общее благо признается **верховной ценностью.** Она лежит в основе всех ужасов нашего времени, тех злодеяний, при помощи которых советская власть восстанавливала русскую государственность, а германские оккупанты «создавали» Европу. Провокация Герасимова, робкая и примитивная — явление того же порядка; разница в степени

*) Guerassimoff, Tzarisme et terrorisme, стр. 158.

в способности «итти до конца». Современные единые партии и их вожди без колебаний и угрызений совести стали делать то, чего еще «конфузился» Столыпин и старый режим. В них он мог бы увидать, если бы дожил, своих «пьяных илотов». Только религии, пока они сами не делались слугой государства, исходили из другого принципа, признавали приоритет человеческой **личности и вечных начал** общежития перед «пользой» и «волей» государственной власти. Они потому и бывали коррективом для государства.

Я не собираюсь, конечно, по поводу 2-ой Госуд. Думы ставить принципиальный вопрос о границах прав «государства» и «человека». Вопрос в данном случае ставится более узко. Поскольку задачей Столыпина было установление «правового порядка», именно **он** не должен был для борьбы с Революцией допускать отступлений от его же главных начал. Этим он подрывал веру не только в себя, но и в действительность их.

В жизни государства бывают моменты, в которых поневоле забывают «права» и «законы». Таковы внешние и гражданские войны: inter arma silent leges — учили и римляне. Но если в эти эпохи все становится допустимым, то только потому, что над воюющими сторонами тогда нет высшей инстанции, нет обязательных правил, имеющих в ком-то **реальную защиту.** Без такой защиты и законы, и самые торжественные договоры бессильны. Но именно потому ни внешние, ни гражданские войны, ни революции и не называются **государственным строем**; они преходящие, **фактические** состояния, которые стоят вне рамок государственных идеологий. У них другая природа. Чтобы их приравнять к «государству» было создано крылатое и характерное слово: «перманентная революция». А Столыпин защищал «государственность» и мечтал о насаждении в России «правового порядка».

Потому быстрый успех его в борьбе с Революцией оказался обманчив. Он был временным преобладанием **силы**: уничтожая одни революционные кадры, он на их место сам готовил другие; а своими приемами разливал то недовольство среди населения, которое питает революционную психологию. И так как эта политика велась под флагом введения «правового порядка», то она казалась кроме того «лицемерием», вызывавшем против Столыпина такую ненависть, которой лично он не заслуживал.

Говоря классическим сравнением, Революция была **загнана внутрь**; сочувствие ей разлилось так же широко, как сочувствие террористическим актам против сил оккупации. Это настроение не прошло тогда без следа; оно и дало себя почувствовать во время выборов в Думу. Оно тогда взяло свой реванш над Столыпиным.

ГЛАВА III.

Подготовка законодательной работы для Второй Думы.

Напряженная борьба с внешними проявлениями революционной стихии не помешала, однако, Столыпину в исполнении другой и главной задачи: подготовки тех законопроектов, которые должны были обновить русскую жизнь, превратить Россию в правовое государство и тем подрезать Революции корни. 8 месяцев, которые были ему на это даны роспуском Думы, потеряны не были.

Объем работы, которую с этой целью правительство в это время проделало, делает честь работоспособности бюрократии. Эту работу невозможно определить объективным мерилом. Я пересчитывал законы, которые с созыва Думы правительство в нее почти ежедневно вносило. В первый же день их было внесено 65; в другие дни бывало и больше; так 31 марта было 150. Но такой подсчет ничего не покажет. Законы не равноценны; на ряду с «вермишелью» пришлось бы ставить и такие монументальные памятники, как организация местного суда, преобразование крестьянского быта, и т. п. Достаточно сказать, что не только 2-ая Дума, но 3-ья и 4-ая до самой Революции не успели рассмотреть всего, что было **заготовлено** именно в первое междудумье.

Важнее, чем количество, общее направление законопроектов, их соответствие поставленной цели. На первый вопрос ответ даст та Столыпинская декларация перед Думой, о которой я буду говорить в свое время; ответ на второй стал сложнее.

Дело в том, что до обсуждения 2-ой Думы большинство их не дошло; мы поэтому можем о них судить лишь по рассмотрению их в 3-ей и 4-ой Госуд. Думе. Но в них они вносились иногда уже измененными, в приспособленном к новому политическому настроению виде. Так, самый рекламный законопроект о «местном суде» был взят обратно и в 3-ью Думу внесен переделанным. Закон о «неприкосновенности личности» был так перередактирован, что стал совершенно «неузнаваем». В Комиссии 3-ей Думы по неприкосновенности личности председателем был Гололобов, а докладчиком — Замысловский. Выбор их показывал специфическую атмосферу этой Комиссии. Немудрено, что когда ее доклад дошел до обсуждения

Думы, она — беспримерный случай — постановила его передать в другую комиссию для нового рассмотрения*).

При таком настроении заготовленные для Второй Думы либеральные законопроекты в **первоначальном** своем виде в жизнь не воплотились. Это особенно ярко обнаружилось на либеральных новеллах Министерства Юстиции, — условном осуждении, защите на предварительном следствии и т. п. Одни из них самим правительством для Третьей Думы были «исправлены», другие переделаны уже Думой; третьи отвергнуты **второю** Палатой. Был один законопроект из области «свободы совести», который, пройдя все инстанции, не получил утверждения Государя. О характере законопроектов, заготовленных для 2-ой Думы правильнее поэтому судить по «косвенным указаниям», чем по их позднейшему тексту. Эти указания иногда характерны.

Так, в Судебной Комиссии 3-ей Думы обсуждался законопроект о выдаче преступников, внесенный во 2-ую Думу 7 мая; один из правых членов Комиссии, Скоропадский, выразил недоумение, почему в нем была оговорка, что выдаваемый не мог подвергнуться смертной казни? Представитель Министерства Юстиции тотчас взял эту оговорку назад, признав, что она сохранилась «по недосмотру». **В свое время** целью ее было желание по возможности сократить применение смертной казни; теперь же вычеркнуть ее позабыли.

Такое приспособление законопроектов к новой политической атмосфере дало новый повод упрекать Столыпина в лицемерии. Это объяснение недостаточно. Я раньше указывал, что идеи либерализма не были исконным credo Столыпина; он необходимость их понял, но все же считал второстепенными. Главную задачу свою для торжества правового порядка, он полагал не в провозглашении их; подход к этому у него был другой. Чтобы правильно понять его полезно сделать одно отступление. В порядке изложения оно сейчас не на месте и об нем следовало бы говорить в другой комбинации. Я предпочитаю **сейчас же** на него указать: без него вся политика Столыпина не будет понятна.

Если Столыпин и признавал значение «свободы» и «права», то эти начала он все-таки не считал панацеей, которая переродит наше общество. Громадное большинство населения, т. е. наше крестьянство, по его мнению, их не понимает и потому в них пока не нуждается. «Провозглашение» их не сможет ничего изменить в той среде, где еще нет самого примитивного **права** — личной собственности на землю, и самой элементарной **свободы** — своим добром и трудом располагать по своему усмотрению и в своих интересах. Для крестьян декларация о гражданских «свободах» и

---

*) У меня в памяти сохранились многие анекдоты из жизни этой знаменитой Комиссии. Трудно удержаться от соблазна и о них рассказать. Но это отвлекло бы меня слишком далеко.

даже введение конституции будут, по его выражению, «румянец на трупе». Если для удовлетворения образованного меньшинства он эти законы вносил, то копий за них ломать не хотел. Только когда желательность их поймут и оценят крестьяне, сопротивляться им будет нельзя и ненужно. Главное же внимание его привлекало пока не введение режима «свободы» и «права», а коренная реформа крестьянского быта. Только она в его глазах могла быть прочной основой и свобод и конституционного строя. **Это** было его главной идеей. Не дожидаясь созыва Думы, он по 87 ст. провел ряд законов, которые подготовляли почву к дальнейшему. Указ 5 октября 1906 г. о равноправии крестьян, 9 ноября о выходе из общины, 12 августа, 27 августа, 19 сентября, 21 октября — о передаче Крестьянскому Банку ряда земель и т. п.

Эти указы в своей совокупности должны были начать в крестьянском быту новую эру. Но настоящего государственного смысла **этих** реформ Столыпин **в то время** еще не высказывал. Может быть он не хотел идеологических возражений и справа, и слева. «Справа» потому, что эта программа была по существу «либеральной», т. к. ставила ставку на личность, «слева» потому, что там издавна питали слабость к **коллективу,** к демократической **общине.** Столыпин не находил полезным подчеркивать, **куда** этими законами он ведет государство. А может быть в начале он полного отчета в этом и сам себе не давал. Характерно, что в декларации, прочитанной им перед 2-ой Гос. Думой, главное внимание было им уделено именно «свободам» и «правовому началу», как самоценностям; это подходило к симпатиям Думы; реформы же крестьянские были мотивированы только «обязанностью» правительства указать крестьянам выход из земельной нужды, раз было решено «не допускать крестьянских насилий». Меры Столыпина, укрепляя принцип личной собственности на землю, противоречили модному тогда в левых кругах «принудительному отчуждению» частных земель; главный смысл его аграрной политики и был поэтому его противниками усмотрен именно в **этом.** Даже в своей аграрной речи перед 2-ой Думой, 10 мая, Столыпин только слегка приоткрыл свои карты; его противники слева, даже кадеты, ничего и не увидели в ней, кроме «защиты помещиков».

Свою настоящую мысль с полной ясностью Столыпин высказал только позднее, уже перед 3-й Государственной Думой. Так как я не имею надежды свои «воспоминания» довести до этого времени, но не хочу, чтобы этот эпизод, который мне памятен, был совершенно забыт, я, забегая вперед, позволю себе вкратце его рассказать.

Переворот 3 июня своей цели достиг. Большинство первых двух Дум на новых выборах было разгромлено. «Оппозиции» в 3-й Думе было не больше 90 человек, считая в том числе и 54 кадета. Центром и самой многочисленной фракцией в Думе стали октябри-

сты (154). Появились и разнообразные «правые», около 140 депутатов*). Столыпин сначала оставался, чем был: сторонником Манифеста и либеральных реформ, им неоднократно объявленных. Опорой его политики в Думе должны были быть теперь **октябристы.** Своего предпочтения к ним перед правыми он не скрывал. Это обнаружилось в недостаточно отмеченном эпизоде. При первоначальных совещаниях о будущем Председателе Думы естественно считалось, что им должен быть октябрист. Фракция их наметила Н. А. Хомякова. Но Хомяков — не боевая натура, чуждавшийся политических дрязг, и человек исключительной щепетильности, — на эту Голгофу итти не хотел и отказался. Тогда справа была выдвинута кандидатура А. А. Бобринского, крайнего правого**). За отказом Хомякова она имела все шансы. Но Столыпин, услышав про это, вмешался; он сам приехал к Хомякову, просидел у него целый вечер, убеждал его итти в Председатели и соблазнял перспективой дружных работ по проведению Манифеста. Хомяков уступил. Кандидатура гр. Бобринского этим отпала и Хомяков был выбран почти единогласно. Это было хорошим началом. Из «Красного Архива» мы теперь узнаем, что Столыпин стал тогда-же хлопотать о приеме Думы у Государя, но 9 ноября, письмом к Столыпину, Государь нашел это пока «преждевременным». Дума де себя еще не показала. Столыпину пришлось подчиниться, но он воспользовался случаем, чтобы заверить Государя, что «члены Думы преисполнены лучших намерений» и **«сами по себе** заслуживают милостивого внимания Государя»***).

Но надежды Столыпина на быстрое сближение Государя с представительством не оправдались. 13 ноября началось обсуждение адреса Государю с благодарностью ему за дарованный 17 октября государственный строй. Как выразился Гучков, этот «долг благодарности» перед Государем до сих пор еще лежал на народе. Но в Думе не было единогласия не только в оценке, но и в понимании этого строя. Чтобы видимость единогласия сохранить, Думская Комиссия по адресу предложила не «произносить» слов ни «Самодержавие», ни «конституция»; каждый мог по своему понимать его сущность. Это было единственным способом сохранить в Думе «единодушие». Но не все им дорожили. Единогласие тотчас было нарушено внесенными с разных сторон «поправками» к адресу. Кадеты требовали «произнесения» слова «конституция», а правые предложили, хотя бы в обращении к Государю, по «протоколу» включить титул «Самодержавный». Против последнего предложения было бы трудно возразить, если бы речь шла только о «титуле», установлен-

*) Около 50 человек приходилось еще на «неполитические фракции» — поляки, мусульмане и т. п.

**) Его не надо смешивать с гр. В. А. Бобринским, членом 2-ой Думы

***) Красный Архив, т. 5 и т. 30.

ном «Основными Законами». Но претензии правых уже возросли и им было нужно не это. Они стали доказывать, что после 17 октября и издания Основных Законов, власть русского Самодержца осталась, как была, «неограниченною», что Основные Законы самого Государя не связывают, что поэтому акт 3 июня не «переворот», а «нормальное» волеизъявление Самодержца; они отрицали, чтобы у нас был какой-то **новый** строй, возражали даже против термина «представительный». При таком их толковании употребление в адресе слова «Самодержавие» могло ввести в соблазн, и октябристы, после долгих споров в среде своей фракции, решили голосовать **против** него. Поправка правых о внесении в обращение к Государю титула Самодержца была отвергнута большинством 212 голосов против 146. Тогда гр. Доррер от имени правых торжественно заявил, что, после отвержения этой поправки, их «совесть не позволяет им голосовать за самый адрес и они уклоняются». В этом они Думу за собой не увлекли. Фракция «умеренно-правых» устами Синодино заявила, что и без поправки они будут голосовать за адрес Комиссии*). Милюков снял кадетскую поправку о «конституции»; все другие мелкие редакционные поправки были «отвергнуты», против текста Комиссии никто не поднялся и Хомяков мог торжественно заявить, что он «принят единогласно».

Но наверху атмосфера переменилась сравнительно с 1-ой Думой, когда сам Государь в тронной речи не употребил титула «Самодержавие». Правые чувствовали теперь свою силу, так как Государь в этом вопросе был на **их стороне.** Голосование же Думы, несмотря на выраженную ему в адресе благодарность, его оскорбило. Он дал это почувствовать сухим ответом на адрес в форме отметки на его тексте: «Готов верить выраженным чувствам. Ожидаю плодотворной работы». Председателю Государственного Совета была одновременно послана личная телеграмма с благодарностью за адрес Государственного Совета, с упоминанием в нем «Самодержавия».

Личное неудовольствие Государя против Думы могло быть неважно. Но оно перенеслось на Столыпина, а Столыпин счел нужным ему уступить. Конечно, это были только «слухи из достоверных источников» и документальных доказательств этого нет даже в опубликованных Революцией документах. Но стоит и теперь без предвзятости перечитать ту декларацию, с которой через 3 дня после этого, 16 ноября, явился в Думу Столыпин, чтобы убедиться, что за это время что-то случилось: декларация оказалась из двух совершенно разнородных частей.

---

*) В заседании 16 ноября правый депутат Новицкий без всякой надобности объявил с трибуны Думы, что он был в числе 146 человек, которые «не присоединились к посланному Вами приветствию к Государю». Это была передержка. 146 голосов было подано за поправку о Самодержавии, а воздержались от голосования самого адреса только крайние правые, т. е. 51 человек.

В одной оставался прежний Столыпин, и его прежняя программа либеральных реформ. Но к ней оказалось присоединено добавление, сделанное, очевидно, чтобы «понравиться правым». Это добавление с общим смыслом декларации было совершенно не связано. Столыпин заявлял, и это было, конечно, правильно, что «условия, в которых приходится работать и достигать тех же целей, теперь изменились». Это несомненно; вместо Революции теперь было успокоение; вместо революционных собраний — лойяльная Дума. Либеральные реформы могли в этих условиях итти **быстрее** и **полнее**. Помех им более не было. Но, в противоречии с этим, Столыпин объявил в декларации, что «революционное движение, созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество», что «противопоставить этому можно **только** силу», что какие бы то ни было «послабления были бы преступлением», и в конце, без всякого повода и связи, в декларации были помещены угрозы **чиновникам**, если они будут проводить личные политические взгляды, **педагогическому** персоналу и даже **судьям**, с прямым намеком на возможность «законопроекта о временной приостановке судебной несменяемости». В довершение всего, декларация кончалась такой тирадой:

> «Проявление Царской Власти во все времена показывало также воочию народу, что историческая Самодержавная Власть (бурные рукоплескания и возгласы справа: браво)... историческая Самодержавная Власть и свободная Воля Монарха являются драгоценнейшим достоянием русской государственности, так как единственно эта Власть и эта Воля, создав существующие установления и охраняя их, призвана, в минуты потрясения и опасности для государства, к спасению России и обращению ее на путь порядка и исторической правды. (Бурные рукоплескания и возгласы: браво, в центре и справа)».

Не только текст этой декларации и бурные ликования справа, но и ничем не вызванный резкий тон, которым Столыпин ее прочел, произвели ошеломляющее впечатление. Это был явный реванш правых. Они победили Думу, да и Столыпина, а он явился перед Думой, как бы другим человеком. Оппозиция негодовала или злорадствовала. Она де это предвидела. Октябристы были смущены и не знали, **как** на это им реагировать. Был объявлен перерыв заседания. Депутаты собрались по фракциям. От кадет сраторами по декларации были раньше намечены Родичев и Милюков. Но в накаленной атмосфере они говорить не хотели и отложили свои речи назавтра. Это было бы самым разумным исходом для **всех**. Но кадетская фракция нашла, что на речь Столыпина необходимо хоть что-нибудь ответить **немедленно**, и стала настаивать,

чтобы этот ответ я взял на себя. По моим прежним отношениям к правым, меня одного могли бы дослушать. Я имел слабость уступить общему настоянию и решил отвечать экспромптом, не имев возможности ни перечитать стенограммы речи Столыпина, ни вдуматься в ее содержание, по одному первому впечатлению.

Когда заседание возобновилось, оказалось, что возражения все фракции отложили до завтра. Туда переносился и интерес заседания. В этот же первый день должны были быть только предварительные салютования шпагами. Восторг крайних правых выразил Марков 2-ой. Гучков внес только формулу перехода, не сказав ни единого слова. Несколько речей: Дмовского о польском вопросе, с.-демократов о бессилии «конституции», Челышева о «пьянстве», были на специальные темы, и не были ответами на декларацию. Я оказался **единственным**, который как будто передавал первое впечатление Думы от нее. Моя речь была слишком поспешной, односторонней и несправедливой, но была в русле общего настроения. Я заявил о глубоком разочаровании от декларации, которая вместо проекта реформ, которые стали возможны с тех пор, как Революция кончилась, приносит список новых репрессий и ущемлений. И я кончил словами:

«Не может быть ничего общего между теми, кто хочет служить Манифесту, и теми, кто старается его ликвидировать».

Потому ли, что именно от меня*) Столыпин не ожидал этого тона, потому ли, что он почувствовал общее недоумение Думы, но он во время моей речи подал записку и ответил тотчас же интереснейшей репликой, на которой и окончилось в этот день заседание. Она была совершенно иного характера, чем агрессивная и властная декларация; была тоже экспромптом и кончилась скромными словами: «сказал, что думал, и как умел». Реплика лишний раз показала исключительный ораторский дар Столыпина. Но интерес ее не в этом, а в том, что на этот раз в виду внесенной им смуты в умы, Столыпин счел необходимым неожиданно раскрыть свои карты и высказать свой взгляд и на новый государственный строй, и на ту тесную связь, которая в его представлении была между либеральными реформами и его аграрной политикой. Вот, что по этому последнему вопросу он сказал в своей реплике:

«Нас тут упрекали в том, что Правительство желает в настоящее время обратить всю свою деятельность исключительно на репрессии, что оно не желает заняться работой созидательной, что оно не желает подложить фундамент права, — то правовое основание, в котором, несомненно, нуждается в моменты созидания каждое государство и тем более в настоящую исто-

*) Я в главе XVI буду говорить о моих разговорах со Столыпиным во время 2-ой Гос. Думы.

рическую минуту Россия. Мне кажется, что мысль правительства иная. Правительство, на ряду с подавлением революции, задалось задачей поднять население до возможности на деле, в действительности, воспользоваться дарованными ему благами. Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы. (Бурные аплодисменты в центре и справа). Для этого, чтобы воспользоваться этими благами ведь нужна известная, хотя бы самая малая доля состоятельности. Мне, господа, вспомнились слова нашего великого писателя Достоевского, что «деньги это чеканная свобода». Поэтому Правительство не могло не итти навстречу, не могло не дать удовлетворения тому врожденному у каждого человека, поэтому и у нашего крестьянина, — чувству личной собственности, столь же естественному, как чувство голода, как влечение к продолжению рода, как всякое другое природное свойство человека. Вот почему раньше всего и прежде всего Правительство облегчает крестьянам переустройство их хозяйственного быта и улучшение его и желает из совокупности надельных земель и земель приобретенных в правительственный фонд, создать источник личной собственности. Мелкий земельный собственник несомненно явится ядром будущей мелкой земельной единицы; он, трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и культуру, и просвещение, и достаток. Вот тогда только писаная свобода претворится в свободу настоящую, которая, конечно, слагается из гражданских вольностей и чувства государственности и патриотизма».

Приведу из этой реплики и его понимание всего «нового строя». Он отвечал не только левым на требование слова «конституция», но и правым, отрицавшим, будто этот строй — «новый» и «представительный». Он стоял на позиции старообрядческого адреса 60-х годов, который говорил Александру II: «в новизнах твоего царствования нам старина наша слышится».

Вот, что Столыпин об этом сказал:

«Все те реформы, все то, что только-что Правительство предложило нашему вниманию, ведь это не сочинено, — мы ничего насильно, механически не хотим внедрять в народное самосознание, все это глубоко национально. Как в России до Петра Великого, так и в послепетровской России местные силы всегда несли служебные государственные повинности. Ведь сословия и те никогда не брали примера с запада, не боролись с центральной властью, а всегда служили ее целям. Поэтому наши реформы, что-

бы быть жизненными, должны черпать свои силы в этих русских национальных началах. Каковы они? В развитии земщины, в развитии, конечно, самоуправления, передачи ему части государственного тягла, и в создании на низах крепких людей земли, которые были бы связаны с государственной властью. Вот наш идеал местного самоуправления так же, как наш идеал наверху — это развитие дарованного Государем стране законодательного, нового, представительного строя, который должен придать новую силу и новый блеск Царской Верховной Власти... Самодержавие Московских Царей не походит на самодержавие Петра, точно так же, как и самодержавие Петра не походит на самодержавие Екатерины II и Царя-Освободителя. Ведь русское государство росло, развивалось из своих собственных русских корней и вместе с ним, конечно, видоизменялась и развивалась и Верховная Царская Власть. Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу, прикреплять какой-то чужой чужестранный цветок. Пусть расцветет наш родной русский цвет, пусть он расцветет и развернется под влиянием взаимодействия Верховной Власти и развернется из дарованного Ею нового представительного строя. Вот, господа, зрело обдуманная правительственная мысль, которой воодушевлено правительство».

Возвращаюсь к крестянским законам. При их обсуждении в 3-ей Думе, Столыпин еще раз подчеркивал связь их с борьбой за «право». Тогда он сказал свою знаменитую фразу о ставке на «сильных».

«Правительство приняло на себя большую ответственность, проводя в порядке ст. 87 закон 9-го ноября 1906 года; оно ставило ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных...

...Неужели не ясно, что кабала общины и гнет семейной собственности являются для 90 миллионов населения горькою неволею? Неужели забыто, что этот путь уже испробован, что колоссальный опыт опеки над громадной частью нашего населения потерпел уже громадную неудачу? (Возгласы справа и из центра: «браво»). Нельзя, господа, возвращаться на этот путь, нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы (возгласы «браво»). Необходимо думать и о низах, нельзя уходить от черной работы, нельзя забывать, что мы призваны освободить народ от нищенства, от невежества, от бесправия. (Возгласы «браво». Рукоплескания правой и центра)».

Значение этой Столыпинской мысли мы оценили позднее, при большевистском режиме. Столыпин тогда **идеологически** защищал то, что большевики **практически** пытались «искоренить» под именем «мелкобуржуазных инстинктов». Как будто равнодушный к во-

просам «свободы» и «права», Столыпин на деле этим отстаивал **«личность»** против поглощения ее «государством». В этом была не для всех понятная основа **его** политической мысли. Если бы его реформа была сделана раньше — Революция 1917 года не приняла бы такого разрушительного характера; она не справилась бы с «мелко-буржуазной стихией». Реформа сделала бы из массы «крестьянства» опору нового порядка, а не орудие дальнейших революционных стремлений. Либеральная общественность не поняла, в какой мере Столыпинская крестьянская реформа была бы полезна именно для ее **правового** идеала.

Это еще раз показывает, как бы было полезно, если бы общественность и правительство работали **вместе и дополняли** друг друга. Взятые порознь, их идеологии страдали односторонностью и внутренним противоречием. Столыпин, желавший реформой крестьянского быта подвести опору для **личного права**, противоречил себе, когда был равнодушен к тому, что **это** начало личного права попиралось его же правительством. Но и общественность, поборница «прав человека», также забывала эти права в своем желании подчиняться «воле народа». Оставаясь собой, она должна была бы ни мириться с общинною собственностью, которой для себя не признала бы, ни проповедывать принудительное отчуждение земли у **одних** только помещиков. Защищая права помещиков против аграрной демагогии, Столыпин защищал не их интересы, а «права человека» против «государства», т. е. основные начала «либерализма». И не случайно, что дорогая Столыпину реформа крестьянского быта чуть не была провалена именно в Государственном Совете, этом последнем оплоте «реакции».

После этого отступления, я возвращаюсь к законодательной деятельности междудумья. Для более полного понимания того, к чему **стремился** Столыпин, полезно иметь в виду и те законы, которые изготовлялись, но не увидели света. Об одном из них мы узнали из воспоминаний Коковцева*). Он относится к тому же кипучему декабрю 1906 г. Столыпин проектировал тогда реформу губернского управления. Представив этот свой проект кабинету, он предварил, что дорожит им **не меньше, чем крестьянскими** законами. Но вот, что было характерно в этой реформе. В ней находилась ст. 20, изъза которой возник конфликт между ним и Коковцевым. Статья предлагала, чтобы, если на утвержденные земством расходы земских средств **не хватало**, то, по одобрении этих расходов Губернатором, Губернским Советом и Центральным Советом по делам местного хозяйства, эти расходы брались на счет казны и автоматически вносились в бюджет. Коковцев восстал против этого, видя в этом не только умаление Министерства Финансов, которое не имело бы

*) Коковцев, — Из моего прошлого, т. I, стр. 240.

голоса при разрешении этих расходов, но и начало бюджетной анархии. С точки зрения чисто бюджетной, он вероятно был прав; Столыпин в конце концов ему уступил и проект был оставлен. Но в нем были две интересных черты. Во-первых, он был шагом к «децентрализации», которая избавила бы законодательные учреждения от «вермишели», от многообразных «оранжерей и прачечных города Юрьева». Многие такие вопросы относились гораздо больше к компетенции земств и местных властей и было полезно Думу от них разгрузить. Во-вторых, проект вел к усилению значения «земств» в общей государственной жизни. Он резко отличался от преданий эпохи, когда Витте боролся против распространения земских учреждений, доказывая несовместимость их с Самодержавием или проводил закон о «предельности земского обложения». Проект Столыпина усиливал роль земства в обще-государственной жизни, характерно связывая расцвет земского самоуправления с введением нового конституционного строя. Это была реформа структуры, самого фундамента государственного здания. Проект заслуживал сочувствия и произвел бы хорошее впечатление. Из-за ведомственных трений Столыпину, несмотря на усилия, провести его не удалось. Но этот проект, равно как и крестьянские законы Столыпина, дают ключ к пониманию его идеала.

Из общего духа заготовленных в то время законов видно, что они, по своему направлению, соответствовали поставленной цели, т. е. преобразованию Самодержавной России в конституционную Монархию. Конкретные недостатки их могли быть путем «поправок» исправлены. Во всяком случае, они годились как база для совместной работы. Задача, которую себе ставил Столыпин, была, таким образом, выполнена.

Эти законы должны были пройти через Думу. Нужно было в ней встретить **готовность** работать **вместе** с правительством. Состав и настроение новой Думы становились благодаря этому на первое место; **от результатов выборов зависело все ближайшее будущее.**

Главной причиной отсрочки созыва Думы на ненормально долгое время, т. е. на восемь месяцев, и было желание использовать это время для **примирения населения с властью.** Этой цели должно было служить проведение ряда таких законодательных мер, по 87 ст., которые бы удовлетворили «желаниям населения».

Об существе этих законов я буду подробнее говорить при обозрении деятельности Думы. Большинство их, за исключением 3, 4 (в роде военно-полевых судов), могли бы соответствовать этой цели. Их было так много, что они подали повод к упреку, что правительств злоупотребляет этой статьей, требовавшей наличия и «чрезвычайных обстоятельств» и «неотложности». Я не повторю такого упрека; подобная предвыборная «агитация» лучше приемов несбыточных «обещаний», которые обыкновенно на выборах делаются. К

тому же мы убедились теперь на примере всех стран, что обыкновенный законодательный порядок обсуждения в представительных учреждениях не приспособлен к **переломным** эпохам, к «обновлению жизни». В разных формах и видах демократии принуждены прибегать тогда к исключительным полномочиям; наша 87 ст. была одной из таких же процедур. Принципиальное ее осуждение является поэтому доктринерством, противоречащим требованиям жизни. Но все-таки должно признать, что, если эти законы такую цель себе ставили, то они ее **не** достигли, и что расчеты на это Столыпина лишний раз показали непонимание им людской психологии.

Во-первых, наиболее серьезные из этих законов, не могли дать благодетельных результатов так скоро именно потому, что для этого они должны были бы очень глубоко проникнуть в народную жизнь; типичным образчиком этого являлся закон 9 ноября о выходе из крестьянской общины. Нужны были годы, а не месяцы, чтобы выгода его была всеми усвоена.

Во-вторых, при повышенном настроении населения было вообще рисковано касаться наболевших вопросов. Токвиль недаром указывал: «самый опасный момент для дурного правительства наступает тогда, когда оно начнет **исправляться»**. Именно **тогда** начинается сравнение того, что **дают**, с тем, чего **требуют**, и с тем, что другие легко **обещают**. Наиболее яркий пример — те же аграрные законы Столыпина. Правительство хотело удовлетворить земельные нужды крестьян, передав несколько миллионов десятин Крестьянскому Банку для продажи крестьянам. Это дало повод требовать уже не продажи, а безвозмездной раздачи этих земель, обещать крестьянам не только казенные, но и помещичьи земли, настаивать на принудительном их отчуждении и т. п. Как государственная программа, план Столыпина был выше планов подобного рода, не исключая кадетского; но как электоральная платформа, он не мог итти в сравнение с ними. Поэтому проводить свои аграрные законы с электоральной целью было наивно. Столыпин ими только оттолкнул от правительства «крестьянские массы» и отдал их в руки опасной для него демагогии. Это не значило, что нужно было вовсе от них отказаться; но от них и нужно было ждать не успокоения, а только нового взрыва страстей и это учитывать.

Среди проведенных законов, были, конечно, такие, которые не вызывали в широких массах большого внимания, а потому и пристрастного осуждения; таковы, напр., законы о старообрядческих общинах. Они проходили потому для широких масс незаметно; не волновали, но за то и не успокаивали. Остальные же обыкновенно подливали лишь масло в огонь. Столыпин не знал всех рессурсов беспринципной партийной борьбы, которая лучшие его намерения могла повернуть против него.

Был один закон, который мог бы **своей** цели достичь и стать

предвозвестником новой эры; правительство его приняло и поднесло Государю на подпись; это закон «об еврейском равноправии». При диких формах современного антисемитизма, тогдашнее положение евреев в России может казаться терпимым. Но оно всех тяготило, как несправедливость; потому такая реформа была бы полезна. Коковцев вспоминает, что в этом Указе полного равноправия не было. Но евреи были так неизбалованы, что оценили бы и это. Во всяком случае, было бы важно, чтобы впервые этот больной вопрос был не только поставлен, но и предрешен в благоприятном для равноправия направлении. Если бы такой указ тогда появился, он знаменовал бы разрыв правительства, а может быть и самого Государя, с черносотенным изуверством; был бы и предостережением погромщикам всякого ранга. Наконец, он дал бы некоторое удовлетворение и благоразумным евреям. Словом, кроме пользы этот Указ не мог ничего принести. Характерно, для оценки той роли, которую играл Государь, его личное отношение к этому Указу. Он вернул его Столыпину, при письме от 10 декабря 1906 г. Оно уже было напечатано, но настолько характерно, что я его еще раз привожу.

> «Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям.
>
> Я знаю, вы тоже верите, что «сердце царево в руцех Божьих».
>
> Да будет так.
>
> Я несу за все власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответственность и во всякое время готов отдать Ему в том ответ».

Хотя мотивы Совета Министров признаны «самыми убедительными», они оказались перевешенными только тем «внутренним голосом»*), который, будто бы, Государя **никогда не обманывал.** Страшно подумать, что такой довод мог быть указан Совету Министров, что Государь рассчитывал на его **убедительность.** «Вы тоже верите, что сердце царево в руцех Божьих». При **такой** постановке

---

*) На Дворянском Съезде 16 ноября 1906 г. Пуришкевич, между прочим, хвалился дисциплиной и влиянием «Союза Русского Народа». Когда несколько дней назад, рассказывал он, в Совете Министров был принципиально задет вопрос о расширении черты еврейской оседлости, Главный Совет обратившись к отделениям Союза, предложил им просить Государя Императора воздержаться от утверждения проекта Съезда. По прошествии 24 часов у ног Его Величества было 205 телеграмм».

Вот источник того внутреннего голоса, который Государя будто бы никогда не обманывал.

вопроса не приходится спорить; но она показывает, на чем позднее вырос **Распутин.** Столыпин, в своем ответе Государю, просил по крайней мере разрешения переделать задним числом журнал Совета Министров, чтобы не показалось, что «Совет единогласно высказался за отмену ограничений, а Государь их сохранил». Мы не имеем права, писал он, ставить вас в такое положение и прятаться за вас. Остается неясным, хотел ли Столыпин «ответственность взять на себя», чтобы не компрометировать Государя, или хотел и не «подрывать в широкой публике авторитета Совета Министров». «При таком обороте дела, — объяснял дальше Столыпин, — и министры в глазах общества не будут казаться окончательно лишенными доверия Вашего Величества, а в настоящее время Вам, Государь, нужно правительство сильное».

В этой неудаче Столыпин может быть сам не повинен. Вина лежит на Государе и ближайшем его окружении. Чтобы им противодействовать, нужно было иметь опору в тех, кто, как и Столыпин, хотели **либеральной** реформы всего нашего строя. Соглашение с ними было поэтому самой насущной задачей. Оно могло бы указать тот средний путь, который мог пролегать между старым «порядком», т. е. сословным Самодержавием, и еще загадочной «Революцией». Привлечение к управлению «либеральной общественности» было поэтому давнишней заботой всех тех представителей власти, которые сочувствовали либеральным реформам. Таковы были те министры Александра II, во главе с Лорис-Меликовым, которых удалил с политической сцены Манифест 29 апреля 1881 г., написанный Победоносцевым для **нового** Самодержца. В 1905 г., с возвещением конституции, естественно возвращались к той же традиции. С этою целью уже 18 октября 1905 года Витте пригласил для переговоров с собою Бюро земских съездов. Но общественность, в лице этого Бюро, не захотела тогда примирения с властью; как полагалось в войне, она требовала «капитуляции без всяких условий». Соглашение не состоялось. Следующие закулисные попытки были сделаны уже при Думе; они были сорваны более всего непримиримостью кадет, которые требовали парламентарного кадетского министерства. Государь, под влиянием Столыпина, на это не пошел и Дума была распущена*). Третью и последнюю попытку привлечь общественность к управлению сделал уже сам Столыпин немедленно после роспуска Думы. Она тоже не удалась и уже не повторялась до 1917 г. О ней в следующей главе.

---

*) Об этих двух попытках я рассказал в моих книгах «Власть и общественность» и «Первая Дума».

ГЛАВА IV.

Отношения Столыпина с либеральной общественностью.

Эта последняя попытка сближения была особенно показательна. Со стороны **власти** переговоры вел Столыпин в апогее своего влияния и добрых намерений; он обратился (не как Витте в 1905 г.) не к «Бюро земских съездов», упоенному успехом «освободительной» тактики, а к тем людям либерального прошлого, которые казались свободны от революционных иллюзий, как будто сознали бесплодность кадетских «непримиримых» путей, и опасность от союзников слева. Поэтому с ними власть, повидимому, могла сговориться. Но и эта попытка кончилась неудачей. Интересно взвесить, на ком лежит за это больше ответственности.

Как только стало ясно, что роспуск Думы не вызвал той бурной реакции, которой все время грозили, Столыпин тотчас предпринял шаги для привлечения к сотрудничеству представителей общества. Он тогда разговаривал со многими; начиная с Шипова и кончая Гучковым. С наибольшей полнотой мы знаем о его переговорах с Шиповым и кн. Львовым; о них подробно и, как всегда, правдиво, рассказал сам Шипов*). По ним можно догадываться о ходе других разговоров.

Самое начало их было характерно. Уже 12 июля Шипов был, по поручению Столыпина, вызван своими друзьями из Москвы в Петербург; но узнав, зачем его вызвали, отказался поехать; он не простил Столыпину роспуска Думы. Этот отказ Столыпина не обескуражил; он прибегнул к хитрости. 15-го июля, т. е. всего через неделю после роспуска Думы, он официально по службе пригласил его с кн. Львовым якобы для переговоров о продовольственной помощи населению при содействии шиповского детища «Общеземской Организации». Шипов догадался, что это только предлог: но уклоняться было нельзя, и он приехал к нему с кн. Львовым. Столыпин перешел прямо к делу. Шипов так передает их разговор:

«Как только мы вошли в кабинет, П. А. Столыпин обратился ко мне со словами: «Вот, Д. Н., роспуск Думы состоялся; как

---

*) Д. Н. Шипов, — Воспоминания и Думы, стр. 461.

теперь относитесь вы к этому факту?» Я ответил, что П. А-чу известно мое отношение к этому факту и что я остаюсь при своем убеждении. Такое начало не могло не отразиться неблагоприятно на настроении вопрошавшего и на предстоящих переговорах. После моей реплики П. А. Столыпин сказал: «Я обращаюсь к вам обоим с просьбой войти в состав образуемого мной кабинета и оказать ваше содействие осуществлению конституционных начал, возвещенных Манифестом 17-го октября».

Он им раскрыл, как предполагал использовать междудумье для умиротворения общества:

> «Для успокоения всех классов населения, нужно в ближайшем же времени дать **каждой** общественной группе удовлетворение их насущных потребностей и тем привлечь их на сторону правительства. Делу поверят скорее и больше, чем словам».

Как на пример «насущных потребностей крупных общественных групп» он указывал, между прочим, и на еврейский вопрос; сюда же относилось и то, что было позднее проведено им по 87 ст., т. е. крестьянский вопрос, вопрос о старообрядцах, о приказчиках и т. п.

Такова была тактическая программа Столыпина. Казалось, она могла бы быть базой для дальнейших переговоров. Можно было сокращать или увеличивать список неотложных законов, которые Столыпин хотел провести, вводить в них поправки и изменения и т. д. Но по рассказу Шипова, он с кн. Львовым «горячо возражали» против самого плана. Они стали доказывать, что никакие мероприятия, нуждающиеся в законодательной санкции, **не могли быть осуществлены помимо законодательных учреждений**; недоумевали, как правительство, после 17 октября, может предрешать помимо народного представительства, какие именно реформы должны быть проведены в жизнь и т. д.

Весь разговор, по рассказу Шипова, был «беспорядочный; происходил при большом возбуждении обеих сторон», которые «часто перебивали друг друга». Но они поняли, что в таком важном и ответственном вопросе ограничиться «беспорядочным разговором» было нельзя и 17 июля, чтобы зафиксировать положение, ему написали письмо. Этот документ драгоценен для понимания их отношений. В нем, как передает сам Шипов, они выражали не **свое личное** мнение; говорили от имени своих политических друзей и единомышленников, то-есть той разумной части либеральной общественности, которая была в меньшинстве и на Земском Съезде и в 1-ой Государственной Думе, и не шла за ее тогдашнею тактикой. Можно было надеяться, что эта особенность их собственного политического прошлого отразится в письме, и соглашение сделает возможным.

В виду важности письма, я его приведу почти целиком:

Милостивый Государь,
Петр Аркадьевич,

Помимо нашего желания, наша беседа с вами 15-го июля приняла направление, которое лишило нас возможности выяснить вам те условия, при наличности которых мы сочли бы себя в праве принять ваше предложение, и сделать вам понятными причины нашего отрицательного к нему отношения.

О готовности жертвовать собой не может быть вопроса. При условии сознания и твердой веры, что мы можем принести пользу, мы готовы отдать все свои силы служению родине. Но мы полагаем, что намеченная вами политика постепенного приготовления общества к свободным реформам маленькими уступками, сегодня, с тем, чтобы завтра сделать большие, и постепенного убеждения его в благих намерениях правительства не принесет пользы и не внесет успокоения. Реформаторство правительства должно носить на себе печать смелости и ею импонировать обществу. Поэтому мы считаем единственно правильной политикой настоящего времени открытое выступление правительства навстречу свободе и социальным реформам, и всякая отсрочка в этом отношении представляется нам губительной...............

....

В этих целях, по нашему мнению, необходимо, чтобы в высочайшем рескрипте на имя председателя совета министров, при назначении в кабинет лиц из среды общественных деятелей, было возвещено, что мера эта имеет своею целью осуществление необходимого взаимодействия правительственных и общественных сил.

Мы полагаем, что из 13 лиц, кроме председателя совета министров, входящих в состав кабинета, должно быть не менее 7 лиц, призванных из общества, сплоченных единством политической программы. Между этими лицами должны быть распределены портфели министров: внутренних дел, юстиции, народного просвещения, земледелия, торговли, оберпрокурора Святейшего Синода и государственного контроля.

Главою кабинета должны быть вы, ибо назначение нового главы явилось бы в настоящее время колебанием авторитета власти. Вновь образованный кабинет, в противовес декларации 13-го мая, должен обратиться к стране с правительственным сообщением, в коем должны быть ясно и определенно установлены те задачи, которые ставит себе министерство. В сообщении этом кабинет должен заявить, что он подготовит к внесению в Государственную Думу целый ряд законопроектов по важнейшим очередным вопросам государственной жизни и в том числе проект зе-

мельного устройства и расширения крестьянского землевладения, в целях которого правительство не остановится и перед принудительным отчуждением части частновладельческих земель в случаях необходимости, установленных местными землеустроительными учреждениями.

Одновременно с организацией нового кабинета мы признаем необходимость, чтобы высочайшими указами Государя Императора было приостановлено произнесение приговоров смертной казни до созыва Государственной Думы и дарована амнистия всем лицам, привлеченным к ответственности и отбывающим наказание за участие в освободительном движении и не посягавшим при этом на жизнь людей и чужое имущество.

Вновь образованный кабинет должен неотложно выработать законопроекты, регулирующие пользование правами и свободами, возвещенными 17-го октября, и устанавливающие равенство перед законом всех российских граждан и представить их на высочайшее утверждение для введения их в действие временно, впредь до утверждения законопроектов Государственной Думой. В то же время правительство должно прекратить действие всех исключительных положений.

В заключение мы считаем совершенно необходимым, в целях успокоения страны, приступить возможно скорее к производству выборов и созвать Государственную Думу не позднее 1-го декабря 1906 года.

Если сравнивать это письмо с тем, что в октябре 1905 г. графу Витте говорила земская делегация, или с тем, на чем рушились закулисные переговоры в 1-ой Думе, оно заключало много уступок. В нем не было речи ни об Учредительном Собрании по 4-хвостке, или о болгарской или бельгийской конституции, ни принципиального отвержения «коалиции» с бюрократическим миром, ни «отвода» лично против Столыпина. Уступлено было даже в том, на что сначала так «горячо» ополчились Шипов с кн. Львовым, т. е. в проведении временно законов, без представительных учреждений; это как раз то, что хотел сделать Столыпин и против чего они горячо возражали.

Если бы земская делегация предложила эту программу в октябре 1905 г., все могло пойти по иному. Но обстоятельства с тех пор изменились. В той форме, в которой эта программа теперь предлагалась, она не могла быть Столыпиным всерьез принята. Письмо ставило условием исполнение тех требований, которые были помещены в думском Адресе — амнистия, приостановка смертной казни, снятие исключительных положений и непременно принудительное отчуждение земель. В Адресе они были поставлены так, что получили категорический отрицательный ответ в декларации 13-го

мая и явились поводом к роспуску. Принятие правительством **этой** программы теперь не могло бы быть понято иначе, как **капитуляцией** его перед распущенной Думой. Ускоренный же созыв Думы, как этого требовало письмо, т. е. производство новых выборов, в атмосфере такой капитуляции, немного отличался бы от совета*), который раньше в газете давал Милюков: **просто вернуть прежнюю Думу.** Такую политику, конечно, можно было и защищать, и вести; но не Столыпин, распустивший Первую Думу, мог ее сделать **своей.** Когда письмо требовало для общественных деятелей, «объединенных этой программой», семи портфелей, главных во внутреннем управлении, в том числе — и на первом месте, — поста Министра Внутренних Дел, который занимал сам Столыпин, но добавляло, при этом, что главой кабинета должен оставаться Столыпин, «ибо назначение нового премьера явилось бы в настоящее время колебанием авторитета власти», — это уже звучало насмешкой. Если бы Столыпин на это пошел, он в обоих лагерях убил бы к себе уважение; управление государством на таких основаниях он должен бы был предоставить другим, а не цепляться за свое место, унижая себя. Потому в этих «условиях» Столыпин правильно усмотрел определенный **отказ.** Так он и ответил. Привожу и его ответ тоже почти целиком:

«Милостивый Государь,
Дмитрий Николаевич,

Очень благодарен вам и князю Львову за ваше письмо. Мне душевно жаль, что вы отказываете мне в вашем ценном и столь желательном, для блага общего, сотрудничестве. Мне также весьма досадно, что я не сумел достаточно ясно изложить вам свою точку зрения и оставил в вас впечатление человека, боящегося смелых реформ и сторонника «маленьких уступок». Дело в том, что я не признаю никаких уступок, ни больших, ни маленьких. Я нахожу, что нужно реальное дело, реальные реформы, и что мы в промежуток 200 дней, отделяющих нас от новой Думы, должны всецело себя отдать подготовлению их и проведению возможного в жизнь. Такому «делу» поверят больше, чем самым сильным словам.

В общих чертах, в программе, которая и по мне должна быть обнародована, мы мало расходимся. Что касается смертной казни (форма приостановки ее Высочайшим указом) и амнистии, то нельзя забывать, что это вопросы не программные, так как находятся в зависимости от свободной воли Монарха.

Кабинет весь целиком должен быть сплочен единством политических взглядов и дело, мне кажется, не в числе портфелей, а

---

*) В. Маклаков, — Первая Дума, — глава XV. стр. 225.

в подходящих лицах, объединенных желанием вывести Россию из кризиса . . . .

. . . . . . Я думал, как и в первый раз, когда говорил о сформировании вами министерства, так и теперь, когда предлагал вам и князю Львову войти в мой кабинет, что польза для России будет от этого несомненная. Вы рассудили иначе. Я вам, во всяком случае, благодарен за вашу откровенную беседу, за искренность, которую вы внесли в это дело, и за видимое ваше желание помочь мне в трудном деле, возложенном на меня Государем».

Так кончились переговоры Столыпина с Шиповым и Львовым; это было плохим предзнаменованием и огорчило Столыпина. Огорчение сквозит в его ответном письме. Но такова сила предвзятости, что сам Шипов увидел в письме «отсутствие искренности и откровенности»*), не говоря о Милюкове, который в нем открыл даже «торжествующую иронию»**).

Мы не имеем подробностей переговоров Столыпина с другими деятелями, которых он приглашал — гр. Гейденом, М. Стаховичем, А. Гучковым и Н. Львовым. Это не важно: они могли отличаться только в подробностях. Основание отказа у всех было одно. Каковы бы ни были личные взгляды общественных деятелей, они все находились в **одном** воюющем лагере. Они представляли тот общий фронт, которого они разрывать не хотели, как не разрывают военного союза во время войны. В эпоху войны с Самодержавием, «Освободительное Движение» — объединило несовместимые элементы. Они могли естественно распасться после победы, так как несовместимость их для дальнейшей деятельности уже обнаруживалась. Но они убедили себя, что **война еще продолжалась**, или по крайней мере может возобновиться, и не хотели брать на себя ответственности за прекращение коалиции. Либеральные земцы, как Н. Н. Львов и А. И. Гучков, не хотели расходиться с кадетским радикализмом; кадеты же не хотели ссориться и с подлинной Революцией. В искренность власти они не верили, а **против нее** только союз с Революцией мог им дать реальную силу. Связь их с Революцией поэтому долго продолжала быть **основой их тактики.** В обращении власти к себе они видели или проявление полного бессилия власти, невозможность для нее обойтись без общественности, или еще хуже — коварный план ее расколоть и «скомпрометировать». Они с властью продолжали быть двумя воюющими лагерями. Это объясняет и другие характерные требования, которые в письме Шипов и кн. Львов Столыпину поставили. И необходимость особого рескрипта о «вхождении общественных представителей» в кабинет, как для встречи

*) Шипов, — Воспоминания, стр. 471.
**) Милюков, — Три попытки, стр. 80.

во время войны представителей воюющих стран нужно специальное «разъяснение», чтобы их встреча не показалась изменой; и условие об участии их в кабинете не иначе, как на классических «паритетных началах», и парадоксальное требование, чтобы **не весь** кабинет, а только «общественная» его половина была объединена единством политических взглядов. Это показывало ясно, что по их представлению власть и общественность продолжали быть враждебными силами и что война между ними не кончена.

А между тем оба врага были **друг другу** нужны. Было ошибкой государственной власти воображать, что она **одна** может **все** при пассивном послушании населения. И общественность поддалась иллюзии, когда думала, что государственный аппарат ее талантам только **мешает**. Они дополняли друг друга. Власть грешила пренебрежением к «правам человека»; а общественность не давала себе отчета в объеме тяжелого долга, который лежал на «государственной власти», для борьбы с антисоциальными инстинктами человека, ленью, эгоизмом, равнодушием к государственной пользе. Только власть могла дать реальную силу общественности, не делая ее преддверием Революции; только поддержка общественности делала из государственного аппарата национальную власть, а не подобие военного оккупанта.

Представители государственной власти, как люди ответственные и более опытные, раньше общественности поняли необходимость их совместной работы. Отсюда разочарование их от неудачи подобных попыток, в то время, как общественность с «легким сердцем» переговоры старалась сорвать, грозя «отлучением» тем, кто согласится «врагам» помогать, и видя потом в их неудаче оправдание своей тактики и доказательство своей проницательности.

Эту разницу в отношениях можно увидеть по финалу переговоров, которые тогда вел Столыпин. Он должен был констатировать их неуспех. Но от будущего он не отрекался, кораблей не сжигал и никого не винил. 26-го июля «правительственное сообщение» объяснило, что «желание правительства привлечь на министерские места общественных деятелей... встретило затруднение вне доброй воли правительства и самих общественных деятелей». Можно ли было мягче сказать? Но «общественные деятели» нашли нужным возразить и **на это.** И в настоящей войне ответственность за войну все всегда возлагают на противную сторону. Письмом в редакцию «Нового Времени» Шипов, Львов и Гейден объяснили, что сообщение было неверно: «**поставленные ими условия** не были приняты Председателем Совета Министров». Как они сами положение тогда себе представляли, можно видеть по их собственным отзывам. Вот что в своей книге об этом, на стр. 173, пишет Шипов: «Гр. Гейден, говорит он, со свойственной ему меткостью выражений и юмором сказал: «очевидно, нас с вами приглашают на ре-

ли наемных детей при дамах легкого поведения». Как говорят французы, гр. Гейден «ne croyait pas si bien dire». Его слова не только с юмором, но очень метко характеризуют отношение нашей общественности к существующей власти. Общественность глядела на ее представителей, как на тех дам «легкого поведения», общение с которыми могло ее «компрометировать». Дело было не в их личностях, даже не в их политическом направлении, а в самой «профессии», как это и бывает с «дамами легкого поведения». Сами по себе и личности, и взгляды не исключали сотрудничества. Ведь даже их первый контакт, тот «беспорядочный спор», о котором вспоминает Шипов, не произвел ни на кого из них впечатления безнадежного разномыслия. И Столыпин подчеркивал в ответном письме, что в **программе** между ними большого разногласия нет. Общественность в помощи ему отказала потому, что не хотела себя компрометировать **соглашением** с ним, не захотела представлять собою детей «при дамах легкого поведения». Она хотела все делать **сама и одна**; пользы от соглашения с прежнею властью она не понимала. Это та же идеология, которая предписывала ей требовать полновластного Учредительного Собрания, как Верховного Суверена. Только в 1917 г. она поняла, что это значило — взять все в **свои** руки.

* *
*

Но если можно винить непримиримость нашей общественности, которая мешала соглашению с властью, то не меньшая вина остается на власти и даже на лучших ее представителях. На несчастье России и на них тяготело наследие прошлого, т. е. того же Самодержавия. И в лагере власти был общий фронт, который шел не только против Революции, но и против либерализма, как союзника Революции. И в этом лагере не решались разъединять этого фронта, чтобы не обессилить себя перед врагом. От тех либеральных министров, с которыми сговориться о реформах было возможно, он шел до Государя, с тем его «окружением», которое не принимало конституционного строя; к нему после 1905 года примкнули и правые демагоги, в роде союза «Русского Народа», с подонками страны, которых они вербовали. Эти два противоположных фронта питали и укрепляли друг друга. Как либеральная общественность зависела от приверженцев «Революции», так передовые представители власти зависели от внушений, которые им давал Государь и **его** печальное окружение. Было безнадежной задачей примирить весь фронт «власти» с фронтом нашей «общественности». Соглашение могло состояться только при условии распадения и того и другого. Нужна была новая комбинация — renversement des alliances — по французскому выражению, соглашение прежних

врагов против прежних **союзников.** Водворение конституционного строя давало для этого и возможность и повод. Сама жизнь, т. е. опыт совместной работы должен был показать и тем и другим, **где** у каждого друзья и враги, **где** они могут вместе итти, не вспоминая недавнего прошлого. Но прошлое владело не только общественностью, но и властью. Даже лучшие ее представители не понимали, что детские болезни общественности неизбежны, но излечиваются жизнью сами собой. Они не хотели этого ждать и старались ускорить этот процесс обычными приемами старого режима, т. е. административным «воздействием». Было печально, что общественность не хотела помочь власти и разделить с ней труды и ответственность. Но никто не обязан становиться министром; разномыслие с главою правительства достаточный мотив для отказа. Столыпин был в праве не принять условий нашей общественности; но был неправ в своем отношении к тем, кто с его политикой хотел **законно бороться.** В этом был его грех уже против нового строя. Одно из двух: либо у нас остался прежний режим, который не допускал политических мнений и партий; тогда не могло быть ни Думы, ни выборов, ни «свободы» для населения, и «17 Октября» было бы обманом. Либо был введен представительный строй; тогда общество и отражавшее его народное представительство в своих политических взглядах должны быть свободны. Разномыслия, недопустимые в правительстве, в среде «общества» и «представительства» только желательны. Требовать от всех единомыслия, запрещать «оппозицию» сделалось позднее особенностью «революционных» правительств и «тоталитарных» режимов. Это и сблизило их с Самодержавием. Но и Столыпин, хотя и служил правовому порядку, от **этой** старой идеологии освободиться не смог; он не понимал желательности «оппозиции» и счел возможным бороться и с нею, а не только с Революцией, **полицейскими мерами.**

Следы этой борьбы можно найти всюду в этот период. Так «правительственное сообщение 18 ноября» запретило лицам, «состоящим на государственной службе принимать участие в политических партиях, проявляющих **стремление к борьбе с правительством».** Это запрещение еще можно понять. Непоследовательно, конечно, предоставлять лицам, состоящим на государственной службе, право участия в выборах и не допускать для них свободы политических мнений. Здесь конфликт между «правами избирателей» и «долгом чиновника»; но он существует и в более привычных к политической жизни странах. Но Столыпин пошел дальше. Если чиновникам, покуда они состояли на государственной службе, еще можно было давать указания, как чиновникам, у Столыпина не было права мешать деятельности самих политических партий. Они стояли под защитой не только духа нового строя, но и закона. Закон 1 марта 1906 года определял, что образование обществ «не

требует предварительного разрешения власти», что запретить его можно только, если цель его «угрожает общественной безопасности». Но Столыпин, тайным циркуляром 15 сентября, разъяснил Губернаторам, что политическая партия может быть запрещена «если цель ее, будучи по форме легальной, недостаточно ясна». В правительственном сообщении пояснялось, что это относится к партиям, которые «хоть и не причисляют себя к революционным, тем не менее в программе своей, и даже только в воззваниях своих вожаков (напр., Выборгское воззвание) обнаруживают **стремление к борьбе с правительством»**. Губернаторы поняли, что им хотели сказать, и оппозиционным партиям стали отказывать в регистрации. Они становились «нелегализованными». Это открывало возможность их жизни и работе мешать.

Эти насильственные меры ударили именно по либеральным партиям, т. е., прежде всего, по кадетской и по октябристской.

Ошибок кадетской партии я не скрываю. Я приписываю им большую долю вины за неудачу нашего конституционного опыта. Но в 1905 г. и в 1906 г. ложные шаги этой парти объяснялись лихорадочным состоянием всего нашего общества. Оно было временно, как всякая лихорадка: обыватели, которые поддерживали своими голосами кадетскую партию, учились из жизни; вместе с этими уроками менялась и кадетская тактика. Кадетское настроение 2-ой Думы было уже не то, которое погубило **первую** Думу. Кадеты «прогрессивного блока» были несхожи с кадетами 3-й Гос. Думы. Но кадеты выражали течение, без которого не могла удасться конституционная реформа России; они были не только издавними сторонниками **новых** порядков, но и противниками достижения их путем **насильственных** переворотов. Не они одни держались этого направления и часто напрасно враждовали с своими политическими соседями; но это было делом **их** и их избирателей, а не правительства. Последствия гонений на кадетскую партию оказались печальны.

Во-первых, они нарушали закон и были тем соблазнительным проявлением привычного произвола, от которого надо было излечивать нашу склонную к нему администрацию. Во-вторых, цели не достигали и ставили правительство в глупое положение. Оно не было большевистским; не шло до конца; оппозиционных партий к «стенке» не ставило. Желая показать свою силу — обнаруживало только бессилие. Оно не могло помешать кадетам ни образовать свою партию, вопреки запрещению, ни выбирать комитеты, ни иметь тайные собрания и даже съезды. В-третьих, эта политика кадет озлобляла, подрывала веру в искренность власти, опять сближала их с революционным течением, и затрудняла самой власти соглашение с ними. Так, когда раздражив, а не уничтожив кадет-

скую партию во 2-ой Думе, Столыпин принужден был искать соглашения с ней, это ему самому стало гораздо труднее.

Все это можно было предвидеть. Гораздо неожиданнее и любопытнее были вредные последствия **этой политики** для другой либеральной партии, для октябристов. Столыпин понимал, что при конституционном строе нельзя опираться только на тех, кто демонстративно этот строй отрицает, как правые. Преследуя кадет, как оппозиционную партию, он в поучение им свою политическую ставку поставил не на правых, а на давнишних соперников кадет, на октябристов.

Параллельная история их поучительна. Обе партии вышли из земской среды, которая таким образом естественно оказалась рассадником конституционалистов. В 4-ой Государственной Думе обе они вошли в состав «прогрессивного блока», что показало, что их сродство было сильнее вражды. При выборах в 1-ую Думу кадеты их разгромили. Им помогло революционное настроение обывателей, которые ждали от Думы чудес, и потому не хотели слышать о соглашении с властью. Кадетам на выборах приходилось бороться не с октябристами, а с более левыми. В таком настроении собралась 1-ая Дума. Ее неудача, благополучно совершившийся роспуск, жалкая реакция на него в виде Выборгского воззвания — кадетский авторитет поколебали. Одни разочарованные избиратели пошли еще более влево, другие же вправо. Это последнее движение и должно было быть октябристам на пользу. Поведение в Думе их представителей: гр. Гейдена, М. А. Стаховича, стоявших за либеральные реформы, но боровшихся с революционными увлечениями Думы, привлекало к октябристам внимание и сочувствие тех, кто хотел реформ, но не верил и не хотел Революции. На предстоящих выборах в новую Думу именно они могли стать представителями либеральной общественности, занять против правых ту позицию, которую на первых выборах против более левых занимали кадеты. Можно было подумать, что к этому они и стремились. Когда Столыпин приглашал их в свой кабинет, они, соглашаясь не бороться с правительством, в кабинет все-таки не пошли, желая сохранить свою **независимость.** Это могло быть разумно. Но эта позиция была разрушена тактикой самого же Столыпина.

Когда он начал преследовать «оппозиционные» партии, в том числе и кадет, он октябристам открыто стал **«покровительствовать».** Уже таким отношением он кадетам делал рекламу, а октябристов компрометировал. Но еще хуже было то, что октябристы, как все, кто покровительство принимает, были принуждены за него и платить. При своем возникновении они были оппозиционной партией, защищали Манифест против правых. На первом партийном Съезде 1905 года они выступили горячими обличителями Витте, вернее его Министра Внутренних Дел — Дурново. На этой позиции либе-

рализма они стояли и в 1-ой Гос. Думе, расходясь с ней только в области тактики. Чтобы не потерять завоеванного ими престижа, они должны были не спускать своего либерального знамени, продолжать защищать Манифест против тех, кто его **отрицал или компрометировал.** Это было их миссией и было бы настоящей поддержкой Столыпина против его наиболее опасных противников справа. Вместо этого, они не только стали его поддерживать в его борьбе с кадетами, но и вообще оправдывать **все**, что он делал. Даже когда он был вынужден Государем издать свой закон о «военно-полевых судах», А. И. Гучков выступил с защитой его, хотя понимал ненавистность его для всего населения и противоречащий понятию «права» характер его. С тех пор октябризм изменил свой политический облик. Основатели партии, представители земского либерализма: Шипов, М. Стахович, гр. Гейден, демонстративно вышли из партии, чтобы позднее основать благонамеренную, но лишенную всякого влияния партию «Мирного Обновления». Среди октябристской партии еще осталось не мало почтенных имен, но средний облик ее изменился. Ряды ее стали пополняться людьми, к Манифесту равнодушными, осуждавшими политику не только Гучкова, но и Столыпина. Они шли в партию не по сочувствию к ее либеральной программе, а потому, что она была более приличной фирмой, чем правые. Октябристская партия разбухала, но престиж свой теряла; был нужен переворот 3 июня, чтобы она могла победить при выборах в 3-ю Думу. И там в конце концов она раскололась.

В этом перерождении партии обнаружилось общее явление в жизни русских политических партий. То-же произошло и с кадетами. «Октябристы» оказались перегруженными пришельцами справа, а кадетское ядро было затоплено «союзниками слева». Такова была судьба либерального направления, с борьбой на два фронта. У обеих партий были те-же враги и справа, и слева, та-же цель: **проведение реформ мирным путем.** Если заботиться о наилучшем использовании всех сил для этой цели, октябристам и кадетам надо было вместе итти; октябристам стоять на правом фланге для борьбы против Самодержавия, а кадетам на левом, для отражения «Революции». Борьба тем действительнее, чем противники стоят ближе друг к другу; на расстоянии, на котором орудия не хватают, борьбы не может и быть. При **таком** расположении партий, победа на каждом из фронтов над «реакцией» или над «революцией» была бы для всех «конституционалистов» **общей** победой, на **общую** пользу.

Но обе либеральные партии поступали иначе. Они не поняли серьезности положения; борьба **между собой** занимала их больше, чем совместная война против **общих** врагов. Обе заключали с «правыми» и «революцией» блоки друг **против друга.** Вследствие этого обе партии работали на пользу врагов.

Так октябризм не смог сделать того, что после неудачи кадет судьба ему на долю оставила. При такой тактике он не мог ни Столыпина укрепить, ни с ним примирить обывателей; не мог и ему самому импонировать. Он усилил влияние правых и вернул популярность кадетам. Это было его Немезидой.

ГЛАВА V.

Выборы во 2-ую Думу.

Отказ «либеральной» общественности помочь Столыпину в период первого междудумия, неловкие меры, которые он относительно нее принимал, привели к разрыву между ним и теми, кто, как и он сам, хотели правового обновления нашей страны. Общественной опорой Столыпина, благодаря этому, стали те, кто реформ его не хотел и видел в нем только «сокрушителя Революции». Этот лагерь «людей испугавшихся» был тогда очень велик; к нему примкнули и бывшие «либеральные» люди, участники «Освободительного Движения», которых оттолкнула перспектива Революции и демагогии 1-ой Государственной Думы. Столыпин стал их героем. Таковы, прежде всего, стали земцы. На банкете в честь их представителей новый Председатель Московской Губернской Управы, Н. Ф. Рихтер, коренной земский деятель, в 1905 году читавший на Дворянском Собрании особое мнение от «либеральных дворян», человек твердый и вполне независимый, теперь мог говорить, обращаясь к Столыпину: «я не нахожу слов, да их и во всем русском словаре не найдется, чтобы выразить всю глубину чувств, завоеванных вами в наших сердцах». Столыпин при таком отношении к себе прежнего руководящего класса мог стать «временщиком».

Но у нас была конституция, и Столыпин от нее не хотел отрекаться. Каков бы ни был избирательный закон 11 декабря, которым в свое время возмущались левые партии, как недемократичным, этот закон обеспечивал голос на выборах и тем, кто остался заветам «Освободительного Движения» верен. Столыпину нужно было поэтому добиться поддержки тех слоев населения, которые не шли покорно за властью и посылали в Думу определенно **оппозиционные** партии. Заключительным актом первого междудумия, который был бы показателем успеха Столыпина, должны были быть удачные выборы в новую Думу.

Именно с этой целью, чтобы примирить с собой этот слой избирателей, Столыпин и хотел провести ряд полезных и популярных реформ. Они, как я указывал, не могли этой цели достигнуть. Но он решил не пренебрегать и более легким приемом — нажимом власти на выборы.

Инициатива этого шага, как почти всех главных ошибок Столыпина, исходила опять от Государя.

В октябре 1905 г. в докладе Витте, который Государь предписал «принять к руководству», помещена была фраза: «правительство должно поставить себе непоколебимым принципом полное невмешательство в выборы в Думу». Витте ее поместил, не из уважения к «воле народа». Несмотря на малое знакомство с «общественностью», он понимал, что при ее отношении к власти, вмешательство в выборы приведет к результатам обратным. Это соображение я потом слыхал от него самого. Было ли предписанное им невмешательство на местах исполнено точно — или встретило противодействие со стороны «патриотических обществ» и Министра Внутренних Дел П. Н. Дурново — трудно судить. Но при Витте давление, если и было, происходило **не явно.**

Эта позиция и вызвала неодобрение Государя. В его письме в ответ на прошение Витте об отставке, есть слова: «Дума получилась такая крайняя не вследствие репрессивных мер правительства, а благодаря широте закона 11 декабря, инертности консервативной массы населения и **полнейшего воздержания** всех властей от выборной кампании, чего не бывает в других государствах». Упрек за «невмешательство» странен в устах Государя, который **этот** принцип предписал принять «к руководству». За то теперь **вмешательство** было одобрено. В чем же оно могло выражаться?

Одно — влияние **авторитета** власти на умы избирателей. Но при нашем отношении к ней, где население ее винило за все, даже за то, в чем она была неповинна, вмешательство власти было бы опасно для нее же самой. Правительственная рекомендация стала бы губить кандидатов, как губила казенную прессу, которая по одному тому, что казенная, не находила читателей. Это наследие прошлого могло исчезнуть лишь постепенно опытом жизни и политическим воспитанием.

Столыпин **это** как будто бы понял; он не ставил официальных кандидатур, не рекламировал их, предоставил **партиям** сражаться друг с другом; но за то он стал терпеть и поощрять более бесстыдное дело — **насилие** над избирателем. Этим он увеличил озлобление против себя.

Размеров этого насилия не нужно преувеличивать. Мы позднее насмотрелись на то, до чего может оно доходить. Если при большевистской Революции голосование совершалось открыто, если теперь можно было предлагать избирателям общие официальные списки, и называть это **выборами**, смешно говорить о давлении при избрании 2-ой Государственной Думы. В России в 1907 г. ничего подобного не было и быть не могло. Вмешательство в выборы старались скрывать. Но и население к нему было **чрезмерно** чувстви-

тельно. Малейшая подобная попытка его оскорбляла и оно уже жаловалось на давление там, где его в сущности не было. Так, когда по предложению Министра Внутренних Дел Сенат дал толкование некоторым статьям выборного закона, это обогатило наш язык ироническим термином «разъяснение». Так стали называть всякое «нарушение права».

Это было остроумно, но несправедливо. В сенатских разъяснениях речь шла о проблеме **конфликтов**, неизбежных при куриальной системе. Таким был вопрос, где голосует крестьянин, имеющий личную собственность: в крестьянской или в землевладельческой курии? Где голосует рабочий, имеющий квартиру: по рабочему или по квартирному цензу? От решения этих вопросов могло много зависеть. Было правильно установить для всех таких случаев какой-то **общий** порядок, а не предоставлять каждое отдельное дело усмотрению заинтересованных лиц или местных властей. Передача этих вопросов на единообразное разъяснение их Сенатом была приемом, который было нужно одобрить. В нем было одно из прямых назначений Сената. А между тем именно в этих «разъяснениях» было усмотрено неприличное **воздействие** на ход выборов.

Были и возмутительные злоупотребления власти, которая, пользуясь «исключительными положениями», арестовывала или высылала предполагаемых кандидатов. Сообщениями о таких махинациях была полна пресса этого времени. Но реального значения и их не нужно преувеличивать. Подобные действия власти ни у кого права быть избранным отнять не могли, если избиратели на своем кандидате **хотели** настаивать. Опаснее была возможность лишить кандидата избирательных прав привлечением его к **судебной** ответственности; статьи о принадлежности к незаконному обществу, или о распространении преступных суждений позволяли легко ими пользоваться. Популярные выборщики накануне выборов неожиданно привлекались к следствию по этим статьям и тогда из списков совершенно вычеркивались. Но как ни действителен был этот прием для судьбы отдельного человека, на общий исход выборов и им влиять было трудно. Чтобы изменить в избирательном собрании **партийное большинство**, нужно было бы устранять столь многих лиц, что это стало бы слишком заметно. На это не все бы решились. Для привлечения нужно кроме того и соучастие судебного ведомства, которое традиции приличия еще сохраняло. За это его и не любил Государь. 12 января 1906 г. он писал своей матери: «Мне очень нравится новый министр юстиции Акимов; очень энергичный, с честными взглядами, начал **сильно подтягивать свое поганое ведомство»**. Но как ни подтягивать, для судебной уступчивости в России тогда были пределы. А главное: статья избирательного закона 1905 г. предписывала в случае отмены Государственной Думой избирательного производства, возобновлять его с

той ступени, до какой оно было отменено». Эта перспектива была острасткой для администрации; ее плутни могли выйти наружу и повлечь неприятности «за излишек усердия». Знаменательно, что **эта** острастка и была уничтожена в положении 3 июня 1907 г. По новому положению, манипуляции для избрания **выборщиков** оставались **вне контроля Государственной Думы.** Потому этот прием и стал особенно проявляться со времен 3-й Думы.

Но даже с помощью **этих** приемов **партийный** состав депутатов изменить было трудно. Он только устранял **отдельных** заметных людей и этим искусственно понижал уровень новой Думы. Ее критики справедливо указывали на ее ненормально **серый** состав. Она не могла итти в сравнение с первой, в которой были почти все громкие имена нашей общественности. Во Второй Думе в подавляющем большинстве были homines novi, из которых только впоследствии некоторые стали известны. Главной причиной такого упадка было, конечно, Выборгское воззвание, пользуясь которым правительство левую общественность искусственно обезглавило. Но к тому же результату в меньшей мере приводили и предвыборные административные ухищрения.

Если бы правительство ставило это понижение уровня **целью** вмешательства, то ее оно в известной мере достигло; но за то в смысле «партийном» результаты его стараний были обратны. Правительство старалось **мешать** соперникам своих фаворитов, но **этим** им делало только **рекламу.**

Приведу, как иллюстрацию к этому, выборы по Москве.

При двухстепенном избирании, нельзя было обойтись без содействия партий. При прямых выборах кандидат мог рассчитывать на личную свою популярность; голоса подавались **за него.** При двухстепенной системе, когда для выбора 4 депутатов от Москвы надо было выбрать 160 **выборщиков,** избиратели для выбора излюбленного депутата должны были избирать не его, а **подходящих** неизвестных им **выборщиков.** Это требовало партийной организации. Избирателям приходилось писать на записках имена людей, которых они могли не знать и даже совсем не хотеть. По необходимости выступали на сцену партии, которые составляли списки выборщиков и являлись ручательством, что избрание их обеспечит и избрание данного **депутата.** В противоречии с этой, им введенной системой, правительство стало разрешать открыто выступать только тем политическим партиям, которые были **легализованы.**

Этого мало, им стали давать и незаконные привилегии, которые для исхода выборов были очень действительны. Возьму пример. Без опоры в законе было постановлено, чтобы избирательный бюллетень писался на **специальных бланках,** выдаваемых городской управой. Так как в избирательном бюллетене избиратель должен был помещать имена многих выборщиков, то при праве из-

бирательных комиссий браковать те бюллетени, где были описки в имени или адресе, было естественно не полагаться на аккуратность самих избирателей, а раздавать им готовые списки. При выборах в Первую Думу эта система практиковалась в широких размерах; все избиратели были засыпаны готовыми списками. Но теперь было решено, что только «легализованные партии» могли получать в неограниченном числе официальные бланки, следовательно только **они** могли изготовлять и рассылать избирателям готовые списки. Этой возможности не было у нелегализованных партий. Легко представить себе их положение; их противники получали в Управе неограниченное число бланков, их заполняли и рассылали **всем** избирателям; они же могли располагать только теми, за которыми их **сторонники** обязаны были **лично** являться в Управы. Эта несправедливость вызывала законное негодование. Но практически и она оказалась бессильной. Поддержка, которую гонимым партиям давало за это общественное мнение, возмещало все неудобства. Кадеты не могли списков кандидатов в выборщики опубликовывать от имени **партии**; они их печатали как будто по рекомендации **частных** лиц; население понимало, что **это** значит. Легализованные **партии** оповещали о **своих** дежурствах; у кадет такие оповещения делались тоже, но от «популярных имен» и к ним приходили. От таких же «популярных имен» были напечатаны просьбы к избирателям доставлять им **лишние** бланки; и их ими засыпали. Избиратель поддерживал их против властей.

Атмосфера борьбы с давлением власти отразилась и на собраниях. Они не были так свободны, как прежде, когда на них мог ходить, кто угодно, и куда администрация не показывалась. Теперь на них допускали лишь «избирателей», права которых полиция проверяла у входа, что отнимало много лишнего времени; в собрании сидел чин полиции. Характер прений переменился. Выборы являются всегда голосованием какой-то идеи. При выборах в 1-ую Думу шел спор между Самодержавием, конституционной Монархией и Революцией. Для посвященных это было элементарно, а для среднего обывателя ново. Он на собраниях мог кое-чему научиться. Представителями идеи «конституционной Монархии» были кадеты и **эта идея** дала им победу. Этот спор не был окончен; кадетам после их неудач с первой Думой вести его стало труднее и против левых, и против правых. Но позиция правительства изменила прежнюю почву для спора; перед избирателем был поставлен более простой и понятный вопрос: за кого он, **за правительство или за его врагов? Идейный** интерес собрания этим очень понизился. По существу политической идеологии спора уже не было. Все было проще. Собрание назначалось для нескольких избирательных участков совместно, чтобы предполагаемый докладчик, кандидат в Думу, мог выступать вне своего округа. Он в один вечер мог посетить

несколько мест. Ему было легко в любой момент собрание прекратить, чтобы ехать дальше. Для этого стоило начать говорить о «кадетах». Полицейский чин вмешивался, так как партия «не легализована», собрание закрывалось, оратор становился свободен и ехал в другое собрание. Нельзя было придумать для него лучшей рекламы, чем та, которую власть взяла на себя.

Легко представить себе, что выходило из выборов в такой атмосфере. Важные проблемы, которые надлежало если не решить, то поставить, были забыты перед мелкой задачей не поддаться влиянию власти, дать ей урок. Мы были политически молоды и особенно чувствительны к уклонениям от добрых нравов. В России живее, чем на Западе, возмущали попытки правительства подкупить и развращать людей в нашем лагере. Даже те, кто нам не сочувствовал, помогали нам давать этим попыткам отпор. 22 января Лев Тихомиров записывает в своем дневнике: «Вчера на выборах Московского уезда революционеры одержали победу; из 8 выборщиков — 3 социалиста и 5 кадет. Неужели в городе будет то-же самое? Нелегализованные, от Столыпина денег не получают, а бьют всех напропалую. Молодцы!»*). Если так чувствовал враг, мудрено ли, что выборщики из «оппозиции» забывали о прежних своих разногласиях, и на губернских избирательных собраниях друг друга поддерживали против всех, кто был угоден правительству? Являлась возможность этим способом отплатить за все, в чем винили правительство. Бестактное вмешательство в выборы так уродливо поставило этот вопрос и еще раз сблизило кадет с Революцией.

* * *

Неопытность Столыпина, когда речь шла о настроении общества, сказалась и в том, что исхода этих выборов он ждал с оптимизмом. Его подчиненные его в этом поддерживали; шла война правительства с оппозицией, а главным оружием войны уже и тогда была ложь. Официальные «донесения» систематически искажали разультаты выборов, преувеличивали успехи правительства и скрывали его неудачи. Воспоминания Коковцева передают конфликт на этой почве между Министерством Внутренних Дел (по отделу печати) в лице Бельгарта и Телеграфным Агентством в лице А. А. Гирса; оба доставляли о выборах противоположные сведения. Бельгарт обвинял Гирса в тенденциозном извращении фактов; негодовавший на это Столыпин потребовал от Коковцева его устранения. Коковцеву удалось его отстоять до окончания всей кампании, обещав «если Гирс окажется неправ, с ним поступить по заслугам». Любопытно, что Бельгарт Коковцеву этого никогда не простил.

*) Красный Архив, — т. 61.

Правда и не замедлила обнаружиться. Выборы оказались первой, но за то очень большой неудачей Столыпина. Она была заслужена. Нужно быть последовательным. Меньшинство может «насилием» управлять большою страной, не считаясь ни с желаниями ее, ни с интересами. Но тогда нужно итти до конца. В таких странах не делают выборов, не допускают свободы печати, ни слова, ни личности; не позволяют критики действий властей; это условия самого существования для этой власти.

Столыпин не хотел итти **этим** путем; он хотел быть проводником в России конституционного **правового порядка.** Избирательного закона он не изменил и выборы сделал. При всех «нажимах» это были все-таки выборы. Его половинчатое вмешательство в них имело один результат: **озлобило население,** и его настроение отразилось на выборах. По своему официальному составу Дума оказалась негодной, чтобы работать и конституционный строй укрепить. В этом себе надо дать полный отчет.

Когда Столыпин рекомендовал местным властям поддерживать приемлемых для правительства кандидатов, их поддержка пошла на пользу «правых». Столыпин еще не понимал их «вреда» и даже видел в них опору против революционной опасности. У них к тому же были покровители помимо Столыпина и сильнее его. Все давление старой администрации потому пошло в пользу **их.** Страна их не хотела; в результате правым удалось протащить около десяти человек на всю Думу; точнее 6 человек. Но польза, которую, с точки зрения власти, они во 2-ой Думе могли принести, была уничтожена вредом, который их присутствие производило; они компрометировали собой то разумное «меньшинство», которое прошло в эту Думу, и которое в ней было **нужно.** В этом меньшинстве были октябристы, т. е. по своему происхождению «либеральная партия», и те правые, которые себя отмежевывали от «крайних» правых принятием характерного имени: **«умеренно-правые»**. Эти «умеренно-правые» Манифеста 17 октября не добивались, но его приняли, были тоже сторонниками Столыпина. Но все это правое меньшинство, даже вместе с крайними правыми — по началу регистрировало около 90 человек. В этом была **вся** опора Столыпина.

Если выборы и дали заметное усиление правого фланга, то их главной чертой было все-таки **непомерное** увеличение **левых,** социалистических и революционных партий. В них было около 220 человек (с.-демократы, соц.-революционеры, народные социалисты и знакомые по 1-ой Думе трудовики). В числе этих 220 человек было около 60 человек с.-демократов, не только хорошо организованных и дисциплинированных, но и находившихся в тесном контакте с международной социал-демократической партией. Усиление левых было не одобрением их программы и тактики, но последствием озлобления населения против властей.

Подлинный же разгром на выборах потерпел конституционный центр, т. е. кадеты; их вошло в новую Думу около 90 человек, т. е. они уменьшились вдвое. Кадеты полагали, что они стали жертвой гонения администрации, которая, — что было правдой, — иногда предпочитала им явных революционеров. В этом объяснении, однако, они ошибались. В Москве, по собственному опыту, я могу утверждать положительно, что преследования нам служили полезной рекламой. Главная причина кадетского поражения была последствием их тактики в 1-ой Думе, т. е. их стремления сочетать оба пути — конституционный и революционный, и оба противоположные пафоса. Этим они не удовлетворили ни тех, ни других; те, кого они оттолкнули игрой своей с Революцией, четыреххвосткой, принудительным отчуждением и т. п., т. е. главным образом земские элементы, ушли к «октябристам» и «умеренно-правым»; а те, кто были революционно настроены, но голосовали за них в 1-ую Думу, веря в то, что они сумеют добиться своих целей конституционным путем, разочаровались в их искусстве, и пошли к более левым, которые «конституционные утопии» давно обличали. Кадетам было только полезно, что администрация их притесняла; без этого их разгром мог быть еще больше.

Кроме названных партий, в Думе было еще около 130-150 голосов беспартийных; часть их входила в национальные и профессиональные группы — поляки, мусульмане, крестьяне, казаки; часть же так и назвала себя «беспартийными». При голосовании они распадались и шли с разными группами. Только польское коло, около 45 человек, было сплочено, голосовало единодушно, но вело свою польскую линию.

Достаточно сопоставить эти цифры, чтобы видеть трагическое положение новой Думы. Если определять ее состав в 500 голосов (на деле всегда голосовало несколько меньше) — то одни социалистические левые партии составляли в ней немного менее половины (220 голосов). Если правых присодинить к ним, то они давали **большинство** — но только большинство красно-черного блока, заведомо нерабочее, годное для одного отрицания. Несомненное большинство получалось бы и в том случае, если с левыми голосовали кадеты; для этого кадетам было нужно перейти к левой тактике и от конституционных путей отказаться. Роспуск Думы и изменение избирательного закона были бы тоже тогда **обеспечены**. Достигнуть этого было легко.

Совсем иначе стояла задача — создать работоспособную Думу. Если кадет присоединить ко **всему** правому меньшинству, что было очевидно невозможно, то и тогда их общее число не превысило бы 150 человек. Это не было еще большинством. Рабочее большинство могло бы составиться только, если кадетам удалось бы присоединить к себе не только **большую часть правого меньшинст-**

ва, но и неопределившихся еще беспартийных, и более левых. Возможность образования подобного большинства и сделалась испытанием жизнеспособности этой Думы.

Когда эти цифры стали известны, разочарование политических партий было всеобщим. Я эти настроения помню. Могли ли главные победители — левые — радоваться? Они знали отлично, что революционная волна убывала, что до нового подъема ее еще очень далеко, а к конституционной работе они не готовились. Кадеты были разбиты, вышиблены из привычной комбинации союза с более левыми. Чтобы спасти и сохранить эту Думу, надо было итти совсем **новым** путем, создать **иное** большинство; но руководители партий и их пресса не привыкли признаваться в ошибках и не решались им **это** советовать.

Но что замышлял в это время Столыпин? Главным побежденным на выборах оказался именно он. А ведь он не был ни уступчив, ни гибок. Поползли немедленно слухи, что Думу распустят раньше первого ее заседания, или искусственно придумают и создадут предлог, чтобы ее распустить. Правые торжествовали заранее: непригодность для России конституционного строя этим будет доказана. Все эти слухи оказались неверны. Каковы бы ни были мотивы Столыпина, он на **этот** путь не вступил. Он учел урок выборов и сделал из него единственный правильный вывод. Надо опыт конституции довести до конца; не распускать и не провоцировать избранной Думы, попытаться с нею работать, а для этого, прежде всего, согласиться с кадетами, которых он еще недавно преследовал. Это тотчас пронюхали справа и были скандализованы. Лев Тихомиров записывает в своем дневнике 8 февраля: «Правительство решило всячески ухаживать за кадетами и Думой, лишь бы добиться ее союза с властью»*).

История 2-ой Думы и есть история этой попытки. Она кончилась неудачей, но было бы неправильно судить о ней только по ее конечному результату. Если быть справедливым, то надо будет признать, что, несмотря на нее, в Думе и благодаря Думе начался тогда интересный процесс оздоровления политических партий, возвращения к началам конституционного строя. Этот процесс не всеми был замечен; пресса его не отмечала и не ценила. Он шел снизу, в глубине думской работы, во фракциях и в рабочих комиссиях Думы, часто против журнальных шаблонов и старых директив политических лидеров. Он может остаться незамеченным и для истории, если те, кто изблизи его наблюдали, о нем не напомнят. Вот почему, вспоминая жизнь 2-ой Думы, — содержание следующих глав этой книги — я постараюсь как можно чаще бросать взгляд за кулисы ее.

---

*) Красный Архив. — т. 61.

ГЛАВА VI.

Настроение депутатов при начале Второй Думы.

Выборы произошли в феврале; Дума открывалась 20-го. Депутаты съезжались заранее. Мало кто рассчитывал на долгую Думу и искал постоянной квартиры. Мне выпала удача поселиться в кадетском клубе, на Потемкинской улице, который перед первой Думой был оборудован на деньги, пожертвованные кн. Бебутовым; как говорили после, он оказался в связях с охранкой; тогда этого не подозревали и он был у нас почетным хозяином.

Больше всего благодаря этому помещению я очутился в самом центре кадетской жизни и мог наблюдать, что в партии делалось. Зато в моих воспоминаниях невольно смешиваются и частные разговоры и официальные заседания.

Я оказался невольным свидетелем, как партия принимала решения. Лидером считался у нас Милюков; но на личное руководство у него не было ни претензий, ни специального дара. Распорядителем оставался коллектив; он отражал разные направления, примирение которых и сделалось главной задачей «лидера». Милюков своего личного мнения партии не навязывал, высказывал его обыкновенно после других, когда разные точки зрения были изложены и он мог между ними найти компромисс. Его иногда добывали «измором», затягивая обсуждение, пока не образуется подходящего состава собрания.

Кадеты гордились дисциплиной, ею дорожили и считали условием парламентской деятельности. Депутаты могли спорить между собой, у себя, но в Думе должны были голосовать одинаково. Единственной уступкой праву личного мнения было разрешение «воздержаться» от голосования; да и это иногда запрещалось. Потому, кроме исключительных случаев, решения и голосования в Думе заранее устанавливались в заседаниях фракции.

Это имело одно неудобство. По партийному уставу в заседаниях фракции на равных правах с депутатами участвовали члены Центрального Комитета и члены распущенной Думы. Не участвуя в Думе, сами в ней не голосуя, они влияли на поведение фракции. У них было больше авторитета, чем у новичков; более опыта, боль-

ше свободного времени, чем у рядовых депутатов, которые целый день работали в Думе или комиссиях. Last but not least заседания фракции были для них заменой их прежней работы, единственным способом принять в ней участие. К заседаниям фракции они относились более ревностно. Немудрено, что влияние их во фракции, особенно первое время, было преобладающим.

Они естественно тянули новую Думу на старые рельсы. Хотя было ясно, что та прежняя тактика, которая в 1904-1905 году победила, а в 1906 году привела к гибели 1-ую Думу, в 1907 году была вполне безнадежна, все-таки своих ошибок они признавать не хотели, делали вид, будто «ничего не переменилось» и «война продолжается»; благодаря этому принимались решения, с которыми было опоздано. Все первые шаги 2-ой Гос. Думы оказались этим отмечены.

Новые депутаты стали учиться не от них, а из личного опыта. Решения фракции приводиться в исполнение должны были ими. Они поэтому живее чувствовали ответственность за то что делали, чем их закулисные руководители; и работали они в условиях не схожих с Первою Думою. Все это переламывало предвзятые навыки и инструкции. Для новых депутатов сила Думы была не в предполагаемой ее суверенности, а в реальных правах, которые государство за ней признавало. Эти права были ограничены, но зато их надо было использовать полностью. Лозунг «Думу беречь» не предполагал сохранения ее только для одного ее «существования»; он требовал от нее «достижений», которые были возможны только на конституционных путях, т. е. при совместной работе Думы с государственной силой — правительством. Вопреки вожакам это понимание стало отражаться на тактике фракции раньше, чем перешло в сознание лидеров.

**
*

Первым делом Думы должно было быть избрание ее Председателя. Переговоры об этом велись между представителями партий. Права кадет на пост Председателя никто не оспаривал. Этому помогало и то, что ни одна из левых партий (трудовики, с.-д., с.-р., н.-с.), как республиканцы, не считали возможным для своего сочлена представление Государю. Кадеты же были хотя и оппозиционной, но «монархической» партией. Им поэтому вдвойне естественно было выставить от себя Председателя.

За несколько дней до открытия Думы, по примеру 1-ой Думы, было созвано совещание для сговора относительно поведения во время первого заседания, а также для одобрения кандидата в Председатели Думы. Собрание было созвано по инициативе кадет; в их помещении; председательствовал на нем кадет П. Д. Долгоруков.

Были приглашены только левые фракции. Не звали ни правых, ни октябристов, ни умеренно-правых. Их заранее считали врагами. Потому и речь на собрании шла всего больше о том, как парализовать возможную с их стороны «провокацию» в день открытия Думы. Хотя правила 18 сентября, как будто не допускали подобной возможности, но вспоминали речь Петрункевича об амнистии в 1-ой Думе и опасались чего-либо подобного в смысле обратном. В качестве знатного «перводумца» Кузьмин-Караваев всех успокаивал. Без содействия Председателя этого де сделать нельзя; против этого есть «председательский окрик», и т. д. Доля смешного здесь была в том, что Кузьмин-Караваев не сомневался, что будет избран Председателем сам. В некоторых отношениях он мог оказаться бы лучше; но за ним не было **партии**, а его личное поведение в 1-ой Думе внушало к его устойчивости мало доверия.

Выставленная кадетской партией кандидатура Ф. А. Головина была без возражений одобрена совещанием. Долгоруков приветствовал это единогласное решение собрания, **видя в нем** «первое совместное действие объединенной оппозиции». Это вызвало общие рукоплескания.

Эта фраза не была только хозяйской любезностью; к несчастью, ею возвещалась ближайшая думская тактика, определялись отношения кадет и к правительству, и к другим партиям Думы. Они были не выводом из нового положения, а продолжением приемов недавнего прошлого.

Характерно, что хотя это собрание состояло из большинства Государственной Думы, оно, как и в первой Думе, называло себя «оппозицией». Этим подчеркивали, что вся Дума есть «оппозиция», власть же враг, а не возможный сотрудник. Иного отношения к правительству тогда не допускали. По традиции радовались всякой неудаче министерства. Еще недавно, когда перед 1-ой Думой отставлен был Витте, Милюков увидел в этом нашу **победу**. Он не заметил, что свалили Витте правые, не за репрессии против общества, а за Манифест, и что если кадеты в его травле принимали участие, то работали этим только **на правых**. Если кадетские деятели в 1907 году **так** смотрели на Витте, автора Манифеста, то можно представить себе, насколько они были далеки от допущения, что теперь Столыпин является опорой Думы и от мысли, что если он Думу оберегает от правых, то Думе неполитично быть с ним в войне. Этого им в голову не приходило: в Столыпине они видели только представителя враждебного лагеря, которого всегда и всеми мерами полезно «валить». 2 марта 1907 года Милюков без всяких мотивов объявляет в «Речи»: «Невозможность для Думы работать с П. А. Столыпиным, повидимому, даже и в сферах представляется ясной» (!). Это заключение секрет его «осведомленности». Но он шел еще дальше: он рассуждал уже о том, «**что** нужно для дальней-

шего существования Думы **при условии отставки Столыпина»**. Вот иллюзии, в которых наши лидеры пребывали и которые лежали в основе **их** директив для членов парламентской фракции.

У руководителей общественности был и второй бесспорный канон; он гласил, что для кадет допустимо соглашение только с более левыми партиями. В той же передовице от 2 марта Милюков предупреждал: «В некоторых влиятельных кругах, как кажется, все еще убеждены, что можно будет составить большинство из правого центра с кадетами, т. е. из октябристов, кадет и польского коло. Если такого рода большинство признается необходимым условием дальнейшего существования Думы, то мы боимся, что ликвидация Думы только отсрочена»... И дальше: «Если расчеты правительства основаны на образовании большинства не левее кадетов и если целью при этом ставится отказ от аграрной реформы на начале принудительного отчуждения, тогда положение Думы придется с самого начала признать безнадежным».

Вот то **традиционное** понимание, которое продолжало владеть газетою «Речь». Она правильно выражала взгляды наших руководителей, их «генеральную линию». Та новая партийная комбинация в Думе, которая одна могла спасти тогда конституцию, отвергалась ими без всяких мотивов исключительно по рецептам «Освободительного Движения» и «Первой Государственной Думы». Нужны были уроки, чтобы обнаружить бесполезность таких «жестов», которые кадеты уже научились осуждать в левых партиях, но пока еще не замечали в самих себе. На борьбу с этими предрассудками прошлого уходило много труда и, главное, времени. Мы излечились от них только опытом 1915 и 1917 годов.

Практическим последствием старых традиций пока было то, что кандидатура Председателя оказалась «партийной». **Меньшинство** не только к совещанию о нем не привлекли; ему даже имени кандидата официально не сообщили. Меньшинство считалось «вне Думы», хотя без его голосов «рабочего» большинства в Думе не могло бы составиться и хотя такое большинство ей было необходимо. Было ненормально от первого **совместного** действия Думы совсем устранять членов **правого** сектора. Их голоса придали бы председателю больший авторитет.

Если права кадет на пост Председателя никто не оспаривал, то кандидатура именно Головина для многих была непонятна. Ничего дурного про него никто сказать бы не мог. Он был «джентльмен», глубоко порядочный, с определенными взглядами. Но по сравнению с С. А. Муромцевым он был бесцветен. По своему прошлому имел хорошие «титулы»: был председателем Московской Губернской Управы, Председателем бюро земских съездов. Но на этих должностях он был только «дублером». Когда Д. Н. Шипов, фигура по размерам несоизмеримая с ним, не был утвержден пред-

седателем Губернской Управы, в поисках его заместителя остановились на Головине. Он был в земской среде **свой** человек, бывший сотрудник Шипова по Управе; он стал бы продолжать **его** дело. Он это сам заявил на земском собрании и такое заявление тогда прозвучало как «вызов». Но оно не пугало; он заменить Шипова не мог бы и был утвержден тем же Плеве, хотя, как конституционалист, мог казаться опаснее славянофила и камергера Шипова. **Руководить** земствами было ему не под силу; но в съездах уже образовалась сплоченная группа более авторитетных и влиятельных лиц; ему оставалось итти вместе с ними. Он же не был самолюбив и охотно довольствовался второстепенною ролью.

Так и на посту Председателя Думы он продолжал свое амплуа быть дублером. В глазах поклонников первой Думы это было нормально. Ведь вся вторая «бесцветная» Дума рассматривалась только, как дублер «настоящей».

Но на посту Председателя были все-таки нужны и индивидуальные качества, которых у Головина не хватало. Его друзья предупреждали, что хотя в общем он эффектен не будет, но в критические минуты сумеет Думу выручить лучше многих других. В этом была доля правды. Ему помогала его невозмутимость, полное отсутствие личного самолюбия. И теперь, задним числом, я не вижу, **кто** из тогдашних думских кадет тогда роль Председателя мог бы лучше исполнить. Требования, которые жизнь к нему предъявляла, были разнообразны и их было трудно соединить в **одном** человеке.

Он должен был, во-первых, «руководить» заседаниями. В этом отношении ему было трудно тягаться с С. А. Муромцевым, который приобрел репутацию Председателя «Божией милостью». Эта репутация преувеличена. У Муромцева не хватало для этого живости и находчивости. Он был слишком важен. «Он председательствует, как обедню служит», метко сказал про него один крестьянский депутат. Эта манера годится в храме, когда благолепия никто не нарушает. Она «на толкучем рынке» бессильна. Для «усмирения» страстей там нужны другие приемы, находчивое слово, способное разрядить атмосферу. Муромцев не имел **этого** дара; у Головина его было не больше, а задача его была бесконечно труднее. В 1-ой Думе по отношению друг к другу депутаты держались корректного тона; между ними не было острого разногласия, они солидарность свою сознавали. Во 2-ой же Думе, при ее разнородном составе, перебранки, взаимные оскорбления между депутатами стали обычным явлением. Если не было случая видеть, как с ними бы справился Муромцев, то Головин не умел с ними справляться и такие его попытки бывали иногда даже смешны.

С этим была связана другая особенность в положении двух Председателей. Муромцев мог не стеснять депутатского слова и в этом видеть свой долг Председателя. Что бы оратор ни говорил,

он его не останавливал и ему замечаний не делал. Так же вела себя сама Дума. Она не перебивала ораторов, не пыталась собой заменять бездействие Председателя. Муромцев ей импонировал своей величавой наружностью, авторитетностью тона, знанием дела. Обратные чувства вызывал Головин; закрученные кверху усы, высокий крахмальный воротник, картавый голос производили при первом знакомстве немного комическое впечатление. Предубеждение из-за внешности, конечно, разлетается при более близком общении, как оно разлеталось у тех, кто, например, имел дело с Кокошкиным, который по внешнему виду на Головина походил. Но у Головина не было ни умственного блеска Кокошкина, ни его дара слова и мысли. Он никому не импонировал и с ним не стеснялись.

Кроме того, во Второй Думе было правое меньшинство, которое сочло своим призванием протестами и шумом восполнять бездействие слишком долготерпеливого Председателя. Когда они это делали, Головину приходилось призывать уже правых к порядку; это получало вид заступничества за эксцессы левых ораторов. Они превращались в думские инциденты, подрывавшие и Думу, и ее Председателя.

Они бывали иногда очень резки. «Такое поведение Председателя естественно лишает его нашего доверия, — писали 31 социал-демократическ. депутата, во главе с Церетелли, 27 апреля 1907 г. — и, как показал вчерашний инцидент, когда почти половина Думы покинула зал заседания в знак протеста против действий Председателя — это недоверие разделяется большинством членов Думы, голосовавших, как и мы, за нынешнего Председателя». Таких конфликтов с Председателем не могло быть в первой Думе и мы не знаем, как сумел бы Муромцев справиться с такой атмосферой.

Несомненное преимущество Муромцева было в том, что он был прекрасным «техником» дела. Оно его интересовало выше всего. Любовь к форме, как в основе «порядка» и «личной свободы» было сущностью его политического понимания. Если в этом была односторонность его, как политика, она пошла на пользу его, как Председателя. У Головина этого качества не было. Его положечие было легче: для думского обихода были уже прецеденты, существовала часть Наказа. Но он все-таки делал грубые ошибки. От них Муромцев глубоко страдал. Он стал помещать в «Праве» еженедельное обозрение, под заглавием «Парламентская Неделя», где эти ошибки указывал. Авторство Муромцева сохранялось в тайне так успешно, что о нем я сам узнал только в эмиграции, из воспоминаний И. В. Гессена.

Это неумение могло быть не важно. Председательство особый талант. Я не видел более комичного по своей технической негодности Председателя, каким оказался на земском съезде блестящий

М. М. Ковалевский, а из всех Председателей Дум всех лучше исполнял свое дело ничем не блестевший кн. В. М. Волконский. У Председателя Думы была еще другая, не менее важная, уже **политическая** функция. Он был представителем всей Думы в ее сношениях с правительством и с Главой Государства. Поклонники Муромцева справедливо его упрекали, что этого преимущества в Первой Думе он **не** использовал. От политической работы он стоял в стороне и ждал, когда его «призовут». В нем подобную линию можно было понять. Первая Дума не довольствовалась своей конституционною ролью и считала себя выразительницей «суверенной» воли народа. При таких взглядах ее Председателю было невместно опускаться до переговоров с «врагами». Но этим прецедентам хотел следовать и Головин, Председатель той Думы, которую хотели «беречь» и которая хотела «работать» **вместе** с правительством. Для такой задачи политическая роль Головина могла быть велика; сыграть ее он не сумел. Об этом он сам рассказывал в своих воспоминаниях, с свойственной ему правдивостью, но и наивностью. На этой роли он остался тоже только «дублером», уподобляясь Муромцеву — только в ошибках его.

Если в общем Головин оказался не на высоте трудной задачи, то вина лежит не на нем. Он делал все, что мог и умел, не поддавался личным расчетам и слабостям. Нельзя его упрекать, что большего дать он не мог. Он не добивался того высокого поста, на котором он очутился. Его выдвинули другие, и он принес себя в жертву. Он был эмблемой кадетской судьбы. Их увереность, что они одни **все** сделать сумеют, реклама, которую они себе делали и которую потом сами принимали всерьез, создала им и среди друзей и врагов «репутацию», которая не оправдалась испытанием жизни. На роль критиков они прекрасно годились; с этой второстепенной ролью они не мирились и претендовали на **первую**. Она выпала на их долю в 1917 году и именно тогда опыт легенду об их несравненном искусстве рассеял.

ГЛАВА VII.

Открытие Думы.

Официальное открытие Думы по отзыву всех, кто присутствовал на открытии первой, в сравнении с ним было будничным и нерадостным. Не было не только парадного приема во Дворце, но и восторгов на улицах. Перед Таврическим Дворцом стояла обычная толпа любопытных, а наряды полиции внимательно проверяли билеты. Это было символом. Предстояла работа, не «праздник»; правительственный аппарат оказался сильнее «воли народа», — о чем он, как будто, и хотел у самого входа новой Думе напомнить. В этом ничего безнадежного не было. Перед «депутатским билетом», т. е. перед «законным правом» полиция отступала. Но зато формальный закон был и **единственной силой** Думы. Это все, что осталось от сгоревшего перводумского фейерверка. Этим соотношением сил и должна была впредь определяться думская тактика.

Открытие ознаменовалось прискорбным непредусмотренным «инцидентом». Произошел он совсем не от «провокации» правых, которой боялись. Вышло следующее. Назначенный Государем для открытия Думы д. т. с. Голубев обратился к ней с такими словами:

> «Возложив на меня почетное поручение открыть заседания Государственной Думы в составе избранных населением в 1907 году членов ее, Государь Император повелел мне приветствовать от Высочайшего Его Имени членов Государственной Думы Всемилостивейшим пожеланием...»

После слова «пожеланием» он приостановился. Все министры поднялись со своих мест и слушали стоя; на правых скамьях тоже встали; остальные, т. е. почти вся Дума, остались сидеть. Несколько кадет поднялись, но видя, что вся Дума сидит, снова сели. Все это продолжалось одно только мгновение, пока Голубев договорил:

> «Да будут, с Божьей помощью, труды ваши в Государственной Думе плодотворны для блага дорогой России».

После этих слов Крупенский громко воскликнул: «Да здравствует Государь Император. Ура!..» Ура было поддержано криками с тех же правых скамей; остальные оставались сидеть и молчать. После этого заседание продолжалось. Но когда во время подсчета записок за Председателя все вышли из зала, в кулуарах было смущение; произошла демонстрация, которой никто не предвидел и никто не хотел.

Именно кадеты ею поставили себя в трудное положение. Левые фракции не скрывали своих республиканских симпатий и «монархических» оказательств умышленно не стали бы делать. Кадеты же были «монархической партией». Участие в антимонархической демонстрации было им не к лицу. Они были взяты врасплох.

Пошли рассуждения. Кто виноват и вообще виновата ли Дума? Должно ли было по этикету вставать, когда читалось не подлинное обращение Государя, а Голубев пересказывал по памяти его содержание? Почему в таком случае он не предложил сам всем встать, как это сделал при чтении «обещания» и как это обыкновенно в аналогичных случаях делается? Почему «ура» Государю, которое Дума не поддержала, провозгласил не Председатель собрания, а частное лицо, к тому же слишком партийный, Крупенский? Должна ли была Дума за его фантазией следовать? Можно было на этом настаивать, но бесплодность этих резонов была несомненна; факт совершился и мог быть против Думы использован. Доброжелатели с правых скамей подсказывали нам из этого выход. Пусть после избрания Председателем, Головин от себя провозгласит «ура» Государю. Но это было практически не выполнимо. Провозглашение второго «ура» на одном заседании, да еще после Крупенского, показалось бы излишним «усердием». Головин этим мог провоцировать Думу на худшее. Левые не пошли бы на это. Да и не одни только левые. Кадеты перводумцы, вспомнив прошлое, демонстрацией были довольны. Винавер, наблюдавший ее из депутатской ложи на хорах, говорил о чудном впечатлении, которое она на них произвела. При таком настроении попытка «исправить» могла сделать еще большее зло.

Враги Думы против нее получили оружие. Но в числе этих врагов самого Столыпина не оказалось. Это для позиции его характерно. Он, напротив, постарался инцидент в глазах Государя **смягчить**. Он писал ему после заседания*):

«Имею счастье доложить Вашему Величеству, что заседание Думы под председательством д. т. с. Голубева прошло благополучно.

После привета Голубева от имени Вашего Величества, пра-

---

*) Красный Архив, т. 5.

вые встали, и член Думы Крупенский громко провозгласил в честь Вашего Величества «ура», подхваченное всею правою стороною; левые не встали, но не решились на какую-нибудь контр-манифестацию».

Председателем Думы выбран Головин, председатель Московской Губернской Земской Управы (356 шаров против 102). Приветственная речь Головина была прилична».

Такое изложение очень неточно. О том, что Дума сидела, слушая приветствие Государя — Столыпин не написал; он говорит, будто уже после привета правые встали, а Крупенский провозгласил «ура». Это положение изменяло. В демонстрации, вышедшей по инициативе частного человека, можно было и не участвовать. Поведение Думы задевало Монарха; в изложении же Столыпина оно превратилось как бы в демонстрацию против усердия Крупенского. И Столыпин подчеркивал, что «контр-манифестации» не было.

Но Государь и при таком освещении был недоволен. Он ответил Столыпину: «Поведение левых характерно, чтобы не сказать **неприлично»**. Оно и было использовано против всей Думы. Государь писал матери: «Ты уже знаешь, как открылась Дума и какую колоссальную глупость и неприличие сделали все левые, не встав, когда правые кричали «ура». **Я получаю с того дня телеграммы из всех углов России с выражением глубокого возмущения истинно-русских людей этой непочтительностью Думы»***)

Телеграммы «истинно-русских» людей по сигналу следовали отовсюду, где эти организации были; но тем характернее, что Столыпин, докладывая Государю о происшедшем, нашел, что «открытие Думы прошло благополучно».

Председателем, конечно, избран был Головин. В пику за свое устранение от совещания и чтобы подсчитать свои голоса, правые решили выставить в Председатели и своего кандидата. Они подали записки за Хомякова; их оказалось 91, что превысило почти вдвое официальную численность правых и показало, что часть беспартийных пойдет вместе с ними. Хомяков от баллотировки отказался, но его 91 записка превратилась уже в 102 черных шара Головину.

Речь Председателя Столыпин в письме Государю назвал «приличной». Она была и **бесцветной**; по форме ее нельзя было сравнивать с вызывающей, но эффектной речью Муромцева. По содержанию же она соответствовала настроению тех, кто Головина избирал, т. е. «объединенной оппозиции». Головин подчеркнул, что у нас «конституция», обещал следовать «заветам Первой Государствен-

---

*) Красный Архив, т. 22.

ной Думы», которая будто бы «указала пути для облегчения страны от ее тяжких страданий». Были в его речи и новые ноты. Он говорил не об «осуществлении прав, вытекающих из природы народного представительства», как это сделал Муромцев, а о «проведении в жизнь воли и мысли народа в единении Думы с Монархом». Это было как будто намеком на намерение следовать идее конституции 1906 года, но, конечно, слишком туманным.

Открытие Думы давало тон будущим отношениям Думы с правительством. Раз Столыпин решил Думы не распускать, а вместе с нею работать, он из этого правильно вывел, что «надо с нею сговориться», по крайней мере с теми, кто может стоять на этой лойяльной позиции. Он, не откладывая, тотчас сделал первый шаг к этому. Вот что об этом рассказывает сам Головин, в своих «Воспоминаниях»*).

> «Тотчас после избрания моего председателем Второй Государственной Думы, в заседании 20 февраля 1907 года, я возобновил свое знакомство с П. А. Столыпиным, приняв от него поздравление по окончании этого заседания. Наша беседа была очень краткая. Мне казалось, что Столыпин не прочь был начать серьезный деловой разговор. Он выразил опасение, что мне трудно будет вести заседания Думы при малочисленном центре и наличности двух крыльев с резкими противоположными взглядами».

Это могло быть хорошим началом; Столыпин сразу входил in medias res, ставил основной вопрос о возможном существовании Думы. Вот как на это отвечал Головин:

> «Я уклонился от разговора на эту тему, ответив лишь, что единодушие подавляющего большинства Думы при выборе председателя дает основание расчитывать на единодушие Думы в других серьезных случаях».

Почему Головин «уклонился» и под таким наивным предлогом, будто единодушие при выборе Председателя что-либо обещало? Уклонение можно было понять, если Головин этот разговор отклонял до более благоприятной для него обстановки. Но он сам сделал, чтобы другого разговора и не было. Приняв от Столыпина «поздравление», он счел своим правом ему визита не сделать. Он сам понимал, что эта некорректность будет вредна для дела. Вот его объяснение:

> «Прежде всего я не мог не считаться с прецедентом в обла-

*) Красный Архив, т. 19.

сти отношений Председателя Думы и Министрами, установленных Председателем Государственной Думы С. А. Муромцевым. После своего избрания Председателем Думы С. А. Муромцев не сделал визита министрам. Последние, в свою очередь, также не сочли нужным посетить Председателя Думы. Таким образом, отношения между Министрами и Председателями Государственной Думы были только деловые. С этим фактом я должен был считаться.

Я считал и считаю, что едва ли в этом вопросе Муромцев был прав. «После Государя первое лицо в государстве это Председатель Государственной Думы», — говорил Муромцев. В подтверждение правильности такого взгляда С. А. приводил как теоретические соображения о существе народного представительства и положении его среди государственных установлений, так и отношение к президенту французской палаты депутатов даже такого врага народовластия, каким был Александр III. Муромцев указывал, что Александр III, во время посещения им Парижа, первый сделал визиты президенту республики и президенту Палаты, но не министрам. Я вполне соглашаюсь, что по существу народного представительства Председатель Государственной Думы должен почитаться первым после Государя лицом в государстве, но, к сожалению, нельзя не считаться с условиями русской действительности. Вековая привычка нашей властной бюрократии занимать первое место в государстве не могла исчезнуть от одного росчерка пера Николая II под Манифестом 17 октября 1905 года. Признать первенство Председателя Думы среди высших представителей законодательной и административной государственной власти было не так то легко и приятно для господ министров».

Головин, таким образом, находил, что хотя Муромцев был прав по существу, но надо было сделать уступку бюрократическим «предрассудкам». Это неверно, Муромцев и по **существу** был **неправ.**

Ссылка его на Александра III недоразумение, так как **Александр III** Парижа не посещал и никогда председателям Палат визита не делал. Но даже если бы это было и верно, отношения Президента Совета Министров и Президента Палаты во Франции не таковы, как у нас. Во Франции «правительство» ответственно перед Палатами; глава правительства по самому рангу ниже Председателя Палаты, как всякий зависимый человек ниже того, от кого он зависит. По русской же конституции правительство перед Думой ответственно не было; оно подчинялось одному Государю. Председатель Совета Министров и Председатель Думы друг от друга совсем не зависели. При равенстве положений, лицо, вновь

назначенное, первым делает визит тем, кто занимал свои должности **раньше.** Претензия Муромцева, чтобы Председатель Совета Министров первый поехал к нему, была проявлением взгляда, что «воля Думы» сильней конституции. Только в **этом** имело опору поведение Муромцева. При второй Думе, возвращавшейся на конституционную почву, претензия Головина была уже ни на чем не основана. И этим не кончилось. Я буду говорить в X главе, как в вопросе вполне деловом, не осложненном тонкостью «протокола» или традициями 1-ой Думы, Головин оттолкнул еще раз авансы Столыпина. Все это, к сожалению, было понятно. Это соответствовало классическому взгляду на Столыпина, как на врага, который принужден будет скоро уйти.

Головин уклонился о разговора не только со Столыпиным. Он так поступил и с Государем. Раз в России конституционный Монарх не только царствовал, но и «управлял» и последнее слово принадлежало ему, возможность личного общения с ним могла быть полезна. Было бы важно, чтоб Государь мог о Думе судить не по наговорам ее принципиальных врагов, но и по объяснениям ее Председателя. Если Муромцев в своем величии «второго лица в государстве» мог этой возможностью пренебрегать, у Головина этого самомнения не было. Он потом сам два раза просил о приеме. Но на эти разы Государь уже был восстановлен против Думы, и против ее Председателя; этого он не скрывал и трудно судить по рассказу Головина, в какой мере ему удалось тогда предубеждение это рассеять. О характере их отношений мы можем лучше судить по той первой их встрече, когда предубеждения против него еще не было и когда только проверялась надежда на возможность с этой Думой работать. Случай был исключительный. Но от беседы на эту тему Головин опять «уклонился».

Принимая его на другой же день после открытия Думы, Государь, несмотря на происшедшую накануне демонстрацию, в которой принял участие и Головин, его встретил «приветливой улыбкой», «протянул ему руку», «поздравил с избранием» и тут же завел разговор о «распределении членов Думы по фракциям» и о «возможности образования работоспособного центра». Он указал на «целый ворох законов», которые правительство в Думу внесло, над которыми «Думе придется много и много работать»; с упрямым и холодным видом заговорил, что Дума должна «дружно работать с правительством, что того настоятельно требуют интересы государства»; добавил к тому же, что «все в Манифесте дарованное народу **не подлежит отмене,** все обещанное должно быть осуществлено»*).

Этими словами Государь вызывал его на политический разговор, давал ему возможность высказать все, что тогда было полезно

---

*) Красный Архив, т. XIX, стр. 118.

сказать, чтобы дать понятие об лойяльном настроении, но и законных желаниях Думы. Этой возможности Головин не использовал. По главному вопросу о возможности создания работоспособного центра, от чего зависела вся будущность Думы, он опять указал, как на **достаточное** доказательство этого, на избрание Председателя Думы. По поводу «дружной работы с правительством» заметил уклончиво, что с законопроектами еще не ознакомился, но опасается, что взгляды правительства и Думы будут различны (!). После этого они стали говорить о другом, не касавшемся Думы. И на другой день Государь писал своей матери:

«Головин — председатель, представился мне на другой день открытия. Общее впечатление мое, что он «nullité complète».

Это может быть слишком поспешно и строго, но нельзя не сказать, что ответ Головина был, по собственному его выражению, уже слишком «уклончив». Он «ничего не сказал». То, что после нескольких бессодержательных фраз, они перешли на «предметы, не касавшиеся Думы», было характерно. Не стоило разговаривать, если разговаривать **так.** Для разговора было достаточно материала, чтобы не говорить о «другом». Государь вообще умел слушать и не требовал угодливых слов. Они уже ему надоели. Несмотря на все его недостатки, как Государя, это было его хорошей стороной. Впечатление, которое когда-то на него, своей Петергофской речью, произвел С. Н. Трубецкой, и которого он никогда не забыл, наглядное тому доказательство. Головину надо было продолжить **эту** традицию, а не предпочитать молчаливое уклонение. Что у него на это не хватило бы таланта, — весьма вероятно. Трубецкой был человек исключительный. Головин заурядный. Но он и не пробовал. Его первый визит к Государю поэтому вышел простою формальностью. Разгадка этого в настроении того думского большинства, которое окрестило себя «оппозицией». Это признал сам Головин объясняя, что «поездки его к Государю вызвали недовольство со стороны левой части Думы», что «левые сочли бы это за заискиванье перед властью, унижавшее Председателя Думы». Он в этом был прав. Но Головин был Председателем **всей** Думы, а не одних только левых. Кадетская же тактика старалась соединять несоединимое, сочетать противоположные «пафосы», и Головин по их обычаю остался сидеть между двух стульев.

**
*

Выборы остальных членов Президиума и Секретариата, состоявшиеся в заседаниях 23 и 24 февраля продолжали происходить при том же исключительно **левом** большинстве. Но искусственность его сразу начала обнаруживаться.

Партии, входящие в его состав, не оспаривали кадетской гегемонии в Президиуме; кадеты получили главные посты, т. е. Председателя и Секретаря. Вообще признавалось желательным, чтобы Секретарь был той же партии, что Председатель; а личность секретаря Челнокова, долголетнего члена Губернской Управы, гласного Городской Думы в Москве, человека исключительно «делового», делала этот выбор очень удачным. При баллотировке шарами он получил больше голосов (379), чем Головин (356).

Но кадеты претендовали и на 3-ье место, Товарища Председателя. Они понимали, что, как техник, Головин будет слаб. Для управления заседаниями они хотели дать ему в помощники Н. В. Тесленко, имевшего заслуженную репутацию отличного Председателя. Недаром хотя он был не земцем, а только адвокатом, именно он председательствовал на Учредительном Съезде кадет в октябре 1905 года и свое дело отлично провел. Всю трудную работу председательствования кадеты хотели возложить на него, оставив за Головиным «представительство», и «сношения» с сферами. От такого разделения труда дело могло только выиграть. Но этот план был неожиданно сорван.

Я был один в нашем клубе, когда туда явилась официальная делегация с.-демократической фракции, в лице Джапаридзе и Церетелли, чтобы заявить, что не возражая против предоставления кадетам места Товарища Председателя, фракция имеет отвод против Тесленко. Причина была такова:

При выборах в 1-ую Думу все городские выборщики по Москве принадлежали к кадетам. Но в избирательное собрание по закону входили еще представители рабочей курии, фактически все социал-демократы. Социал-демократы по городу своих кандидатов не выставляли, но когда фабричные выборщики сошлись с городскими выборщиками в общем собрании для выборов четырех депутатов от города, подавляющее кадетское большинство сочло справедливым предоставить одно место рабочим, пожертвовав для этого одним из своих кандидатов. Вместо кн. П. Д. Долгорукова был выбран рабочий с.-д. Савельев. Но теперь обстоятельства переменились. Социалистические партии выставили по городу общих кандидатов **левого блока** против кадет. Однако, выбраны по Москве, против блока, были только кадеты. Несмотря на это социал-демократы опять потребовали у кадет уступки рабочим и не одного, а уже двух мест. В этой претензии кадеты им отказали. От Москвы были выбраны: Долгоруков, Кизеветтер, Тесленко и я. Соц.-демократы это припомнили и не хотели голосовать за Тесленко, который занимал депутатское место, якобы принадлежавшее им.

Отвод был несправедлив. Решение не уступать места соц.-демократам принадлежало партийным органам, а не лично Тесленко. Оно не помешало с.-демократической фракции принять кандида-

туру Головина и Челнокова. Отвод их против Тесленко имел вид произвола. Он многих задел; явилось поэтому желание настоять на своем. Стали подсчитывать, нельзя ли обойтись без голосов с.-демократов. Но другие партии левого большинства с соц.-демократами разрывать не хотели. Они нас предупредили об этом. Мне было поручено позондировать почву у правых; можно ли расчитывать на их голоса против социал-демократов? У меня среди правых было несколько личных друзей, с которыми я мог говорить. Результат был отрицательный.

Правые были готовы голосовать **за** Тесленко, если выставить **общих** кандидатов по соглашению с ними; но тогда они требовали одно место и **себе.** Это было справедливо, но левые не пошли бы на это; и, конечно, на **одно** место в Президиуме и они сами несомненное право имели, которого при такой комбинации на долю их не осталось бы. Кадетам пришлось уступить; они сняли кандидатуру Тесленко, не заменяя его другим своим кандидатом. На места обоих товарищей Председателя были предложены трудовики Познанский и Березин. Дело от этого проиграло; оба кандидата, как председатели, оказались очень плохи.

Соглашение с правыми не состоялось, и по примеру первого дня они стали на все должности выставлять **своих** кандидатов. На пост Товарищей Председателя предлагали М. Капустина и Рейна. На одно место они право имели; это было логичнее, чем отдать **оба** места трудовикам. М. Капустин был вполне приемлем для Думы. Старый профессор и земец, по профессии доктор, он имел репутацию левого октябриста; в междудумье публично отделился от А. И. Гучкова по вопросу о военно-полевых судах. Несмотря на личную мягкость, был непоколебим в убеждениях. В 3-ей Думе один, вопреки постановлению фракции, говорил в пользу кредитов на флот. Во 2-ой Думе мало отличался от правых кадет. Провести его в Товарищи Председателя было бы столь же разумно, сколь справедливо. Но при агрессивном настроении левого сектора о таком соглашении нельзя было и думать. Кандидатуры правых были провалены. Капустин получил 107 белых шаров, что показало, что число правых еще несколько возросло.

**
*

Но на очередь стал более острый вопрос о Товарищах Секретаря. Более острым он был потому, что число их не определялось законом, а зависело от **постановления** Думы. При отвержении кандидата в Товарищи Председателя можно еще было ссылаться на предпочтительность другого, более подходящего кандидата. При Товарищах Секретаря такой довод уже не годился. От самой Думы зависело, чтобы удовлетворить справедливость, создать для пред-

ставителя меньшинства **лишнее** место. В Первой Думе было избрано 5 Товарищей Секретаря; опираясь на такой прецедент, «объединенная оппозиция» Второй Думы определила выбирать **то же** число и распределила все 5 мест **между собой.** Можно было и их всех провести, и создать **шестое** место для меньшинства. Мои переговоры о Товарище Председателя сделали меня посредником в дальнейших сношениях с правыми об этом вопросе. Я убедился, что они на избрании **своего** кандидата очень настаивали и возмущались, что в этом могло быть сомнение. Дело было не в одной справедливости. Только через **своего** представителя правые могли быть в курсе того, что происходило в президиуме. Стахович рассказывал мне, как в 1-ой Думе тогдашняя «оппозиция» одна не получила заблаговременно текста декларации 13-го мая (которую большинство заблаговременно знало) только оттого, что в Президиуме она своего представителя не имела. Но тогда их было всего 11 человек; теперь у них около 100 голосов; прилично ли их рассматривать, как quantité negligeable? Если, говорил он, им не дадут в Президиуме даже место шестого Товарища Секретаря, это будет означать, что их хотят поставить **вне** Думы. Тогда пусть кадеты на их голоса уже больше ни в чем не расчитывают.

Такие неосуществленные угрозы были вызваны раздражением. Но оно законно; и когда правые сообщили, что будут проводить в Товарищи Секретаря левого октябриста кн. А. Куракина, я стал среди кадет эту кандидатуру поддерживать. В этом они со мной согласились. Но левые партии об этом не хотели и слышать. Так в этом вопросе впервые кадеты разошлись с «оппозицией».

Вопрос приобрел этим принципиальную важность, которая видна даже сквозь лаконизм стенограммы.

Когда дело дошло до избрания Товарищей Секретаря, я предложил без мотивов выборы «отложить на завтрашний день». Журналисты потом острили над тем, каково было мое первое «выступление в Думе». Но за ним скрывалось нечто серьезное. Не только журналисты, но и не все депутаты были в курсе вопроса. Справа не понимали, что это предложение было сделано в **их** интересах, что за ним стояли долгие закулисные переговоры; они стали настаивать, чтобы, по крайней мере, число товарищей подлежащих избранию, было установлено **тотчас же** (Крупенский, Крушеван, Иващенко). Крушеван иронически говорил, что «нет смысла откладывать; выборы до сих пор показали, что они ведутся одной группой и потому в соглашении никакой надобности нет». При голосовании выборы были отложены; в этом мы победили. Но победа не привела ни к чему. Попытки убедить левые группы принять и выставить сообща шестого кандидата и от правого сектора, Куракина — не удались. «Объединенная оппозиция» попрежнему выставила только пять своих кандидатов, с.-д., с.-р., трудовиков, н.-с.

и к.-д. и отвергла Куракина. Кадеты решили тогда — отделить вопрос о Куракине от вопроса о числе Товарищей Секретаря. Я по их поручению опять на другой день предложил, не определяя числа этих товарищей, признать избранными **всех**, кто получит **абсолютное большинство** голосов. Это предложение, которое за Куракиным оставляло все-таки шанс, должно было обсуждаться публично; противникам его кандидатуры пришлось, наконец, публично **открыть** свои карты и изложить **мотивы** отказа. Они не постеснялись. Озоль (с.-д.) находил, что в Думе должно быть некоторое определенное большинство. Посторонних большинству «наблюдателей в секретариате ненужно». С.-д. Махмудов заявил: «Правые просят об увеличении числа в надежде провести своего. Обращаюсь к вам, как к представителям народа, а не как к ставленникам Столыпина. Если мы с первых же дней укажем правым партиям и т. д. (Смех, шум, крики). С.-д. Алексинский издевался над теми, кто «пытается ввести в выборы какой-то принцип равномерности и справедливости». Демьянов, н.с., адвокат, разразился такой тирадой: «в качестве члена оппозиционной группы, я считаю, что было бы совершенно несправедливо, если бы в число Товарищей Секретарей оппозиционные группы выбирали представителей тех партий, которые поддерживают настоящее правительство». Внесенное мной предложение защищали кадеты: Булгаков, Кизеветтер, Гессен. Против него справа говорил Пуришкевич «по совершенно иным основаниям». «Состав высших чинов президиума, находил он, определяют представители конституционно-демократической и крайних партий, и нам, представителям правых партий, по моему крайнему разумению, не пристало и негоже при таких условиях занимать служебные в Думе места».

Такой нетерпимой оказалась атмосфера собрания. При **открытом** голосовании мое предложение было принято; число секретарей решено было заранее **не** определять; дорога Куракину была этим открыта. Но на закрытом избрании шарами левое большинство взяло реванш. Куракин получил 181 белых шаров и 277 черных и был забаллотирован. Товарищи Секретаря, намеченные «объединенной оппозицией» получили все около 350 белых и 100 черных. Часть оппозиции, — конечно, кадеты, — голосовала за Куракина, но других за собой не увлекла.

**
*

Избранием Товарищей Секретаря закончилась организация Думы. По прецеденту 1-ой Государственной Думы раньше, чем приступать к нормальной работе, она должна была проверить правильность выборов половины состава ее, разделившись по жребию на отделы. Головин предложил Думе «временно принять к руковод-

ству Наказ 1-ой Думы». Согласно нему, Дума разделена была на отделы, и проверка полномочий отложена на 2-ое марта. Столыпин сообщил Председателю, что при самом начале думских работ желает прочесть декларацию. Он устанавливал этим порядок, которого держались с тех пор постоянно: все Думы начинались с прочтения Правительством декларации. Но сделать это 2-го марта, как было предположено, не удалось. В ночь на 2 марта произошел знаменитый обвал потолка в зале думских общих собраний.

Депутаты все-таки собрались; им отвели временное и очень неудобное помещение, не в большом, так называемом Екатерининском Зале, а в первой комнате после передней. Там поставили ряд венских стульев и пюпитр для ораторов. Мест хватило не всем. Вести работу в такой обстановке было нельзя. Да было и не до нее. Все ходили смотреть на разгромленный зал заседаний. Если бы это случилось несколькими часами позднее, немногие бы остались в живых. Не обошлось без ядовитых стрел по адресу власти. «Я нисколько не удивился, — инсинуировал с.-д. Алексинский, — известию о том, что обвалился потолок над тем местом, где должны были заседать народные представители. Я уверен, что потолки крепче всего в Министерствах, в Департаменте Полиции и в других учреждениях». Со стороны этого оратора это было сомнительного вкуса риторическим оборотом. Неожиданнее было заявление старого перводумца, кадета Долженкова. Он рассказал, что при приеме зала заседаний 1-ой Думой строительная Комиссия не скрывала, что потолок в зале был ненадежен и мог провалиться. На поправку его были ассигнованы немалые деньги.

> «Но на состояние потолков именно в той части здания, которая составляет центр всего, решительно не было обращено внимания. Может быть это входило в расчет, я не знаю, но тогда этот расчет жесток... Случись это... (шум справа, крики... Председатель делает замечание оратору)... Я, господа, извиняюсь в том, что зашел несколько далеко...
>
> Голос (справа): Осторожнее...

За власть вступились правые; произошла маленькая репетиция того, что постоянно бывало потом. Каждый показал свой будущий стиль.

Прежде всего, как всегда топорно и неуклюже, высказался Крупенский:

> ...«Не желая поднимать грязных инсинуаций, бросаемых на безвинных...
>
> Голоса: Довольно. К порядку...
>
> Председатель: Позвольте...

Крупенский (Бессарабская губ.): Мы несомненно найдем подходящий зал, найти его очень легко. Русский народ будет нас слышать. Там мы не будем делать намеков, а будем работать (аплодисменты справа, шиканье слева).

Потом выступал Шульгин с своей сдержанной и язвительной манерой:

«Мне кажется, господа, мы здесь не суд присяжных, не суд какой бы то ни было другой, даже не суд студенческий. Поэтому я предлагал бы оставить всякие суждения о совершившемся факте. Несомненно, виновные найдутся, и эти виновные будут наказаны в законном порядке»...

После этих нескольких безвредных «салютов шпагами» здравый смысл одержал все-таки верх; заседание было прекращено и отложено до приискания нового помещения. Оно и состоялось 6 марта в Дворянском Собрании.

ГЛАВА VIII.

Правительственная декларация.

Заседание 6 марта не могло не быть большим парламентским днем. Оно было первой встречей представительства с тем Министерством, которое распустило 1-ую Думу и 8 месяцев бесконтрольно страной управляло. Декларация, на прочтении которой сам Столыпин настаивал, чего он мог и не делать, давала повод с ним объясниться. Этого объяснения в передовых кругах все с нетерпением ждали. Но оно вышло совсем непохожим на то, на что можно было надеяться.

Этот день невольно наводил на сравнение с 13 мая, т. е. с днем Горемыкинской декларации перед Первой Государственной Думой. Тогда общественность торжествовала, как будто «одержала победу». Нельзя серьезно говорить о «победе», когда не было боя*). Но все же правительство, которое тогда явилось дать Думе урок, вернуть ее на конституционные рельсы, из **того** заседания вышло «умаленным». На нападки Думы, даже несправедливые, оно не сумело ответить; за Думой осталось последнее слово.

6 марта во Второй Думе все вышло наоборот. Декларация Столыпина не предполагала быть боевой. Она соответствовала его желанию считаться с настроением Думы и этим даже вызвала неудовольствие правого лагеря. Лев Тихомиров писал в своем дневнике: «Столыпин, наконец, исполнил свою мечту, прочитал министерскую декларацию. Предлагаемые им законы все в шаблонно-либеральном духе и сверх того прямое заявление, что правительство будет вести реформы в смысле приближения к строю европейских «правовых» государств. Ну, скатертью дорога**) Но если Тихомиров был недоволен, то власть и ее сторонники могли все-таки ликовать; личный успех Столыпина достиг своего апогея. Защитники Думы были смущены и **сконфужены.** Казалось, что на этот раз Дума перед правительством спасовала.

Этот исход не был случайностью; он был обусловлен решени-

---

*) См. мою книгу — Первая Дума, глава VII.

**) Красный Архив, т. 61. — Воспоминания Л. Тихомирова.

ем, которое было еще до заседания принято: — уклониться от боя и ограничиться «простою» формулой перехода. Это постановление состоялось, когда не знали содержания декларации и, следовательно, ни в какой связи с ней не стояло.

Инициатива его принадлежала **кадетам**. Милюков признал это 28 марта, в отчете о месячной работе Гос. Думы, т. е. тогда, когда этой инициативой уже было трудно гордиться. «Партия Народной Свободы» — говорил он тогда, — «нашла выход в предложении встретить появление Министров молчанием. Насколько это предложение соответствовало общему политическому положению, можно увидеть из того, что после колебаний, к предложению партии народной свободы присоединились партии, которые уже никак невозможно заподозрить в политическом оппортунизме, в том числе соц.-революционеры и трудовики, а в последний момент и долго колебавшиеся народные социалисты». Так говорил Милюков. Я мог бы добавить, что решение принадлежало не столько **кадетам**, сколько их **вожакам**. Новички подчинились, скрепя сердце, без энтузиазма, т. к. были уверены, что их избиратели их молчания не поймут и не одобрят. Но наибольшим авторитетом во фракции пользовались члены Центрального Комитета и распущенной Думы; они и решили вопрос.

Самое решение было пережитком перводумских настроений, которые старались приспособить к новым условиям. Оно объясняется этими настроениями. В передовой статье 2 марта, т. е. еще до декларации, Милюков объяснял, и в этом остался верен себе, что **работа** Думы со Столыпиным **невозможна**, и что Столыпин должен будет уйти. Он не изменил и своего прежнего взгляда, будто конституции нет без парламентаризма, будто «вотум недоверия, по строго конституционным обычаям, непременно влечет за собою или отставку министерства или роспуск Палаты». («Речь», 28 февраля). Он закрыл глаза на то, что бывают не парламентарные конституции, где такой альтернативы не существует, что такой «вотум недоверия» может быть бессодержательным жестом, который по недоразумению выдают за «победу», как это было сделано той-же «Речью» в **предыдущем** году. Повторения прошлогодней «победы» он больше не добивался; и ему было ясно, что по соотношению сил она теперь приведет к немедленному **роспуску** Думы. Чтобы не спустить прежнего знамени, не дать повода думать, что 2-ая Дума настроена более миролюбиво, чем была Первая, но и не погубить ее **сразу**, кадетский лидер рекомендовал безопасный исход: **промолчать**. Он его объяснял лестным для Думы образом в передовице, напечатанной **в день** декларации; по его словам, молчание должно означать: «Дума вас знать не хочет; а кто вы такие, собирающиеся с ней совместно работать, это мы скоро покажем, и покажем не тогда и не так, как **вы** хотите, а как захотим **мы сами**». Такими

громкими фразами склонили к молчанию кадетскую думскую фракцию. «Боя не принимать, с гордостью говорил в ее заседаниях Милюков; мы подчиним врага своей воле и т. п.». Это казалось применением **старой** тактики к **новым** условиям.

Это хитроумное решение было, однако, последовательно. Если допускать непременно только левое большинство и настаивать на единодушии, то должно было бы политику правительства разгромить, выразить ему недоверие и требовать его удаления. Только это могло быть принято всей «объединенной оппозицией». Но все понимали, к чему это теперь приведет. Кадеты преждевременного конца Думы желать не могли. Но были другие партии **левого** блока, которые не верили в конституцию и от веры в непосредственную «победу народа» не отказались. При таком разногласии нельзя было всем договаривать все до конца. Это понимал Милюков, когда рекомендовал лучше «молчать». «Прения, раз начатые, — писал он 28 февраля, — могут затянуться до бесконечности; результатом их явится или мотивированный переход к очередным делам, который неизбежно, какая бы ни была мотивировка, сведется к тому же вотуму недоверия, или простой переход «без всякой мотивировки», который уже не будет соответствовать характеру прений». К этой тактике молчания после 7 дней печатных и устных дискуссий лидеры и привели большинство Гос. Думы.

Трудно судить, оправдала ли бы себя эта тактика, если бы на ней объединилась вся **левая** часть Гос. Думы. Но можно сказать с достоверностью, что ее смысл оказался погублен, когда единодушие было нарушено соц.-демократами и они решили, хотя бы одни, выступить против **Столыпина**.

Перейду к самому заседанию.

Оно началось в Дворянском Собрании быстрою проверкой полномочий, которая продолжалась от одиннадцати до половины второго. Когда полномочия 258 депутатов были проверены, Дума объявила себя «конституированной» и после часового перерыва Столыпин прочел декларацию.

В ней не было ни единого слова, которое могло бы Думу задеть; она говорила не о «прошлом», а только о предстоящей правительству с Думой работе. Все, что могло разделять правительство с Думой, было благоразумно оставлено вне декларации*).

Декларация возвещала внесение громадной массы законов, причем все то, что она в этих законах отмечала и подчеркивала, могло вызвать только **сочувствие** Думы. Ни о необходимости борьбы с Революцией, ни о невозможности сейчас, во время смуты,

---

*) В своем докладе 28 марта, Милюков признавал («Год борьбы», стр. 197)—«что ни один европеец не понял бы, каким образом после такой декларации мог бы последовать вотум недоверия».

переходить к установлению правового порядка в декларации не было ни единого слова, в отличие от той декларации в 3-ей Думе, о которой я упоминал в 3-й главе этой книги.

Декларация не только перечисляла законы, попутно подчеркивая их либеральный характер, она постаралась их связать одной руководящей мыслью. Эта мысль изложена так:

> «Мысль эта — создать те материальные нормы, в которые должны воплотиться новые правоотношения, вытекающие из всех реформ последнего времени. Преобразованное по воле Монарха отечество наше должно превратиться в государство правовое, так как, пока писаный закон не определит обязанностей и не оградит прав отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, т. е. не будут прочно установлены.
>
> Правовые нормы должны покоиться на точном, ясно выраженном законе еще и потому, что иначе жизнь будет постоянно порождать столкновения между новыми основаниями общественности и государственности, получившими одобрение Монарха, и старыми установлениями и законами, находящимися с ними в противоречии».

В этих словах изложен тот смысл, который придавал сам Столыпин понятию «правового порядка». Он не в том только, чтобы писаным законом определить все «права человека» и этим дать возможность защищать их от нарушения. Эту цель ставил себе еще «Свод Законов» Сперанского. Главной задачей Столыпина было привести эти права в соответствие с «новыми основаниями общественности и государственности», которые были возвещены Манифестом, но не облечены в нормы конкретных законов, почему и явились источником «столкновений» и «нареканий» с обеих сторон. Государство в тот момент преобразовывалось. Как выражалась декларация, «страна находилась тогда в периоде перестройки, а, следовательно, и брожения». И декларация объясняла, в каком направлении шла перестройка, в чем состояли эти **новые основания** государственности. Они носили либеральный характер и соответствовали Манифесту.

Прежде всего они были в закреплении личных «прав» человека, т. е. политических «свобод» и неприкосновенности личности. «Правительство, — говорит декларация, — сочло своим долгом выработать законодательные нормы для тех основ права, возвещенных Манифестом 17 октября, которые еще законом не установлены». Любопытно, что декларация упоминала при этом **об отмене связанных исключительно с исповеданием ограничений**, что в сущности предрешало еврейское равноправие. Она обещала «обычное

для всех правовых государств обеспечение неприкосновенности личности, причем личное задержание, обыски, вскрытие корреспонденций обусловливалось постановлением соответствующей **судебной** инстанции, на которую возлагалась и проверка в течение суток оснований законности ареста, последовавшего по распоряжению полиции» и т. д.

В связи с произведенной Основными Законами реформой центрального государственного управления на началах «законности» и привлечения «общественных сил», предполагалось перестроить и местную жизнь на **этих** же новых началах, в области самоуправления, управления и полиции; для этого вносились законы об увеличении компетенции местного самоуправления, о его распространении на новые территории, о создании мелкой земской единицы, поселкового управления, и о расширении избирательных прав, которые будут основаны уже не на земельном, а на налоговом цензе; подчеркивалось, что «администрация впредь будет следить **только за законностью действий** самоуправления».

В области юстиции возвещалось восстановление выборного мирового суда, **упразднение земских начальников,** сосредоточение всех кассационных функций в Сенате, и осуществление целого ряда новелл, которые «при сохранении незыблемыми основных начал Судебных Уставов Александра II, оправдывались указаниями практики, или же отвечали некоторым, получившим за последнее время преобладание в науке и уже принятым законодательством многих государств Европы, воззрениям»; таковы: допущение защиты на предварительном следствии, условное осуждение, досрочное освобождение и т. д. Программа соответствовала давнишним желаниям нашей общественности.

Не буду перечислять всех возвещенных реформ в области народного обучения, рабочего вопроса, налогового обложения и т. д. Их было очень много. Особо подчеркну социальные меры, принятые в интересах крестьян и направленные к двум целям: к увеличению площади крестьянского землевладения и к упорядочению этого землевладения, т. е. к землеустройству. Для первой цели «в распоряжении правительства имеется около 11 миллионов десятин, поступавших по Указам 12 и 27 августа 1906 года и купленных по закону 3 ноября 1905 года, которые правительство предполагает продавать земледельцам по льготным, соответствующим ценности покупаемого и платежным способностям приобретателей, ценам». Для второй—изданный по 87 ст. закон, облегчающий переход к подворному и хуторному владению, причем «устранялось всякое насилие в этом деле, и отменялись меры насильственного прикрепления к общине, закрепления личности, несовместимые с понятием и свободы человека и человеческого труда».

Таково в самых общих чертах содержание декларации, кото-

рая в сжатом своем изложении занимает 14 столбцов стенографического отчета. Она кончалась такими словами:

«Изложив перед Государственной Думою программу законодательных предположений правительства, я бы не выполнил своей задачи, если бы не выразил уверенности, что лишь обдуманное и твердое проведение в жизнь высшими законодательными учреждениями новых начал государственного строя поведет к успокоению и возрождению великой нашей Родины. Правительство готово в этом направлении приложить величайшие усилия: его труд, добрая воля, накопленный опыт предоставляются в распоряжение Государственной Думы, которая встретит, в качестве сотрудника правительство, сознающее свой долг хранить исторические заветы России и восстановить в ней порядок и спокойствие, т. е. правительство стойкое и чисто русское, каковым должно быть и будет правительство Его Величества». (Бурные аплодисменты справа).

А. А. Лопухин позднее мне говорил, будто за эту свою декларацию Столыпин ждал восторженного приема от Думы. Если бы это было правдой, то это только лишний раз доказало бы непонимание им психологии нашей общественности. Я склонен думать, что он все же предвидел, что на него будут нападки, понимал, **куда** они будут направлены, и к ответу на них приготовился. Но эти его уязвимые места остались вне «декларации». Сама по себе **она** не давала материала для критики с левых скамей; разногласия с ней, насколько они были, было действительно разумнее высказать при обсуждении законопроектов. Удивительнее были **«бурные аплодисменты»**, которые либеральная декларация вызвала **на правых** скамьях. Причиной их была, конечно, не программа правительства, а **само** это **правительство**, которое распустило 1-ую Думу и не сделало уступок Революции. За это справа ему и аплодировали.

Когда смолкли рукоплескания правых, на трибуну взошел с.-д. Церетелли. Это был его дебют в Думе. Вместе с Столыпиным он оказался героем этого дня; на другой же день он стал «знаменитостью». Справедливость ему отдали даже враги. Церетелли всегда хороший оратор; он ясен, находчив, не многословен и содержателен. Но главная его сила была в «убежденности», которую все инстинктивно чувствовали. Перед Думой встал человек искренней политической веры, ничего не боявшийся; это возбуждало общее к нему уважение.

В этой речи он дал все, что можно. Ошибочна была только **исходная** точка его; ясность и сила его изложения только ее обличали. Нельзя было утверждать, будто «в лице правительства заговорила старая **крепостническая** Россия», будто эта декларация «да-

же слепым открывала глаза для понимания неразрывной связи самодержавного правительства с кучкой **помещиков крепостников**, живущих на счет обездоленных крестьян». Этот трафарет не имел в декларации ни малейшей опоры. Но какой был главный вывод из этого? Он очень прост:

> «У нас никакой конституции нет, есть только призрак ее». «Чем ожесточеннее борется помещичье правительство за свое существование, чем суровее давит оно на проявление всякой жизни, тем глубже растет революционное движение»... «Пусть обличающий голос представителей народа пронесется по всей стране и разбудит к борьбе всех тех, кто еще не проснулись»... «Быть может — я говорю, быть может, — этой Думы не будет через неделю, но могучее движение народа, сумевшее вывести Россию из старых берегов, сумеет с Думой или без Думы проложить себе дорогу через все преграды к вольному простору»... «Пусть Дума законодательным путем организует или сплачивает пробужденные массы»... «Мы знаем, оно показало нам, что оно подчинится только силе. Мы обращаемся к народному представительству с призывом готовить эту силу. Мы не говорим: «исполнительная власть да подчинится власти законодательной». Мы говорим: «в единении с народом, связавшись с народом, законодательная власть да подчинит себе власть исполнительную».

Эта речь была ставкой на **Революцию.** Дума призывалась стать ее орудием. Это была давнишняя точка зрения соц.-демократов, которая в 1906 году привела их к бойкоту Гос. Думы, а в 1907 г. к подрыванию ее, как конституционного органа. У соц.-демократов не было и мысли о том, чтобы «Думу беречь». Церетелли недаром давал ей сроку неделю.

Для революционеров это было логично. Но было бы ненормально, если бы против правительства, в день первой встречи его с представительством, от Думы была бы выдвинута только **эта** позиция. Было бы парадоксально, чтобы та «объединенная оппозиция», которую накануне открытия Думы приветствовал Долгоруков, в которой Головин и перед Столыпиным и перед Государем усматривал доказательство «работоспособности» Думы, включала в себя и тех соц.-демократов, которые не признавали конституционных путей и хотели использовать Думу только для возбуждения Революции. Было бы безнадежно для существования Думы, если бы **других** путей для достижения своих целей Дума не видела.

А между тем **таково** создалось впечатление. Не после декларации правительства, что бы еще можно было понять, а уже после выступления Церетелли, как бы в ответ **на него,** а не только на декларацию, началось выполнение того плана, который принят был

раньше. Долгоруков от партии нар. свободы, Ширский от соц.-революционеров, Караваев от трудовиков, Хан-Хойский от мусульман, Волк-Корачевский от нар.-соц. и Тарусевич от польского коло, все входили на трибуну, чтобы заявить с небольшой разницей в выражениях, что от обсуждения политики правительства они в тот момент отказываются и предлагают простой переход к очередным делам без мотивов. Это приводило к тому, что единственная речь Церетелли могла и должна была быть принята как выражение общего мнения «оппозиции». Даже те, кто знал закулисную сторону, остались под таким впечатлением. А. Цитрон, в своей книжке о Думе, напечатанной в 1907 г., говорил на стр. 38:

...«В эту минуту Церетелли был не оратором, выставленным фракцией социал-демократов, а трибуном, говорившим от имени всего народа».

То-же впечатление сохранилось в памяти графа Коковцева:

«Вслед за Столыпиным... полились те-же речи, которые мы привыкли слушать за время Первой Думы; ненависть к правительству, огульное презрение ко всем нам, стремление смести власть и сесть на ее место и т. д.».

Эти заключения были естественным результатом тактики Думы. Выступление соц.-демократов, при молчании всей «оппозиции», вносило смуту в умы; но оно еще имело последствием участие правых в поднятом споре. Без этого у них не было бы ни повода выступать, ни предмета для выступления. Теперь от Церетелли они получили и то, и другое. Столыпин об этом заседании так доносил Государю:

«После бурных нападок левых с призывами к открытому выступлению и стойкого отпора правых, мною произнесена речь, прилагаемая при сем в стенограмме.

Государственная Дума постановила принять простой переход к очередным делам.

Настроение Думы сильно разнится от прошлогоднего, и за время заседания не раздалось ни одного крика и ни одного свистка».

Этим Столыпин правых хвалил «за усердие», но и только. Отпора соц.-демократам они дать не могли, за отсутствием у них с ними общей почвы для понимания. Они могли шуметь, мешать говорить, нападать на Председателя, что они впервые в этот день начали делать, и в чем потом увидели свою миссию в Думе. Но когда вместо шума они пытались произносить членораздельные речи

— они поневоле говорили совсем о другом; о том, чего не было ни в **декларации**, ни в речи Церетелли, но что давно **у них** наболело.

Одни, как Бобринский, нападали на **Первую Думу**, другие — как Крушеван, Созонович, Крупенский, оба епископа возмущались политическим террором, хотя сам Церетели, и вся его фракция, были принципиальными противниками террора, как формы революционной борьбы. Третьи, и справа и слева, осуждали **тактику молчания** в Думе.

«Неужели, господа, — говорил правый депутат Синодино, — у нас не хватает гражданского мужества открыто и прямо сказать правительству Его Величества то, что мы думаем... Я полагаю что достоинство нашего высокого дома требует того, чтобы мы открыто сказали этому правительству, сочувствуем ли мы ему или не сочувствуем».

Алексинский, с.-д., прибавил: «Мы, социал-демократы, давшие свой ответ правительству, предполагали, что и другие партии будут давать такой же ответ, но в силу того, что партии народной свободы, трудовики, народные социалисты и соц.-революционеры считают долгом декларацию правительства встретить молчанием, мы и т. д.».

Во всем, что правыми тогда говорилось, был и интерес и известная доля правды, но к поставленному перед Думою вопросу их красноречие отношения не имело.

Но поскольку против правительства выступил один Церетелли с его отрицанием **действительности конституционных** путей, с надеждой **на одну Революцию**, перед Думою был поставлен принципиальный вопрос: действительно ли для борьбы за реформы **единственный** путь — Революция? **Не правым**, не вчерашним противникам конституции, было к лицу защищать действительность **конституционных** путей против правительства. Когда некоторые из них, как Пуришкевич, пытались доказывать, что «правительство, которое дало нам Манифест 17 октября, и не покладая рук разрабатывает законопроекты, что такое правительство не есть правительство реакции», — то **такая** защита **с его** стороны была не только смешна, но подрывала доверие и к Столыпину и к конституции.

Этот принципиальный вопрос был поставлен октябристом — Капустиным. Он отметил, что:

«Громадное большинство Думы, очевидно, желает свои законодательные обязанности исполнить и только соц.-демократическая группа выделилась в характере своего предложения»...

По его мнению, все предложенные формулы перехода были бо-

лее или менее сходны, и он лично был готов присоединиться к каждой из них. Он согласен и с тем, что за Думой должна стоять народная сила, но понимал ее не так, как социал-демократы.

> «Это — сила нравственная, сильный авторитет народного желания, который будет сильнее всякого временного, напр., правительственного или какого-нибудь иного распоряжения или желания; когда мы в состоянии будем опираться на эту широкую нравственную силу народа, тогда мы будем истинными народными представителями».

Капустин этим подходил к корню вопроса; но он был не оратор, за ним в Думе стояла ничтожная численно группа и потому его выступление прошло незаметно. Заседание могло бы на этом окончиться. В памяти публики остались бы только крайняя и для конституционных путей безнадежная речь Церетелли и выступления правых. Создался бы оптический обман. Тогда казалось бы, что иного выхода нет, как или итти за правительством, или ставить ставку на революцию. Профессиональные защитники конституционной идеи ее больше не защищали. Подобный исход заседания был бы ударом по самому октябрьскому Манифесту, отразился бы полной смутой в умах и убил бы всякие надежды на Думу, если бы вторично и неожиданно не попросил слова Столыпин. Его реплика соц.-демократам спасла общее положение и оказалась подлинным «гвоздем» заседания.

Я тогда в первый раз его услыхал; он меня поразил, как неизвестный мне до тех пор **первоклассный** оратор. Никого из наших парламентариев я не мог бы поставить выше его. Ясное построение речи, сжатый красивый и меткий язык, и, наконец, гармоническое сочетание тона и содержания. Ораторы «Божией милостью» не могут быть одинаково хороши во всех жанрах. Несравненный судебный оратор Плевако ничего, достойного себя, не дал в Думе; наоборот, было бы трудно вообразить себе уголовным защитником Родичева. Столыпина же, как оратора, я не могу себе представить иначе, как именно на его посту, на посту представителя государственной **власти**; в самом тоне его и манере было какое-то **ее** проявление. Думаю, что он был бы слабее в качестве оппозиции; недаром, когда он говорил, защищая себя, чувствуя, что его авторитет как представителя власти подорван, напр., в вопросе о Юго-Западном Земстве, он и как оратор, оказался слабее. 6 марта он был не только «в ударе»; он был в «своей роли».

Была ли его реплика «импровизацией»? После речи Церетелли до своего выступления он из зала не выходил; все время был на глазах. Думаю, что такую речь экспромптом сказать было нельзя: она, вероятно, была заранее обдумана и Столыпин только по ново-

му ее скомпановал. Это неважно; смешно расценивать эту речь по красноречию; несравненно важнее было ее содержание:

С социал-демократами Столыпин **спорить** не стал; он отмахнулся от них пренебрежительным замечанием:

> ...«Правительству желательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна была бы совместная работа. Найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен. Я отдаю себе отчет, что таким языком не может быть язык ненависти и злобы; я им пользоваться не буду»...

Но зато он по собственному почину стал отвечать на обвинения, которые в этот день он от Думы естественно ждал; они сказаны **не были**, но он их чувствовал в молчании Думы, в ее сдержанном отношении к прочитанной им декларации. Он знал их из прессы. Он понимал, что в Думе все его призывают к ответу за месяцы его **бесконтрольного** и **незаконного** управления. На это он всем и ответил. Его мысль не сложна; она была для всех подобных упреков его постоянным и единственным доводом. Но высказал он ее с покоряющей силой:

> ...«Надо помнить, что в то время, когда в нескольких верстах от столицы и от царской резиденции волновался Кронштадт, когда измена ворвалась в Свеаборг, когда пылал Прибалтийский край, когда революционная волна разлилась в Польше и на Кавказе, когда остановилась вся деятельность в Южном промышленном районе, когда распространялись крестьянские беспорядки, когда начал царить ужас и террор, правительство должно было или отойти и дать дорогу революции, забыть, что власть есть хранительница государственности и целости русского народа, или действовать и отстоять то, что было ей вверено. Но, господа, принимая второе решение, правительство роковым образом навлекло на себя и обвинения. Ударяя по революции, правительство несомненно не могло не задеть и частных интересов. В то время правительство задалось одною целью — сохранить те заветы, те устои, те начала, которые были положены в основу реформ Императора Николая II. Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во Вторую Думу».

В этом оказалась идеология Столыпина со всей ее односторонностью и недостатками. Защищая вверенную ему государственность, он не мог не задевать частных **интересов**. Дело было вовсе не в этом. Если бы кадеты не приняли на себя обета молчания и свои обвинения против Столыпина формулировали, он не мог бы

подобной фразой отделаться; дело было не в **интересах,** которые он задевал, без чего себя защищать государство не может. Дело было в нарушении им основ **государственности.** Но этот вопрос стоял тогда не только вне декларации, но вне думских прений этого дня. Для того же, что **тогда** говорилось, такой **общей** мысли было достаточно.

Но он не ограничился **ею.** Он в этот день взял на себя другую задачу, которая должна была бы быть делом всей Думы, явился защитником **конституционной идеи.** Он говорил о взаимных отношениях Думы с правительством. Защищал настоящее конституционное место правительства.

«Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было слышно далеко за стенами этого собрания, что тут волею Монарха нет ни судей, ни обвиняемых и что эти скамьи — не скамьи подсудимых, это место правительства».

И в ответ социал-демократам, которые не видели возможности достигнуть чего-нибудь **конституционным** путем, вне революционного натиска, он говорил:

«Я убежден, что та часть Государственной Думы, которая желает вести народ к просвещению, желает разрешить земельные нужды крестьян, сумеет провести тут свои взгляды, хотя бы они были противоположны взглядам правительства. Я скажу даже более. Я скажу, что правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства, каких либо злоупотреблений...

Пусть эти злоупотребления будут разоблачены, пусть они будут судимы и осуждаемы, но иначе должно правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки расчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли и мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «руки вверх!». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «не запугаете!». (Аплодисменты справа).

Это была как раз та позиция, которую «конституционалисты» должны были противопоставить соц.-демократическим призывам. Столыпин в этот момент был представителем и защитником конституционного порядка, а не Самодержавия.

Эта реплика имела необычайный успех. Восторгу правых не было пределов. Правительство в этот день, на глазах у всех, обрело

и главу и оратора. Это был не Горемыкин перед 1-ой Гос. Думой. Когда Столыпин вернулся на место, министры встретили его целой овацией, чему других примеров я в Думе не видел. Многим из нас только партийная дисциплина помешала тогда аплодировать. Впечатление во всей стране было громадное. На другой же день «Новое Время» открыло подписку на приветственный адрес Столыпину. Эта инициатива получила живой отклик в обществе. День 6 марта стал апогеем столыпинской популярности.

Но как ни высоко оценена была речь Столыпина, ее ценили не за то, что было в ней лучшего. Успешные удары по революции не были новы. Дурново наносил их не хуже Столыпина и с большим правом, чем он, мог оправдывать их «необходимостью». В правых кругах Столыпина восхваляли именно за **эти удары**, за то, что он показал себя «сильною властью». **Ново же** и **ценно** в речи Столыпина было не это, а то, что он тогда выступил как настоящий «конституционный министр», как представитель «конституционной идеологии», понимающий всю законность и необходимость «оппозиции» к политике власти. Он сам призывал Думу к разоблачению ошибок властей, признавал, что Дума может провести даже те земельные законы, которых **не хочет** правительство. Этот язык был не похож на декларацию Горемыкина, объявившего аграрный думский законопроект «безусловно недопустимым». Эти новые ноты в речи Столыпина были сами по себе ответом на пессимизм социал-демократов, которые не видели спасения вне бедствий Революции. На этой конституционной позиции могло бы состояться образование нового большинства в Государственной Думе и его соглашение со Столыпиным.

Это был **новый тон** для правительства. Своей речью он переламывал в себе «ветхого человека», воспитанного на традициях Самодержавия. Публично, а не в закулисных попытках переговоров с Председателем Думы, он протягивал руку не только Думе, но и недавно гонимой им оппозиции. «За наши действия в эту историческую минуту, — говорил он в своей речи, — действия, которые должны вести не к взаимной борьбе, а к благу нашей родины, мы, точно так-же и вы, дадим ответ перед историей». Этими словами, поскольку они тогда были искренни, он искупал много ошибок, недавно им совершонных. Но прошлое еще Думою владело, и она на призыв его не откликнулась. Несмотря на протянутую руку Столыпина думское большинство продолжало угрюмо молчать. Позиции были уже заняты и объявлены. Было предложено восемь формул перехода. Четыре мотивированные (соц.-демократов, правых, умеренных правых и октябристов) и четыре простых (к.-д., с.-р., трудовиков и н.-с.). Простой переход по Наказу голосовали раньше других; его принятие громадным большинством голосов устраняло другие.

Так кончился этот знаменательный день. Были ли довольны им его авторы? Об этом трудно судить, так как печатные заявления об этом тоже «политика». Конечно, они объявили себя победителями. «Как и следовало ожидать, писал Милюков 7 марта, истинными героями этого дня были не те, кто говорил, а те, кто молчали». «Коллективным героем дня было оппозиционное большинство Думы, показавшее себя достаточно сильным и достаточно дисциплинированным, чтобы управлять ходом дела в Думе, не подвергая себя никаким случайным опасностям со стороны и сверху». Но сам этот коллективный герой себя героем не чувствовал. Кадетские депутаты стали готовить себе реванш за эту «победу». Им стало немедленное внесение законопроекта об отмене военно-полевых судов. Но раньше, чем это случилось, жизнь дала повод еще раз проверить жизненность той группировки, которую ей ее лидеры навязали, т. е. левого думского большинства.

ГЛАВА IX.

Начало деловой работы в Думе.

Заседание 6 марта завершило «конституирование» Думы и она могла после этого перейти к «деловой работе». Того затруднения, которое на первых порах встретила **первая** Дума, т. е. отсутствия правительственных законопроектов, не существовало. Их было даже **слишком** много. Нужно было теперь только вводить в работу **порядок.**

Заседание 7 марта началось с перечисления законопроектов, которые правительство в Думу вносило, с оглашения результатов выборов в те две постоянных Комиссии («распорядительная» и «по разбору корреспонденции»), которые по Наказу выбирались **отделами,** и с избрания других обязательных Комиссий уже **общим собранием** Думы. Долгоруков от имени кадет предложил выборы отложить для сговора партий. После непродолжительных прений, было принято, что в отличие от одностороннего состава **Президиума,** в **Комиссиях** будут представлены все партийные направления. Это могло бы быть возвращением на путь «добрых парламентских нравов», если бы оно мотивировалось изменением отношения к правам думского «меньшинства», а не только тем, что в Комиссиях присутствие меньшинства для самого **большинства** будет **полезно.** Но во всяком случае, можно было теперь приступать к настоящей работе; однако, она была задержана отвлечением в сторону, которое отняло два заседания, заняло 128 столбцов стенографического отчета и произвело на всех впечатление полного разброда. В нем впервые обнаружились помехи, которые стояли на дороге настоящей работы и противоестественность того «объединенного большинства», которое считало себя хозяином Думы.

Когда Председатель огласил список постоянных Комиссий, подлежавших по Наказу избранию Думой (бюджетная, финансовая, по исполнению росписи, редакционная и библиотечная), среди них неожиданно оказалась какая-то «Комиссия для помощи голодающим». Сначала она на себя не обратила внимания; Председатель предложил отложить и ее выбор назавтра. Но некоторые депутаты (Гессен, Капустин, Кузьмин-Караваев), даже не в ви-

де возражения, а только для ясности, поинтересовались узнать, «какие функции предполагается поручить этой Комиссии». На это законное любопытство полилось негодующее «удивление» слева. С.-д. Алексинский «не мало удивился» вопросу; он полагал, что «для большинства присутствующих задача Комиссии должна быть ясна». Измайлов (с.-д.) тоже «удивлялся» хладнокровному отношению Думы к помощи голодающим. И Булат (труд.) был «удивлен вопросом», «что комиссия будет делать? Очень ясно: она будет **кормить** голодающих».

Эта тема показалась настолько благодарной, что ее немедленно начали «углублять». Вот образчики речей, которые должна была выслушивать Дума.

> Пьяных говорил: «Необходимо избрать Комиссию для голодающих. У нас брало правительство в свои руки эту самую Комиссию; оно заботилось о голоде, князь или граф, только я не знаю титула его, но скажу только, что это — Гурко, который 200.000, если не ошибаюсь, денег похитил, а Лидваль помощником был ему».
>
> Жигулев возмущался, что «некоторые представители в Государственной Думе говорят о «библиотечной Комиссии». Обратите внимание, что тысячи крестьян помирают с голоду, что тысячи рабочих тоже. И вы в это время хотите заниматься тем, чтобы из ящика в ящик перекладывать книги. Время не заниматься этими книгами, когда бывшие господа министры: Гурко и т. п., разгуливают и проматывают деньги, которые были им даны для того, чтобы удовлетворить голодный народ. Мы от реформ не отказываемся (!). Мы говорим: «давайте реформы, а реформа у нас есть: чтобы вся земля перешла в руки крестьян без всякого выкупа. Вот тебе и реформа».

Хасанов (мус.) принес, как иллюстрацию, кусок хлеба, которым кормят в Уфимской губернии башкир, отдающих последние свои гроши на содержание Гурко и Лидваля...

> «Предлагаю немедленно образовать Комиссию и взять все все продовольственное дело в руки этой Комиссии»... «Когда Гурко сдавал Лидвалю поставку хлеба, никакого закона выработано не было и никакими законами не руководствовались и, следовательно, нам тут нечего церемониться и надо взять продовольственную часть в свои руки».

Подобные цитаты можно было бы еще увеличить: привожу их как показатель удручающего культурного уровня той среды, в которой приходилось работать. Но вопрос о Комиссии все-таки стал

разъясняться. В прениях было указано много задач, которые можно было бы возложить на эту Комиссию. И «взять в свои руки все продовольственное дело», и «начать самой кормить голодающих», и «исследовать положение голодающих крестьян по всей России и главное обследовать его на местах». И «составить новые законы, необходимые для продовольствия голодающих». И «определить глубокие причины голодовок в России». Словом, недостатка в занятиях, которые поручались Комиссии, не было.

Определились и два различных подхода к образованию этой Комиссии. Одни, как кадет Булгаков, настаивали, чтобы те члены Думы, которые предложили образование этой Комиссии, потрудились бы **сами** «заранее точно определить ее задачи». Другие, как с.-р. Долгополов, почтенный старый земский работник, предпочитал более легкий для авторов путь: «пусть только Дума Комиссию выберет, а она уже сама представит Думе доклад о работах, которые она будет делать». Трудовик Караваев указал, что:

> «По обычаю прошлой Думы, принято, что составление законопроектов поручается особой Комиссии. Составление основных положений проекта о голодающих должно быть поручено бесспорно той-же Комиссии».

Такой обычай для законопроектов действительно 1-ой Думой был установлен и уже доказал свою непрактичность. Поручать Комиссии составление закона целесообразно только тогда, когда **основные** его **положения** Думой одобрены и Комиссии остается только облечь их в форму законодательных норм. Без этого Комиссия становилась «бюро похоронных процессий», а сдача в нее предложений превращалась в отписку.

Но пока говорили о задачах этой Комиссии, обнаружился затаенный смысл предложений **этого** рода: его формулировали соц.-демократы, которые в этом были последовательны. Они предложили, не дожидаясь проведения тех новых законопроектов, которые сочинит эта Комиссия, сейчас же поручить ей собирать материал не только по отчетам и книгам, но и «исследованием на местах». Они понимали, что без специального закона исполнить такое поручение будет нельзя, но это их не смущало:

> «Мы не накормим крестьян, — говорил Джапаридзе, — но дадим им нечто большее, чем простое кормление. Мы будем способствовать **политическому воспитанию** широких слоев населения»...

Жигулев (с.-д.) по этому поводу упрекал кадет, что они «боятся народа», а они, «соц.-демократы, не боятся народных движе-

ний». Так назначение Комиссии о голодающих было поставлено на ту настоящую почву, о которой накануне говорил Церетелли; она имела задачей организовывать через Думу народное «недовольство» и даже «движение».

Главную тяжесть борьбы с демагогией этого сорта в этот день вынес на себе Родичев; он один выступал шесть раз, сделался главной мишенью иронических или негодующих нападений с левых скамей, и, наконец, внес то конкретное предложение, которое в результате было Думою принято. Было что-то символическое в том, что именно Родичев, лучший думский оратор, умевший и сам подниматься до пафоса и увлекать за собою других, когда речь шла об идеях и принципах, но равнодушный к техническим спорам и формальным вопросам, ни разу в Думе не выступавший **докладчиком**, что именно **он** взял на себя «неблагодарное дело» во имя «практичности» возражать тем, кто хотел «кормить голодающих». Родичев, член Первой Думы, которая шла напролом, топтала конституционные заграждения, в глубине своей души затаивший ту горечь от «столыпинских галстуков», которая у него вырвалась наружу уже в 3-ей Государственной Думе, стал возражать против того, что Думу сбивают с конституционной дороги, и со всей страстностью убеждения набросился на революционную идеологию, которая рядилась в конституционный мундир.

«О чем мы толкуем?» — так начал он свою первую речь. «Мы здесь толкуем очень давно... О чем?.. О всем на свете. Письменного, определенного предложения не внесено...

...Когда собралось 540 людей, воодушевленных хотя бы самыми благородными и лучшими намерениями, вооруженных самыми обширными знаниями и самым острым умом — если они сразу начнут рассуждать обо всем, они никогда ни до чего не дойдут. А поэтому сделаем то, что мы обязаны были сделать с самого начала. Если мы вносили предложение о выборе Комиссии, мы должны были определить, чем будет заниматься эта Комиссия...

...Другая мысль — поручить этой Комиссии исполнительную власть. Господа, мыслимо ли это, ведь это значит взять в руки дело голода; значит, не внеся нового закона, взять в руки власть, принадлежащую Министру Внутренних Дел...

...Если вы сделаете постановление, то это постановление останется на бумаге. Это будет простое сотрясение воздуха здесь в Думе. О той исполнительной Комиссии, которая заменит собою Министерство Внутренних Дел, до издания нового закона — нам рассуждать бесполезно. Это будет свидетельствовать не только о политическом бессилии Думы, это будет свидетельствовать и об ее умственном бессилии»... (аплодисменты на скамьях центра и правой)...

...Если бы из слов, здесь проливаемых, родилась мука, я бы благословил ее, но кроме потока бесплодных слов из общего обсуждения всего, чего угодно, ничего не может выйти»... (аплодисменты на скамьях центра и правой).

Чтобы выручить Думу, вывести ее из того тупика, в который слева ее заводили, он внес скромное, но зато конкретное предложение: избрать комиссию «для рассмотрения, согласно закона, отчета Министерства Внутренних Дел и продовольственных операций и для исследования хода продовольственных дел в кампании 1906 и 1907 годов».

Поистине, можно было воскликнуть: «гора родила мышь!». За это предложение он немедленно подвергся обстрелу.

«Вся речь Родичева, говорил с.-д. Измайлов, была направлена против нас, мужицких представителей... Вместо требования мужиков, Родичев предлагает критиковать дело правительства... Мужик не привык критиковать... Мужик раньше просил, а теперь начал требовать».

«Родичев, — говорит дашнакцутюн Сагателян, — установил полную беспомощность Думы в деле расследования причин голода, неспособность ее оказать какую-нибудь помощь. Судя по отношению членов Думы к этой речи, она произвела впечатление. В ней сильно отразилось прошлое, отразился взгляд, что можно действовать только согласно указаниям и усмотрению начальства. Вне этих пределов Дума бессильна и не может ничего сделать».

«Депутат Родичев, — добавлял Киселев, — в своей горячей речи еще более нас спутал и сбил окончательно с толку» и т. д.

В речи Родичева кадетская партия от революционной фразеологии переходила на конституционные рельсы. Это было нелегко, как всякая перемена пути. На это правильно обратил внимание Кизеветтер:

«...Неосновательно было здесь сказано, что Родичев указал на бессилие Думы; нет, господа, он мужественно, не закрывая глаз перед действительностью, очертил те границы, которые сейчас стоят перед нами и с которыми мы должны считаться...

...Это значит не обнаруживать ни слабости, ни бессилия, а наоборот показывать настоящую реальную силу. Мы хотим работать на том поле, на котором мы сейчас можем добиться определенных практических результатов»!.

В этих прениях было интересно другое: как отнесутся к этому правые, не имевшие оснований **беречь** эту Думу? Они могли бы злорадствовать и подставлять ножку кадетам. Они поступили наоборот, не внесли своих предложений, но целиком примкнули к нам.

«Член Думы Родичев, — заявил Шидловский, — с совершенной полнотой высказал все то, что сказал бы я и потому я вполне присоединяюсь к тому предложению, которое было им сделано».

Пуришкевич сказал: «Всецело присоединяюсь к тому предложению, которое здесь было высказано товарищем Родичевым и поддерживаю его».

Бобринский: «Правые и умеренные всецело присоединяются к предложению Родичева».

Такое присоединение правых к кадетам дало немедленно повод к дешевым насмешкам слева.

«Я не удивляюсь, — иронизировал Алексинский, — что Пуришкевич назвал товарищем Родичева... Я ставлю его выше, чем Пуришкевича, но суждение, высказанное им, было на руку правым партиям... Когда надо выбирать председателя или решать формальный вопрос, возможно единение между центром и левыми; но когда встает вопрос голода, тогда разделение на голодных и сытых, пролетариев и представителей буржуазного класса дает себя знать; тогда надо делиться совершенно иначе, чем в вопросах формального свойства».

«Когда Родичев говорил свою речь, — подчеркивал с.-д. Герус, — ему аплодировали с той стороны (указывая направо) и я понимаю, почему они аплодировали».

Так обрисовался в этих двух заседаниях здоровый процесс — отход кадет от революционной идеологии и продвижение правых к кадетскому центру. Намечалось новое большинство, в противовес объединенной оппозиции, которая выбирала президиум. Для полной ясности нужно было увидеть позицию правительства. Ее и определило не только конституционное, но «парламентарное» выступление Столыпина. Он неожиданно заявил, что правительство немедленно, по первому требованию, представит Думе отчет о продовольственной операции, что оно не отрицает дефектов закона о продовольствии и внесет на утверждение Думы новые правила, и что по всем этим основаниям «правительство **всецело и всемерно** присоединяется к предложению, внесенному Родичевым».

При голосовании все поправки к предложению Родичева были отвергнуты и оно было принято.

Так кончился этот вопрос: голосование по нему показало, что в Думе могло быть **конституционное большинство**, что кроме кадет и правых к нему примкнула часть трудовиков и беспартийных; оно показало кроме того, что в этом правом большинстве кадеты играют руководящую роль, и что **правительство возможностью такого большинства дорожит.** В этом был **урок** первых дней жизни Думы.

Я подробно остановился на этом эпизоде, чтобы не рассказывать о другом, об аналогичной «Комиссии для помощи безработным». Предложение о ней было сделано того же 7 марта и обсуждение его было поставлено на повестку 12-го. Дума отложила его, чтобы заняться военно-полевыми судами, и вернулась к нему только 15-го. Обсуждение его продолжалось одно заседание и заняло 75 столбцов отчета. Шло приблизительно по той же дороге, что и вопрос о помощи голодающим. Тогда главным оппонентом против левых был Родичев; теперь Н. Н. Кутлер. Его задача была труднее. Родичев мог превратить «Комиссию для помощи голодающим» в «Комиссию для проверки отчета продовольственной кампании за 1905-6 год». По рабочему вопросу и этого сделать было нельзя. Вопрос о безработных был поставлен впервые в нашей государственной практике и пока Думе было нечего контролировать. За неимением лучшего, дабы все-таки что-либо противопоставить демагогическим предложениям в роде «все дело о безработице взять в свои руки», «вырвать исполнительную власть у правительства и подчинить ее Думе» (с.д. Джапаридзе), Кутлер не мог ничего предложить, кроме как «поручить особой Комиссии разработать вопрос, какими бы законодательными мерами можно было бы притти безработным на помощь». Подобным предложением кадеты отступали от здорового принципа процедуры, на котором сами настаивали и по которому основные положения законопроекта должны были быть формулированы его **авторами**, а не Комиссией Думы; но по крайней мере в нем ничего **анти-конституционного** не было. Оно было только непрактично*). Потому и правительство, если и не присоединя-

*) Уже в 3-й Думе горячим сторонником этого типа комиссий явился октябрист бар. А. Ф. Мейендорф, один из самых культурных и честных политиков этой Думы. Тогда, по инициативе фанатика борьбы с пьянством, Челышева, было предложено создать Комиссию для выработки мер этой борьбы. Шингарев 7 декабря 1907 года это оспаривал по формальным причинам. Дело Комиссии рассматривать, а не сочинять. Мейендорф горячо возражал против такого стеснения компетенции Думы, подчеркнув, что особенно дорожил в этом вопросе голосами партии народной свободы. Он доказывал, что создание такой Комиссии не только законно, в чем сомневаться нельзя, но весьма целесообразно. Шингарев взял назад свои возражения и Комиссия была создана. В данном случае она могла бы себя оправдать, так как в ней сидел исключительно энергичный инициатор этого вопроса — деп. Челышев, а бар. Мейендорф был докладчиком. Комиссия работала быстро и первый доклад обсуждался в Думе уже в феврале 1908 года. Однако, опыт даже **этой** Ко-

лось «всецело и всемерно» к их предложению, как в помощи голодающим, то все-таки, в лице Министра Торговли и Промышленности Философова, заявило, что «против предложения партии народной свободы оно **не возражает»**. Оно было принято, Комиссия выбрана, но никаких законодательных мер не придумала и Думе доклада даже не сделала. Соц.-демократы, которые первые предложили создание Комиссии для безработных, интерес к ее работе уже потеряли.

***

Я упомянул, что прения по «Комиссии о безработных» 12-го марта были прерваны, чтобы перейти к «спешному» законопроекту об «отмене военно-полевых судов», внесенному кадетами еще 9 марта. На этом законопроекте надлежит остановиться; без комментариев его смысла невозможно понять.

С точки зрения практической, он может казаться абсурдом. Не потому, чтобы, как Столыпин позднее доказывал, меры проведенные по 87 ст. не могли быть отменены в общем порядке законодательной инициативы (с этим можно не соглашаться), а потому, что общий порядок для таких законов желательных результатов дать бы не мог. Срок для внесения в Думу соответствующего законопроекта, без чего принятая по 87 статье мера автоматически падала, истекал через 2 месяца после открытия Думы, т. е. 20-го апреля. Если бы правительство в течение этого срока закон свой внесло, Дума могла бы его в тот же день отклонить: тогда мера немедленно бы падала. Провести же **свой** закон об отмене судов через Думу, Государственный Совет и санкцию Государя раньше 20 апреля, при законном месячном сроке для подготовки Министров к ответу, было нельзя. А главное, вносить подобный закон значило подчинять **отмену** принятой меры **согласию на это Гос. Совета**, что думские права умаляло. Словом, никакие соображения о практической пользе такого законопроекта не могли быть причиной, чтобы его в Думу так спешно вносили.

Причина была совершенно другая. При декларации Дума отложила критику действий правительства до «рассмотрения его законопроектов». Но готовых к рассмотрению законов пока не предвиделось; пришлось бы поэтому еще долго молчать. А между тем мы уже чувствовали недоумение, которое наше молчание в нашем лагере вызвало. Оно потом увеличивалось. В день 6 марта говори-

---

миссии показал непрактичность **такой** постановки работы. Из нее ничего не получилось. Она ограничивала не «полномочия Думы», а ответственность **авторов** предложения, которые превратили такие Комиссии в своеобразное бюро похоронных процессий. Комиссии из представителей всех партий и направлений могут только критиковать, а не создавать.

ли одни соц.-демократы. 7-го и 9-го марта по вопросу о «комиссии голодающим» мы с ними столкнулись, а Столыпин «всецело и всемерно» предложение кадет поддержал. При тогдашних нравах одно это вызвало смуту. Нас упрекали, что мы перешли «в лагерь Столыпина». Статьи «Речи от 10-го, 11-го марта, полемика ее с левыми газетами и левыми слухами, повторные напоминания, что не мы присоединились к Столыпину, а он к нам, показывают, какие пустяки тогда способны были смущать и как болезненно на такие упреки фракция реагировала. Самое наше молчание 6 марта вследствие этого получало иное освещение. В результате последовал первый бунт депутатов против тактики лидеров. Депутаты потребовали внесения какого-нибудь законопроекта на немедленное обсуждение Думы, чтобы воспользовавшись этим излить свои чувства и изложить свой взгляд на политику власти и в прошлом, и в будущем. Для такой цели ничего не могло быть благодарней, как законопроект об отмене всем ненавистных военно-полевых судов, введенных Столыпиным в междудумие. Мы спешно его изготовили и внесли на одобрение фракции.

Против него восстали многие лидеры и прежде всего Милюков. Он убеждал нас не поддаваться эмоциям, не покидать политики «крупных линий», размениваясь на мелочи, не портить дела, которое фракция 6-го марта так хорошо начала. Но это не действовало; продолжать красноречивого молчания мы не хотели, законопроект был внесен уже 9-го марта, а 12-го марта, голосами всех против правых, Дума приступила к его обсуждению.

Мне не совсем было ясно, почему Милюков был против нашего плана, раз он был сторонником «левого большинства»? Законопроект нас **к нему** возвращал. Но по существу, Милюков, конечно, был прав; законопроект представлял политический **риск.** Идя опять со всеми левыми против правительства, мы могли смешаться с их революционной идеологией. Осуждая приемы правительства в его борьбе с Революцией, мы могли показаться сторонниками самой Революции, не признававшей права с нею бороться. А главное, (что Милюков сказать бы не мог, да и не подумал в то время), мы рисковали расстроить то сотрудничество с более правыми, которое уже стало завязываться. Словом, риск был. Но «победителей не судят», а в этот день мы победили. Это признал и сам Милюков, назвав нас вечером этого дня в заседании фракции «сегодняшними триумфаторами». Журналисты и большая публика были в восторге; было красноречие, аплодисменты, овации — вся сценическая сторона больших парламентских дней. Пресса говорила, что в этот день произошло настоящее открытие Думы. Но интересна не эта мишурная внешность, а политические позиции, как они обнаружились и в результате этого дня определились.

Прения по законопроекту продолжались два дня, 12-го и 13-го

марта. Было выслушано 47 ораторов. 11 человек говорило **против** нашего законопроекта. В защиту военно-полевого суда и они ничего сказать не посмели. Они указывали или на то, что военно-полевые суды не хуже революционного террора (Шульгин), или что пока продолжается террор, ослабление борьбы с ним недопустимо (Пуришкевич), или что за военно-полевые суды ответственно отношение нашего общества к террору (Бобринский), что раньше отмены этих судов необходимо, чтобы Дума выразила ему порицание (Сазонович) и т. п. Другие (Ветчинин, Синодино) справедливо указывали, что в нашем законе нет практической надобности, что 20-го апреля военно-полевые суды сами собой падут и т. д. Против военно-полевых судов, как института, высказывалась не одна «оппозиция». Капустин от имени Союза 17 октября «**присоединился** к предложению об отмене военно-полевых судов». Еп. Евлогий на вызов св. Тихвинского, заявил, что с «христианской точки зрения никакая смертная казнь недопустима». Даже Крушеван заявил в конце путаной речи, что стоит «за отмену военно-полевых судов».

Левые, революционные партии, конечно, пошли дальше кадет. С.-р. Ширский находил, что Государственная Дума должна высказать, что **всякие военные суды** должны быть отвергнуты. Трудовик Булат заявлял, что военно-полевые суды должны быть отменены **не специальным** законом, а отменой всего положения об «охране».

Соц.-демократы, говорившие в день декларации, не молчали и в этом вопросе. Они стали на позицию Революции. С.-д. Алексинский в длиннейшей речи, сделал все, чтобы разрушить общий фронт, который в Думе против военно-полевых судов образовался. Он отвергал военно-полевые суды, но во имя желательного «**ослабления** власти», у которой «нужно **вырвать оружие** против народа». Нельзя было лучше мешать меньшинству присоединить к нам и свои голоса.

Героями этого дня оказались кадеты. Немудрено: законопроект был **их** детищем. От них выступило всего больше ораторов: всего говорило 8 кадет — Булгаков, Бабин, Гессен, Струве, Тесленко, Пергамент, Шингарев и я. Основные позиции были у всех одинаковы, разница в форме. Претенциозно говорить о себе, когда я говорил не один и не лучше других. Но я могу это сделать, т. к. кадетская линия была выражена мною, повидимому, в наиболее **беспримесном** виде. Это признавали наши противники. Строгий Герье, беспощадный критик всех Дум, в своей книжке о 2-ой Думе писал: «На высоту парламентского обсуждения поднял вопрос деп. Маклаков; без него речи против военно-полевой юстиции были бы «жалкими словами». Правый, Синодино, говорил, что «вопрос о военно-полевых судах разъяснен всецело и в данном случае весьма убедительно и доказательно таким знатоком своего дела, как

Маклаков»... Наконец, сам Столыпин в своем ответе признал, что «самое яркое выражение доводы против военно-полевого суда получили в речи члена Государственной Думы Маклакова». Словом, эта моя речь настоящую позицию кадет оттенила. Сам Милюков, в передовице 13 марта, назвал ее «образцовой». Потому я позволю себе подчеркнуть главные ее основания.

Прежде всего, я категорически отмежевался от **Революции**. Признал за правительством право бороться с революционерами «строгой репрессией». Обещал даже «когда время придет, ответить со всей откровенностью на сделанное нам предложение об осуждении террора»*). Приветствовал слова Столыпина 6 марта, что «власть — хранительница государственности», что она обязана ее защищать.

Отделившись от революционной идеологии, я сказал, что в своей критике военно-полевых судов хочу стать на точку зрения их **защитников** и самих **авторов** этих судов (помню, как при этих словах Столыпин в министерской ложе повернул ко мне голову и глаза наши встретились) и спрашивал их:

> «Неужели вы не видите, что военно-полевые суды в той постановке, которую вы им дали, есть учреждение глубоко антигосударственное и что одно номинальное существование этого закона, даже если бы он не применялся, уничтожает государство, как правовое явление, превращает его в простое состязание физических сил, в максимализм сверху и снизу?».

Моя основная тема уже изложена мной во 2-ой главе этой книги: если вместо усиления общей репрессии предоставляют Генерал-Губернатору право, по его усмотрению, **для отдельных случаев** общий закон нарушать, то этим наносят удар **по закону.** А организация этих судов, при которой самое предание им приговор предрешает — есть уже удар по авторитету **суда.** И я говорил:

> «Есть два государственных устоя: закон, как общее правило, для всех обязательное, и суд, как защитник этого закона. Когда целы эти начала — закон и суд — стоит крепко и сама государственность. И их вы должны защищать, вы, хранители государственности. А вы подорвали закон, вы обесценили суд, подкопались под самые основы государства — и все это сделали для охранения государственности. Вы говорили: ударяя по Рево-

---

*) Бобринский хотел меня на этом поймать. Он сказал: «С нетерпением ждем его (Маклакова) ответа. До сих пор, вот уже несколько лет, мы не знали, как он к ним (политическим убийствам) относится, а потому мы пока в праве считать, что он к ним относится так, как отнеслись ко всему этому Первая Гос. Дума и партия народной свободы.

люции, мы не могли щадить частных интересов. Не о частных интересах идет теперь речь. Их, действительно, не щадят ни власть, ни максималисты. Но есть нечто, что надо было щадить, нечто, что вы должны защищать, это — государственность, суд и закон. Ударяя по Революции, вы ударяли не по частным интересам, а по тому, что всех нас ограждает — по суду и законности...

...Если вы **так** добьете Революцию, то вы добьете одновременно и государство, и на развалинах Революции будет не правовое государство, а только одичавшие люди, один хаос государственного разложения». (Оглушительные аплодисменты слева и центра).

И я кончал так:

«Полевые суды в этом смысле так позорны, что если бы они даже более не применялись, одна их возможность абсолютно несовместима с тем, что председатель Совета Министров говорил о государственности. Я скажу, что если его декларация не только слова, не одни обещания, то министерство присоединится к нам в этом вопросе и, не выжидая месячного срока, само скажет: позора военно-полевого убийства в России больше не будет». (Бурные аплодисменты).

Успех в Думе моя речь имела очень большой. Мне за нее слева простили мою антиреволюционную идеологию. По общему требованию, заседание после нее было прервано. Когда после перерыва я возвращался назад, меня встретил в коридоре Тов. Мин. Внутренних Дел Макаров и сообщил, что на Столыпина моя речь произвела впечатление, что тот его расспрашивал, кто я такой и что прежде я делал. Макаров, шутя, прибавил, что он мог на это ясно ответить, так как я был **его** крестник; это был намек на первое большое уголовное дело, в котором я в Москве выступал, которое мне тоже послужило рекламой, и где обвинителем был сам Макаров, только что назначенный тогда Прокурором Суда. По словам Макарова, Столыпин сразу оценил мой довод о негосударственности ст. 17 Искл. Полож. и поручил Макарову принять его в соображение при выработке новых исключительных положений.

Главный интерес момента был в том, как к этой позиции отнесется правительство, т. е. Столыпин. Он мог неделю назад ответить Церетелли: не запугаете. Но что мог он сказать тем, кто громил его политику во **имя тех самых начал**, которые он хотел проводить? Его ответ был характерен и в нем главное значение этого дня. Когда на другой день он стал отвечать, он не оспаривал очевидности, т. е. противогосударственного характера этих судов. Он это признал:

«Я буду говорить по другому, более важному вопросу, я буду говорить о нападках на самую природу этого закона, на то, что это позор, злодеяние и преступление, вносящие разврат в основу самого государства. Самое яркое отражение эти доводы получили в речи члена Государственной Думы Маклакова. Если бы я начал ему возражать, то я, несомненно, вступил бы с ним в юридический спор. Я должен был бы стать защитником военно-полевых судов, как судебного, как юридического института. Но в этой плоскости мышления, я думаю, что я ни с г. Маклаковым, ни с другими ораторами, отстаивающими тот же принцип, — я думаю, что я с ними не разошелся бы. Трудно возражать тонкому юристу, который талантливо отстаивает доктрины».

Его возражения пошли в той самой плоскости, которая была им выдвинута в день декларации. Это теория «крайней необходимости». Он говорил:

«Государство должно мыслить иначе, оно должно становиться на другую точку зрения, и в этом отношении мое убеждение неизменно. Государство может, государство обязано, когда оно находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы для того, чтобы оградить себя от распада...

...«Нет законодательства, которое не давало бы права правительству приостанавливать течение закона, когда государственный организм потрясен до корней, которое не давало бы ему полномочия в этих случаях нарушать и приостанавливать все нормы права. Это, господа, состояние необходимой обороны».

Этот довод был недостаточен. 6-го марта он признавал только то, что борьба с Революцией нарушала частные интересы. Для этого необходимая оборона могла служить оправданием. Но теперь вопрос был поставлен иначе; страдали не **частные интересы**, а **основы правового порядка**: суд и закон. Столыпин должен был бы установить, что **без их нарушения** государство против Революции было бессильно. Военно-полевые суды можно было защищать только так, как после 3-го июня Столыпин защищал государственный переворот, сделанный для изменения избирательного закона. Но кто мог бы серьезно поверить, что без «военно-полевого суда» государственная власть не могла бы с террором справиться, что беззаконие было для нее единственным и «необходимым рессурсом»? Этого сам Столыпин не решился сказать.

И если бы тогда между нами происходил только **теоретический** спор, ему было бы нетрудно ответить. Но это было ненужно. В конкретном вопросе — о судьбе полевого суда — Столыпин неожиданно нам вполне уступил:

«С этой кафедры, — говорил он, — был сделан призыв к моей политической честности, к моей прямоте, и я должен открыто ответить, что такого рода временные меры не могут приобретать постоянного характера; когда они становятся длительными, то во-первых, они теряют свою силу, и, затем, они могут отразиться на самом народе, нравы которого должны воспитываться законом...

...Но правительство пришло к заключению, что страна ждет от него не доказательства слабости, а доказательств веры. Мы хотим верить, господа, что от вас услышим слова умиротворения, что вы прекратите кровавое безумство, что вы скажете то слово, которое заставит нас всех стать не на разрушение исторического здания России, а на пересоздание, переустройство его и украшение...

...В ожидании этого слова, правительство примет меры для того, чтобы ограничить этот суровый закон только самими исключительными случаями самых дерзновенных преступлений, с тем, чтобы, когда Дума толкнет Россию на спокойную работу, закон этот пал бы сам собою — путем невнесения его на утверждение законодательного собрания...

...Господа, в ваших руках успокоение России, которая, конечно, сумеет отличить кровь, о которой так много здесь говорилось, кровь на руках палачей, от крови на руках добросовестных врачей, которые применяли самые чрезвычайные, может быть, меры, но с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой — исцелить труднобольного».

Это было уже не словом, а делом. Мы цели достигли. Проснулось ли в Столыпине уважение к «правовому началу» или он понял, что безнадежно этот закон в Думу вносить, но он от него отрекался. Это было для него тем труднее, что «военно-полевой суд» был детищем Государя (гл. II); а у Государя не было «преклонения» перед правом; в его нарушении он часто видел заслугу властей и доказательство преданности его «воле». Не легко было Столыпину свою уступку «объяснить» Государю. 14-го марта он написал Государю фразу:

«В Государственной Думе продолжается словоизвержение зажигательного характера, а о работе не слышно. По вопросу о военно-полевых судах нам удалось, однако, свести вопрос на-нет»*).

Эта загадочная фраза напоминает современные военные бюллетени: правда в них запрятана так глубоко, что ее нельзя разглядеть.

---

*) Красный Архив, т. V, стр. 109.

Вопрос не был «сведен на-нет», как выражался Столыпин, а напротив кончился **нашей победой** во всех отношениях. Мы свой реванш за молчание в день декларации теперь получили, и Столыпин был принужден нам уступить. Самый законопроект вполне своей цели достиг; после 12-го марта военно-полевых судов более не было. Это было нашей победой. Но победителям свойственно свою победу проигрывать, если они ею не умеют воспользоваться. Это случилось и с нами; мы были еще под слишком большим влиянием старых привычек и взглядов.

Единственным правильным ответом на речь Столыпина должно было быть взятие нашего законопроекта **обратно**; этот жест закрепил бы нашу победу. Этого мы не сделали, а вместо этого началась серия несообразностей. Первую оплошность допустил Головин. Непосредственно после речи Столыпина, без перерыва, без совещания фракции, он дал слово В. Гессену, как «докладчику по вопросу о военно-полевых судах». Это недоразумение. Гессен не был докладчиком; докладчика быть и не могло, так как законопроект **ни в какой Комиссии не был.** Головин без всякого права сделал Гессена **хозяином** законопроекта. А Гессен, выступив экспромптом в самозванной роли докладчика, не только превысил свои полномочия, но и сделал ряд бестактностей, на него вообще непохожих. Он стал говорить, как будто **важного заявления** Столыпина не было, как говорят приготовленную заранее речь неопытные защитники, после непредвиденного отказа прокурора от обвинения. В речи Столыпина Гессен заметил только то, что Председатель Совета Министров **не** отказался от месячного срока, который ему закон на ответ предоставил, и предложил поэтому наш законопроект сдать в Комиссию для **разработки.** Это было абсурдом. Если речь Столыпина **так** понимать, то раньше месячного срока законопроект вообще не мог быть в Комиссию сдан (ст. 55, Ул. Гос. Думы). А если в его речи усмотреть заявление правительства о его несогласии с законом по существу, месячного срока было не зачем ждать и он мог быть принят **немедленно.** Юрист-государственник Гессен это спутал, а Председатель — хранитель законов в Думе этого не заметил.

Гессен не ограничился этой оплошностью. Он, подчиняясь традиции, без всякой надобности и повода, обрушился зачем-то на правых ораторов и в таких выражениях, которые ничем не вызывались.

«Вы, господа, защитники культуры. Вы, приспешники старого режима...» (Голоса справа: «неправда», аплодисменты слева).

Гессен: «Принципиально враждебного просвещению народа. Вы — враги всякой свободы...» (Голоса справа: «неправда!»).

Гессен: «...и прежде всего и главным образом, свободы мысли и слова (Страшный шум, крики: «неправда, неправда»). Вы, не остановившиеся перед тем, чтобы здесь с этой трибуны бросить ком грязи в чистое имя Короленко (аплодисменты), нашего славного гуманиста и литератора, вы выступаете перед нами, как защитники культуры, а мы, скромные и незаметные труженики на ниве той-же культуры»... (Страшный шум, топанье ногами).

Председатель: «Прошу соблюдать порядок. Нежелающие слушать могут удалиться».

Так воскрешена была нездоровая атмосфера собрания, в которой исчезли «завоевания» этого дня. Ошибка объяснилась принципиальной позицией наших лидеров в том же вопросе. Статья Милюкова в «Речи», от 14-го марта, иллюстрирует это. Она начинается так:

«Мы не ошиблись, когда предсказывали, что Председатель Совета Министров не сумеет использовать той благоприятной политической конъюнктуры, которая представлялась ему при обсуждении в Думе законопроекта об отмене военно-полевых судов. Вместо согласия на внесение законопроекта в сокращенный срок — согласия, которое более чем что-либо другое способно было спустить натянутые струны — мы услышали вчера с думской трибуны длинную речь все на ту же тему: «не запугаете».

Эта тирада типичный образчик партийного ослепления и несправедливости. Что должен был сделать Столыпин, чтобы заслужить одобрение кадетского лидера? Только **отказаться от месячного срока.** Это «натянутые струны спустило бы». Он в сущности от него отказался, и не его вина, что юристы наши этого не заметили. Но пусть для удовлетворения кадетских желаний, он от него отказался бы expressis verbis. Это было бы с его стороны не делом, а только жестом. Ибо к чему этот отказ бы привел? Только к тому, что Дума свой законопроект приняла бы сейчас, и он бы пошел в Государственный Совет. Уверен ли был Милюков, что Государственный Совет его не отверг бы, хотя бы по тем формальным соображениям, которые в Думе излагал Столыпин, а в Государственном Совете Щегловитов, когда думский законопроект все же в него поступил? И утвердил ли бы его Государь, который был вдохновителем военно-полевого суда? А пока происходили бы эти обсуждения, сам закон 24-го августа продолжал бы попрежнему действовать. Это был бы тот же «жест», который кадеты сделали в 1-ой Гос. Думе, якобы отменяя смертную казнь в том нелепом порядке, при котором она легально и фактически продолжалась.

Столыпин сделал больше и лучше, чем хотел Милюков. Сделал то, чего мы со своим месячным сроком (пределом наших надежд) предполагать не решались. Он не только заявил, что закон не станет вносить и что 20-го апреля он падет сам. Он немедленно **приостановил** его действие. Он не имел **права** его **отменять**; но так как его применение зависело от усмотрения административных властей, то он мог дать им **инструкции**. Он и обязался это сделать. Он заявил, что правительство примет меры, чтобы «ограничить этот суровый закон только самыми **исключительными случаями самых дерзновенных преступлений»**. Нагромождение этих «превосходных степеней» было достаточно ясно, и закон действительно больше не применялся.

Столыпин объяснял, **почему** он такое отступление сделал. «Правительство пришло к заключению, — говорил он, — что страна ждет от него не оказательства слабости, а оказательства веры». Веры в то, что страна услышит от Думы слово **умиротворения**, что «вы прекратите кровавое безумство, что вы скажете то слово, которое заставит нас всех стать не на разрушение исторического здания России, а на пересоздание, переустройство его и украшение». Этих слов тогда не поняли, и к ним я еще позже вернусь. Одно несомненно, что этими словами не было поставлено никакого **условия**. Столыпин только объяснял тем, кто не хотел его понимать, **почему** он мог уступить; причиной уступки он выставил «веру» в умиротворяющее действие Думы. Эти драгоценные слова, которые Столыпина ставили в лагерь идейных сторонников **правового порядка**, Милюков счел полезным «вышучивать».

> «Раскрывая скобки, — пишет он в той же статье, — мы переводим речь первого министра на следующий язык простых смертных: «военно-полевых судов мы не отменим, если не получим формальных (?) удостоверений, что Дума гарантирует нам «успокоение».

Вот отношение наших вожаков к попыткам Столыпина найти с ними общий язык и работать друг с другом. При таком отношении нетрудно предвидеть и всегда без ошибки «предсказывать», что правительство ничего сделать не сможет.

Так среди возбуждения, ненужный более законопроект был, однако, зачем-то сдан для разработки в Комиссию. На нем уже тяготел рок. Нам не суждено было закончить на **этой** нелепости; она повлекла за собою другие, которые, в конце концов, нашу победу превратили в форменный балаган. Чтобы покончить с этим вопросом, забегаю вперед. 17-го апреля, т. е. за два дня до того, как истекал срок на внесение правительством законопроекта, в Думу было внесено предложение «принять немедленно **без прений** закон

об отмене военно-полевых судов», хотя этот вопрос даже не стоял на повестке. Сам Головин сначала заметил, что законопроект на повестку не был поставлен и потому его обсуждать неудобно. Но через полчаса с.-р. внесли предложение: **«без обсуждения** утвердить этот законопроект». Я тогда не был в Думе и не присутствовал при этом скандале. Головин, который только что сам говорил, что обсуждать его **неудобно**, который, как Председатель, должен был помешать беззаконию, почему-то стал на **их** сторону. На указание Стаховича, что вопрос не стоял на повестке, что члены Думы не оповещены о возможности его обсуждения, Головин ответил такой нелепой тирадой:

> «Господа члены Думы должны всегда присутствовать в Думе и должны знать об этом; тот, кто не пришел на означенное заседание, сам, конечно, в этом виноват».

На возражение, что и Министры не были извещены, он не постеснялся сказать, что

> ...«Министры уведомлены, что законопроект на 17-ое апреля подлежит слушанию».

Говорю **«не постеснялся»** сказать, так как эти его слова были **неправдой.** Когда 2-го мая принятый Думой законопроект стал на обсуждение Гос. Совета, Министр Юстиции пояснил, что 17-го марта Министры получили только копию **первоначального** законодательного предположения с уведомлением, что оно **может быть** назначено к слушанию 17 апреля. О том же, что оно действительно было на повестку поставлено, их никто не известил, ибо такого постановления не было. Самый текст законопроекта, в том виде, в каком он из комиссии вышел, правительству сообщен не был. И тем не менее юрист Кузьмин-Караваев не постеснялся в полупустом зале законопроект доложить и Дума без прений его приняла. Поучительно, что Гос. Совет, в виду формальных нарушений, законопроект этот отверг, даже не сдавая в комиссию. О настоящей **подкладке** этого ненужного думского беззакония 17-го апреля — я буду специально говорить в главе XII.

Когда вернувшись в зал заседаний я узнал, что там произошло, с досады на это беззаконие я сказал в кулуарах: «Это не Дума, а кабак». Это слышали репортеры, для сенсации пустили в газеты и сорвавшееся у меня выражение потом комментировалось на разные лады и доставило мне много неприятных минут. Похвалы справа за это были тяжелее, чем брань. А. С. Суворин в «Новом Времени» посвятил похвальную статью этим резким и несправедливым словам. Но бесполезный вотум Государственной Думы был всетаки печальным явлением; дело, хорошо начатое, кончилось так потому, что и Вторая Дума на **этот** раз сочла **свою волю** выше закона.

ГЛАВА X.

Законодательная деятельность 2-ой Думы.

В дальнейшем своем изложении я буду держаться не хронологического порядка, которым шел до сих пор, а предметного. Но знакомясь с тем, что делала Дума, нужно помнить, что во все время ее кратковременной жизни в ней происходила борьба двух политических направлений. Одно продолжало традицию Первой Государственной Думы, считало свою волю выше закона и пыталось если не осуществлять, то по крайней мере заявлять ее полностью. Другое, поняв, что этот революционный путь безнадежен, стремилось держаться исключительно законной дороги и в рамках ее достигать всего, что было возможно. Почти по всякому конкретному поводу в Думе происходила эта борьба. С каждым лишним днем существования Думы победа сторонников конституционой дороги определялась все очевиднее, пока Думу неожиданно не распустили. Эту борьбу двух направлений я и постараюсь осветить в разных про явлениях думской работы. Начну с законодательной области, в которой состояло главное назначение Думы.

Законодательная деятельность 2-ой Думы в конце концов вызвала со стороны власти резкое **осуждение.** В Манифесте о роспуске были такие слова: «выработанные правительством Нашим обширные мероприятия Государственная Дума или не подвергала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением, или отвергала»...

Л. Тихомиров записал в дневнике*), будто Столыпин сказал ему, что этот Манифест он сам написал от слова до слова. Его авторство как будто подтверждается и с другой стороны. Крыжановский в своих «Воспоминаниях» припомнил, что черновик Манифеста, писанный рукой Столыпина, был найден в конверте, адресованном им сыну**). Значит, он им гордился. Почему?

В Манифесте было одно очень трудное для Столыпина место. «Конституционалист» и сторонник «правового порядка», он приложил руку к «государственному перевороту». Ему надо было **так**

*) Красный Архив, т. 61.

**) С. Е. Крыжановский. — Воспоминания, стр. 114.

его объяснить в Манифесте, чтобы этим и не «отрицать» конституции, и не унижать достоинства Государя. Из этого положения он вышел искусно и мог **этим** гордиться.

Но зато изложение им «деятельности» и «причин» роспуска Думы Столыпину чести не делает. Оно неправдиво и едва ли искренно. В дальнейшем я покажу, что Столыпин не сочувствовал роспуску, понимал его ненужность и вред; потому те причины, которые он должен был для оправдания его **выставить**, вышли у него неубедительны.

Это более всего относится к оценке законодательной думской работы. Дума существовала всего 103 дня, включая и Пасхальные праздники. К моменту роспуска, итог законодательной работы не мог быть велик. Было принято всего 24 законопроекта. Правда, работа Думы все улучшалась. Принятие почти всех их приурочилось к последнему месяцу — маю. Важнее то, что Дума к этому времени уже успела закончить в Комиссии и 28-го мая начать обсуждение **закона о местном суде**, то-есть одного из органических и сложных преобразований России. Его рассмотрение в Комиссии было сделано исключительно быстро. Местный суд оказался, кроме того, и не единственным из готовых к обсуждению в Думе законов; через неделю после местного суда мог бы быть поставлен законопроект о «местном самоуправлении» и о «неприкосновенности личности» (см. отчет 24-го мая, стр. 1.147). Они оба были в Комиссиях уже **закончены**. Это было бы приступом к органическому преобразованию России в наиболее наболевших сторонах ее жизни.

Это опровергает ходячее утверждение, будто эта Дума «гнила на корню»: Работа в ней, напротив, налаживалась. Это могло установиться не сразу. Меры, принимаемые, чтобы упорядочить законодательную работу, я рассмотрю отдельно в трех «плоскостях»: вопрос о плане работ, о законодательной процедуре и, наконец, об отношении Думы к законам по существу.

**
*

Необходимость какого-то «плана» работ была вызвана загромождением Думы внесенными в нее законопроектами. 1907 год в законодательном отношении отличался от обыкновенных годов так, как **капитальная** перестройка от **текущих** ремонтов. Над этой «перестройкой» в течение восьми с лишком месяцев сидели специалисты; число их, работавших порознь, во много раз превышало число депутатов, которые результат их работ должны были рассматривать **вместе**. Это не могло быть сделано сразу и для их рассмотрения должен был быть установлен порядок и план. Реформы, заготовленные разными ведомствами, бывали часто внутренне связаны; «неприкосновенность личности» предполагала реформу местных

судов, а эта последняя — реформу «земского положения». Одно не могло итти без другого. Установить разумную очередь для этих законов можно было только ознакомившись с ними. Первый голос в составлении подобного плана должно было иметь правительство, которое эти законопроекты на рассмотрение Думы вносило.

Но правительство Думе не облегчило этого труда. Свои законы оно вносило без плана, случайно и порознь. Органические реформы чередовались с той «вермишелью», которой было вообще в Думе не место (см. III-ью главу). Самая форма законов была слишком громоздка, без выделения их основных положений. Законопроект о «местном суде» был исключительно быстро рассмотрен Комиссией лишь потому, что докладчик И. Гессен, не без возражений со стороны Министерства, самовольно выделил «основные его положения». Во всем этом правительство должно было Думе помочь.

Первый шаг к этому и был сначала сделан Столыпиным. О нем в «Воспоминаниях» рассказал Головин. «Столыпин, — писал он, — развил мысль о желательности в интересах дела договориться правительству с большинством Думы о порядке обсуждения внесенных правительством законопроектов, и просил меня взять на себя посредничество между ним и центром Думы, т. е. партией к.-д. Я ответил Столыпину, что Председатель Думы не должен выступать в качестве посредника в переговорах части Думы с правительством, если желает сохранить в глазах всей Думы авторитет внепартийного руководителя; что самое большее, что я могу сделать, это передать наш разговор частным порядком кому-либо из близких мне в партии к.-д.»*).

Трудно понять такой ответ Головина. Почему посредничество могло подорвать его авторитет, как Председателя Думы? Никто его не просил, если он того не хотел, принимать в самих переговорах участие; но долгом его было указать ответственных представителей фракций и передать им желание главы кабинета. Их дело было, как к нему отнестись. Было бы скорее со стороны главы Правительства некорректно, если бы такое совещание он сделал за спиной Председателя Думы. Непонятное отношение Головина было, очевидно, последствием старой атмосферы «воюющих сторон», которую Столыпин оживил своей политикой в междудумье. Чтобы преодолеть наследие прошлого, ни Столыпин не был достаточно гибок, ни Головин проницателен. После уклонения Головина раздраженный Столыпин, со свойственным ему динамизмом и стремительностью, стал думать о других экстраординарных приемах. Крыжановский рассказывает в своих мемуарах, что он задумывал даже изменить Учр. Гос. Думы,

*) Красный Архив, т. 19.

«чтобы дать правительству возможность регулировать порядок рассмотрения Думою и Советом законопроектов путем определения очереди их рассмотрения и установления сроков, несоблюдение которых влекло за собою право правительства вводить своею властью в действие те или иные меры».

Это значило бы рубить дерево, чтобы с него снять яблоко. Да и цели своей подобные реформы могли не достигнуть. По словам Крыжановского, Столыпин сам к ним скоро «остыл». Между ними и попыткой сговориться с кадетами — было много промежуточных форм. В установлении разумного плана работы Дума была заинтересована не меньше правительства, и ему мешать бы не стала.

В том, что зависело от нее, она не осталась бездеятельной, только ей пришлось начинать все сначала.

Вопрос о плане не стоял перед 1-ой Думой. В ней не было избытка законов; рассматривала она только свои, между которыми установить очередь ей самой было нетрудно. А при этом Муромцев, авторитет думских порядков, смотрел на процедуру с точки зрения английского парламентарного строя. Глава правительства там лидер парламента. Сговариваться ему приходится только с лидером оппозиции. Дело же спикера только беспристрастно регулировать их отношения. Муромцев так смотрел и на свою роль, как Председателя Думы. Свою задачу он видел в наблюдении за «fair play», как будто арбитра в спортивном турнире. От себя он не предлагал ничего. Бывало, что после долгого спора, голосовать было нечего, так как конкретного предложения никем не было сделано. Тогда он незаметно посылал секретаря Шаховского, чтобы об этом членам Думы напомнить.

Почитателями Муромцева эта система ему вменялась в заслугу; он де оставлял Думе свободу. Но даже в 1-ой Думе она нимало не соответствовала ни нравам, ни степени развития партий. А между тем по инерции и 2-ая Дума сначала пошла той-же дорогой. Получалась анархия. Председатель докладывал о поступивших в Думу законопроектах, распоряжался список их напечатать и депутатам раздать, и потом ожидал «предложений». Иногда отдельные депутаты заинтересовывались тем или другим внесенным законом, предлагали его сдать в Комиссию и начинали «прения о направлении». Но общего плана этим способом составить и провести было нельзя. Этот пробел заполнен был уже в порядке Наказа.

Комиссия для его составления была выбрана 22-го марта и состояла из 19 человек. От Первой Думы она получила в наследие три принятых ею первых главы (§1 — §60), и неоконченный проект еще нескольких глав. Кроме самого Муромцева, главным работником над Наказом был Острогорский, знаток и поклонник французского регламента. У Комиссии 2-ой Думы была, таким образом,

некая канва для работы; но зато знатоков иностранного регламента в ней не было. Поэтому она более всего стала руководиться уроками «опыта». Беспомощность председателя Думы заставила комиссию предусматривать и регулировать такие мелкие подробности, которым нормально не должно было быть места в Наказе и которые подлежали бы простому толкованию Председателя. Кроме того, Комиссия старалась специально ограждать права «меньшинства». От него сидело в Комиссии три человека (Стахович, Искрицкий, Куракин). Соц.-демократы были представлены разумным и дельным Салтыковым, который был членом Президиума, товарищем секретаря; трудовики — Березиным, с.-р. — Ширским, поляки — Яронским, н.-с. — Демьяновым, кадеты — пятью человеками — Пергаментом, Бобиным, Долженковым, Черносвитовым и мной. Остальные обыкновенно не посещали Комиссии*).

Две главы Наказа, составленные новой Комиссией (о «порядке производства дел в Государственной Думе» и о «порядке заседаний Государственной Думы» (§§61 — §§198) были 8 и 16 мая приняты Думой. Они внесли переворот в порядок рассмотрения дел. По §61 Председатель должен был докладывать о поступивших в Думу законопроектах, с заключением**) Совещания об их

---

*) К Наказу я поневоле могу быть пристрастен; до известной степени он был моим детищем. Я был в этой комиссии и председателем и докладчиком. Хотя несколько глав его были приняты Думой, он не был закончен и потому не опубликован Сенатом. Когда собралась 3-ья Дума, я в первом ее деловом заседании предложил временно принять к руководству Наказ 2-ой Думы. Но отношение к ней было враждебное. Уваров протестовал, чтобы 3-ья Дума пользовалась работой революционной Думы, которую Сенат будто бы отказался распубликовать по явному ее беззаконию. В 3-ей Думе было много депутатов 2-ой, начиная с председателя ее Хомякова, которые знали как беспристрастно составлялся Наказ. Бобринский горячо за него заступился и Наказ был временно принят. Была опять избрана Комиссия по Наказу. Председателем в ней был выбран Крупенский. В Комиссии он сделал неожиданный жест. Заявил, что избран был Председателем лишь потому, что большинство 3-ей Думы постановило не пускать в Председатели членов оппозиции, но что он просит меня продолжать мое дело, как раньше. Предложил для этого избрать меня Товарищем Председателя заявив, что сам в заседания не будет ходить. Я не хотел бросить начатой работы, тем более, что теперь мы стали в Думе меньшинством и нужно было сохранять в Наказе заботы о нем. Двойную роль председательствующего и докладчика я сохранил и в 3-й и в 4-й Думе. Я же написал к Наказу обширную объяснительную записку, в 20 с лишком печатных листов, которую Президиум стал печатать как комментарий к Наказу. Я работал над ним в уверенности, что он навсегда останется основой думских правопорядков. Мне пришлось, однако, надолго мой Наказ пережить.

**) Ст. 12 Учр. Гос. Думы гласит: «Для соображения общих возникающих относительно деятельности Гос. Думы вопросов, под председательством ее председателя состоит Совещание, в состав коего входят Товарищи Председателя, а равно и Секретарь Думы и один из его Товарищей».

направлении, которое Дума принимала без прений. Но если вносились предложения дать им иное течение, чем то, которое предлагало для них Совещание, то вопрос об этом решался при двух только ораторах.

Этим достигалось два результата. Уничтожались злополучные прения «по направлению», а главное на Совещание возлагалась ответственность за план и ход думских работ. Это, конечно, противоречило пониманию Первой Думы. Выразителем его 8 мая явился перводумец Парчевский, который нашел, что это дело вовсе не Совещания, а «партийных старейшин», Senioren Konvent'a т. е. инициативы самих членов Думы. Этот прежний взгляд был поддержан и Муромцевым в «Парламентской Неделе», в № 19 «Права». Комиссия по Наказу не разделила их точки зрения. Она не была противницей Senioren Konvent'a, но находила что Дума не имела права ему ничего поручать; он не зависел от Думы. Официальное его существование было даже сомнительно из-за придирок Сената к Наказу. Только Совещание создано было законом, выбиралось всей Думой, а не партиями и являлось ее ответственным органом. Оно могло уже от себя привлекать к совместной с собой работе представителей фракций. Позднее так это и стало во всех аналогичных случаях делаться. Когда напр., Наказ 3-ей Думы ввел институт «неполного прекращения прений», который предоставлял Председателю назначать несколько ораторов из числа записавшихся, он это делал всегда по соглашению с партийными представителями, но последнее слово все-таки принадлежало ему. Так и по вопросу о плане работы. Правительство теперь могло знать, с кем сговариваться и к кому свои пожелания направлять; дело Совещания было столковаться с представителями партий. В этом создании органа Думы, обязанного иметь план думских работ, следить за его выполнением, и состояло новшество 2-ой Государственной Думы.

Это было решительным шагом к планированию и упорядочению думской работы; этот порядок показал свою жизненность и существовал без перемены и в 3-й и в 4-й Гос. Думах. Для 2-й Думы в нем фактически оказалось одно неудобство. Состав Совещания был односторонен, так как был избран в те первые дни, когда Думой всецело владело «левое ее большинство», по существу «нерабочее».

Это отразилось на характере плана работ, когда Совещание к составлению его приступило; оно поставило на первую очередь законопроекты демонстративные, в возможность проведения которых само не верило — как законопроект об амнистии, об отмене смертной казни, об отмене исключительных положений. Такой односторонний и тенденциозный выбор был отражением настроений первых дней Думы и ее левого большинства. Он не соответствовал той эволюции, которая в ней уже произошла. Но по Наказу состав-

ление повестки заседания зависело все-таки от общего собрания Думы, причем для этого ограничения числа ораторов установлено не было. На этой почве и разыгрались однажды интересные прения, о которых поучительно вспомнить.

24 мая Совещание предложило поставить на повестку ближайшего заседания — «смертную казнь» и «амнистию». Докладчик судебной комиссии Гессен выставил вместо этого законопроект о «местном суде», первый готовый к рассмотрению органический закон, сделавшийся потом главной рекламой работоспособности Думы. Это заявление было встречено негодованием слева. Как? Местный суд раньше амнистии? На эту демагогию другой Гессен, В. М., ответил обстоятельной речью. Он не отрицал важности этих и им подобных законов, которые по терминологии правительства «соприкасались с государственной безопасностью».

> «Но, — говорил он, — мы сознаем, и считаем себя обязанными об этом открыто Думе сказать, что в области данных вопросов Государственная Дума в настоящий момент, при существующих условиях, не в состоянии добиться положительных результатов. Приступая к рассмотрению этих вопросов мы станем на путь горячих речей и бесплодных решений. Я считаю этот путь опасным и ложным... Есть ряд других важных законов, которые касаются «органического переустройства нашей государственной, преимущественно местной жизни», в которых Дума может многое сделать, так как правительство им не противится — таковы местный суд, крестьянское и земское самоуправление и т. д.».

Над этим и нужно поэтому работать в **первую** очередь.

Целая пропасть отделяла этот новый взгляд от того недавнего времени, когда кадеты горячо обсуждали вопрос, дозволительно ли Думе заниматься «органической работой», раньше проведения радикальной «конституционной реформы». Теперь именно эта **органическая** работа ставилась ими на **первую** очередь. Но откровенность, с которой Гессен поставил точки над і, вызвала слева целую бурю.

> «Кроме мотивов порядка и целесообразности, — говорил честный и искренний трудовик, Товарищ Председателя, доктор Березин, есть мотивы чести и совести, о которых заявлял Петрункевич в тот день, когда собралась Первая Дума. Изменились ли понятия о долге, совести и чести у той же самой партии в этом году?»
>
> «Партия народной свободы, — говорил народный социалист Демьянов, один из самых порядочных, но и безнадежно

слепых людей, которых я знал, — в этом заседании обнажилась. Мы дойдем до того, что будем с покорностью рассматривать вопрос о том, чтобы устроить при Юрьевском Университете прачечную... К этому придет Дума, если пойдет по пути дальнейших уступок и т. д.».

С точки зрения революционной идеологии это было логично. Но вот что показалось загадочным. Правые не только не поддержали кадет, но вслед за левыми стали их вышучивать. Синодино речь В. Гессена назвал «блестящей», доводы его «вполне разделял»; но он нашел, что Гессен толкал Думу на **скользкий** путь.

«Я опасаюсь, что то, что вам было сказано Председателем Совета Министров «не запугаете», осуществилось; вы в центре запуганы (смех и аплодисменты слева). Да, смейтесь; я очень доволен, что господа кадеты запуганы, но — срам им. Та партия, которая всегда стояла во главе великого освободительного движения, отходную прочла сегодня себе на этой кафедре и себя похоронила навеки (аплодисменты слева и справа).

Крупенский тоже стоял за постановку на повестку — амнистии:

«Я лично считаю, — говорил он, — что раз поставлен вопрос желательный крупной группе лиц, не следует его снимать, хотя бы мы даже и были против. Я лично стою против этого вопроса, тем не менее считаю, что он должен быть рассмотрен и откладывать его ни в коем случае не может быть признано правильным. Я опасаюсь, что его постигнет та-же судьба, как и порицание политических убийств».

На эти «крокодиловы слезы» отвечал Ф. И. Родичев:

«Синодино аплодировали оттуда, откуда редко ему аплодируют. Там, может быть, запуганы. Но я вам скажу правду:, я запуган, но не извне. (Аплодисменты, браво!) Я боюсь суда своей собственной совести. Мы посланы сюда не для того, чтобы постановлять резолюции, а чтобы осуществлять дело переустройства страны, установить новые законы и один из самых важных из них есть тот, который мы предлагаем вам обсудить в следующий день, т. е. законопроект о местном суде».

Что означали эти выступления правых против того, чему они не могли не сочувствовать? Я об этом подробно говорить буду после. Дело в том, что в это время, т. е. 24-го мая, они Думу «беречь»

уже не хотели. Этим объясняется то, что **их** голосами **амнистия** была поставлена на повестку, а **смертная казнь** не была. Разница знаменательна. Законопроект об амнистии, как нарушавший прерогативы Монарха, **мог** быть поводом к роспуску; его **потому** и поставили. «Отмена» же смертной казни ничем не грозила, кроме потери времени; без цели правые не захотели голосовать вместе с левыми.

Этой «провокации» будет посвящено специальное рассмотрение. Но этот вопрос стоит вне **плана** думских работ. Расставаясь с «планом» надо признать, что Дума была распущена в тот самый момент, когда она становилась на путь деловой, а не демонстративной работы. Причин роспуска поэтому надо искать в другом месте, а не в лицемерных словах «Манифеста».

* * *

Перехожу к вопросу о «процедуре» работ.

В этом отношении Думе пришлось не только впервые устанавливать процессуальный порядок, но бороться с тем злом, которое уже **вошло в думские нравы.** Первая Дума не рассматривала правительственных законопроектов, как потому, что с внесением их запоздали, так и потому, что свои собственные она считала важнее. Для рассмотрения же своих она ввела свой порядок. Вместо того, чтобы, **согласно закона**, сначала рассматривать представленные Думе «основные начала» проекта, и только после их **одобрения** передавать их в комиссию **для составления закона соответственно им,** — Дума поручала Комиссии самой составить закон, а партийные и даже правительственные законопроекты передавала ей «как материал». Комиссия должна была таким образом не **рассматривать,** а **сочинять.** Первая Дума сочла даже желательным изменить в этом смысле текст статей 55 и 56 Учр. Гос. Думы, устранив требование предварительного одобрения «основных положений» законопроекта; принятый ею с этой целью 23-го мая новый текст Учр. Гос. Думы, остался проектом. А, якобы, для того, чтобы облегчить задачу Комиссии, Дума ввела институт прений «по направлению»; формально должно было говорить только о том, **куда** законопроект **передать,** а на деле каждый говорил, что хотел, **по существу.** Эти прения, отнимавшие много времени совершенно бесплодно, сделались язвой думской работы. Когда Первая Дума это вводила, у нее было своеобразное оправдание. Оно было в том, что первое время ей было нечего делать. Все законопроекты ее инициативы по закону (ст. 56) должны были месяц лежать без движения, чтобы дать министрам время с ними знакомиться. Чтобы это время чем-то заполнить, придумали этот порядок*). У него

---

*) Этот секрет вскрыл Винавер в своих «Конфликтах» (стр. 71). Я подробно о нем говорю в книге «Первая Дума».

оказались сторонники и среди тех, кому хотелось высказаться с думской трибуны, и тех, кто на думскую работу смотрел как на средство непосредственно действовать на население. Сторонники этого порядка нашлись не только слева, но и справа.

Во 2-ой Думе кадеты с самого начала стали с этим порядком бороться, пока его не устранили Наказом. Чтобы показать это наглядно на примере, посмотрим, как проходил аграрный законопроект.

В первый же день после конституирования Думы Председатель доложил о внесении аграрного законопроекта «трудовиков» и «крестьянского Союза», с предложением создать Комиссию из 53 человек и ей поручить «составить земельный закон». По заявлению авторов, их законопроект соответствовал проекту внесенному ими же в 1-ую Думу. Он печатается, раздается, но лежит без движения. Через неделю, 15-го марта правый крестьянский депутат Петроченко просит скорее «приступить к обсуждению земельного вопроса». Месячный срок пока не прошел. Кадеты советуют «не торопиться». Долгоруков рекомендует подождать, пока другие политические партии свои законопроекты внесут. За немедленное обсуждение, однако, высказываются «правые». Бобринский находит, что откладывать не зачем. У Думы есть предложение трудовой группы, совершенно «правильно составленное с точки зрения парламентской техники». В этом он ошибался; предложенная комиссия для «составления закона» противоречила ст. 56 Учр. Гос. Думы. Но можно было все-таки, по примеру Первой Думы, начать прения **по направлению**; Бобринский это и предлагал, чтобы дать возможность всем «высказаться». Правые де были «оклеветаны» перед общественным мнением и хотят теперь защищаться. Конечно, в этом их поддержали и левые; прения по направлению аграрного вопроса давали им благодарный повод развивать свою демагогию. Голосами правых и левых, против кадет, постановили приступить к прениям немедленно, назначив для этого один специальный день на каждой неделе. 19-го марта открылись эти злополучные прения «по направлению»; кроме проекта трудовиков, Дума за эти дни получила еще законопроект соц. демократов и кадет, тоже как «материал для Комиссии». В первый же день «по направлению» выступило 16 ораторов. Сам представитель правительства, Главноуправляющий земледелием, кн. Васильчиков, тоже счел нужным, «приветствовать слагающееся в Гос. Думе намерение учредить для детального рассмотрения поступивших в Гос. Думу законопроектов и законодательных предположений, особую аграрную Комиссию». Всего «по направлению» записалось более сотни ораторов.

Но 23-го марта крестьяне опять подают характерное и разумное заявление: просят, не откладывая, приступить **к избранию**

аграрной Комиссии. Кадеты его поддерживают, но пользуются этим предложением, чтобы нелепые прения «по направлению» прекратить. Они находят, что если Комиссия будет избрана, то продолжение прений **«по направлению»** станет бессмысленно. Или Комиссия — или прения. Но правые и левые с этим несогласны; с.-д. Алексинский и трудовик Караваев не считают возможным прекращение прений; «они-де придают чрезвычайную важность **предварительному** обсуждению аграрного вопроса в Государ. Думе». Правые тоже еще не все успели высказаться. При согласии справа и слева, кадеты бессильны. Дума постановляет мудрое решение: «комиссию избрать и передать в нее законопроекты, а прения по направлению тем не менее продолжать». 5-го апреля Комиссия выбрана, приступила к работе, а бессмысленные прения «по направлению» продолжаются.

Тогда начинаются попытки кадет прекратить эти прения хотя бы **в общем** порядке. По нескольку раз в день такие предложения ими подаются, но «отклоняются». Для отклонения по Наказу достаточно 50 голосов. Но 8-го мая принят **новый** Наказ; он самые «прения по направлению» ограничил двумя речами. Большинство находит, однако, что новый Наказ **не** относится к прошлому; обратной силы ему не присвоено. Но бессмысленность прений стала так очевидна, что теперь они обречены. 16-го мая вновь вносится предложение: прения прекратить; записано еще 75 человек. Предложение **отклонено.** Через час оно вносится вновь. Отклонено. Крупенский возмущается: «Ровно час тому назад такое же предложение было отклонено. Оно вновь внесено, я высказываюсь абсолютно против таких фокусов». Отклонено. Через 10 минут оно снова вносится. Левый Сорокин, якобы, возражает тогда такими словами:

> «Господа, эти люди сыты, они хотят, оказывается, говорить три года. Мне кажется, нужно это бросить. Пусть идет наша работа в аграрной Комиссии; там мы сделаем все, что нужно. Поэтому я просил бы Государственную Думу прекратить прения, потому что эти господа стремятся делать обструкцию».

После такого «возражения» против прекращения прений предложение принято и прения прекращены.

Но дело этим не кончилось; 26-го мая внесено новое предложение: подвести итог этим прениям и в «формуле перехода» **преподать директивы Комиссии.** Предложено четыре мотивированных формулы перехода — с.-демократов, соц.-революционеров, трудовиков и народных социалистов. Тут их ждет процессуальный сюрприз. Против всех формул кадеты выдвинули «предварительный вопрос», т. е. предложение их не рассматривать. О политической подкладке этого предложения я буду говорить позже. Но со сторо-

ны процессуальной, оно было достаточно ясно; оно было торжественным осуждением бессмысленных прений «по направлению» и признанием их полной бесплодности. Оно и было принято Думой большинством 238 голосов против 91.

Аграрный вопрос был самым типичным, но не единственным. Укажу другой пример — законопроект о всеобщем обучении. 4-го мая подано заявление о создании Комиссии «для рассмотрения законопроекта о всеобщем обучении и о передаче в нее всех законопроектов по Министерству Народного Просвещения». Предложение исходит от кадет; его поддерживает В. М. Гессен. Наказ еще не утвержден; но наученные опытом по аграрному вопросу кадеты пробуют предложить эту передачу сделать «без прений». Выступает Министр Народного Просвещения и «ходатайствует»*) о «скорейшей передаче всех его законопроектов в Комиссию». Казалось бы не о чем спорить. Но существо законопроекта дает почву для демагогии и левые партии от нее не хотят отказаться. С.-р. Архангельский предлагает «раньше, чем передать законопроект в Комиссию, выяснить в общем собрании Думы отношение ее к этому проекту». В виду такого поворота дел, подается немедленно предложение, по крайней мере, о прекращении записи; но 65 человек уж записалось. Запись прекращена. Через 5 ораторов — новое ограничение: продолжительность речей сокращена до десяти минут. Следующее заседание 15-го мая; но за это время, 8-го мая, принят Наказ. Обратной силы он не имеет, но прослушав еще одну речь Дума в том же заседании 15-го мая — прения прекращает. Аграрный вопрос Думу кое-чему научил.

Еще нагляднее сопоставить это с проектом о «местном суде». 16-го марта было внесено предложение о создании 3-х специальных Комиссий; из 24 человек для закона о местном суде, из 33-х — для «неприкосновенности личности» и из 33-х — для вероисповедных законов. 20 марта эти предложения обсуждаются. Тесленко от имени кадет предлагает передать все министерские законопроекты в Комиссию, «не делая их предварительного обсуждения в Думе». Это разумное предложение, конечно, встречает возражения слева. С.-д. Махарадзе признает, что хотя это дало бы «экономию времени», но «общие дебаты имеют громадное значение для выяснения принципиального отношения думских партий к законопроектам». Правые, которые настояли на предварительных прениях в аграрном вопросе, на этот раз не спорят с кадетами. Бобринский согласен с Тесленко, чтобы скорее перейти к разумной работе. Это будет иметь громадное значение для укрепления Думы в стране, к чему мы все стремимся (ироническое восклицание слева).

---

*) Этот термин «ходатайствовать» правая пресса вменила в вину злополучному Кауфману, как унижение «достоинства власти».

Кадетам помог в этом вопросе и социал-демократ Алексинский, переборщив. Он стал инсинуировать, что бюрократы и «помещики» привыкли все делать тайно от народа.

> «Мы, социал-демократы, желаем, чтобы важнейшие вопросы народной жизни обсуждались не в закрытых заседаниях Комиссий, а здесь — с думской трибуны, где это обсуждение может быть проконтролирсвано самим народом. Мы своих взглядов от народа не скрываем... и желаем помешать скрыть свои взгляды тем, кому это выгодно...»

Он не возражает против сдачи в Комиссию законопроекта о «местном суде», но зато настаивает на предварительном обсуждении «неприкосновенности личности» и «вероисповедных законов».

Тогда даже Пуришкевич догадался, в чем дело; он ответил:

> Я хотел было поддержать депутата Алексинского, но теперь понимаю цель его предложения. Он выбрал из всех вопросов наиболее бойкие, наиболее боевые, наиболее способные разжигать народные массы и хочет поставить их на обсуждение Государственной Думы, чтобы это пошло по России и возмутило народные массы... На это я могу сказать только одно — стыдно»...

Дума приняла кадетское предложение и сдала все законопроекты в Комиссии **без прений.** 22-го марта эти Комиссии уже были выбраны, могли своим делом заняться и только поэтому законопроект о местном суде оказался готов до роспуска Думы.

Так сама Дума от детских недугов излечивалась. То, что кадеты безуспешно пытались провести через нее 15-го марта, через два месяца сделалось **обязательным уже по Наказу.** Прения по направлению были запрещены. Но, чтобы этот параграф Наказа мог в Думе собрать большинство, нужны были эти два месяца опыта. Только опираясь на опыт, я, как докладчик Наказа, мог сказать:

> «Нисколько не стесняя прений по существу, мы ни минуты не колебались, когда становились перед нами интересы агитационной трибуны и интересы дела, жертвовать первой в пользу второго. Тот лозунг, которого мы до сих пор все держались, которым руководились во всех конфликтах, лозунг «беречь Думу», для нас, для Комиссии, когда мы посмотрели на то количество времени, которое в нашем распоряжении имеется, этот лозунг выразился для нас в необходимости «беречь Думу» больше всего от ее собственного красноречия. (Аплодисменты центра и справа)».

Так с мая месяца законодательная работа Думы в области процедуры стала на новые рельсы; она более не зависела от великодушного согласия отказаться от «просвещения населения за счет думского времени».

**
*

Здесь уместно рассказать о рассмотрении особой группы законов, не реформ, а так называемой «вермишели». Первая Дума ими совсем не занималась. Как ни понятно было ее возмущение, когда ей преподнесли для начала «оранжереи» и «прачечные», высокомерное к ним отношение было все-таки проявлением «барства». Вторая Дума не пошла по этой дороге. Ею в течение Мая было по существу решено около 16 законопроектов вермишельного типа. Столыпин был бы должен это ценить, тем более, что понимал (см. III-ью главу), до какой степени эти законы не подходили к компетенции Думы, и собирался от них Думу избавить. Деловой упрек, который можно бы сделать, был разве в том, что в заседании 18-го мая законопроекты о разрешении контрактов с частными обществами на рейсы в далекой Сибири (по Лене, Амуру, Байкалу, Охотскому морю) заняли 49 столбцов стенографического отчета. И докладчик, труд. Скалозутов, должен был кончить такими словами:

«Господа, я нового ничего не прибавлю к тому, что здесь было сказано. Прибавить ничего нельзя, потому, что, повторяю, сведений мы никаких не имеем. Тем не менее, господа, имейте в виду, что отказом вашим вы поставите население, незначительное правда, но заброшенное, в положение крайнее. Наша отдаленная Сибирь не виновата, что не имеет самоуправления, что она сама не может управиться своими собственными средствами, не может сама свои собственные хозяйственные нужды удовлетворить; не виновата она, что эти вопросы мелкие, чисто местного значения, разрешаются за пять тысяч верст от того места, для которого они имеют значение».

Скоро стало всем ясно, что за этими мелкими законопроектами Дума не может угнаться, что их рассмотрение надо ускорить. 30-го марта было предложено создать особую Комиссию «для рассмотрения маловажных законодательных предположений, касающихся частных мероприятий по отдельным ведомствам». Капустин его защищал. Несмотря на неудачное и как будто бы обидное название этой Комиссии, в предложении была здоровая мысль: разгрузить серьезные Комиссии Думы от вермишельных законов. Из лишняя добросовестность этому помешала. Тесленко против него возражал:

«Предполагается, — говорил он, — выбрать Комиссию не по роду дел, а по признаку их «маловажности». Эта Комиссия должна будет состоять из энциклопедистов по всем отраслям управления. Ее создать будет трудно. Комиссии должны быть составлены по роду дел, и в них по специальности надо направлять все законы независимо от их маловажности. Комиссия сама будет давать им ход вне очереди».

Шидловский поддерживал Капустина, Булат — Тесленко. Предложение было провалено. Едва ли такое решение кадет было удачно. В «специальных» Комиссиях «маловажные» дела поневоле оставались в загоне; они мешали серьезной работе. И «специальность» здесь ни при чем: нужно ли быть специалистом по «народному образованию», чтобы судить о «прачечной» при Университете гор. Юрьева? Создать Комиссию, для которой «вермишель» была бы «главным занятием», а не отвлечением от настоящего дела, было более «практичным разрешением трудности». Такая Комиссия потом успешно работала и в 3-й и в 4-й Гос. Думах, под именем «Комиссия законодательных предположений», а не под одиозным названием «маловажной».

Предложенное улучшение касалось, однако, только «Комиссии» и потому было бы второстепенным. Все равно оставалась Дума, которая должна была «вермишель» рассматривать в своем общем собрании. Здесь была новая трудность. Если бы Дума относилась к своему рассмотрению добросовестно, она бы погибла. Практика, по инициативе энергичного кн. В. М. Волконского, «фактически» отменила думское рассмотрение этих законов. Для докладов этой Комиссии в случае, если никто не предупреждал о желании говорить, не было обсуждения в Думе. Волконский бормотал заголовки проектов, кидал сквозь зубы сакраментальную фразу «несогласные встают», и в десяток минут сплавлял сотню законов. Потом они занимали десятки страниц в стенограммах.

Позволительно себя, однако, спросить: хорош ли был этот порядок? Возможно, что бюрократический контроль Петербурга за делами местного интереса, был тоже простою формальностью; но эта «формальность» не была бы такой соблазнительной и развращающей школой, как участие Думы в публичном подлоге. А между тем, стояла дилемма: или Дума станет законодательной пробкой, или одобрит этот подлог и себя заменит Комиссией. Третьего выхода не было, и в этом не она была виновата. А при доверии всей Думы к щепетильной добросовестности кн. Волконского — она с этим «беспорядком» мирилась.

Но, если этот подлог был допустимым исходом, то можно ли осуждать 2-ую Думу, что она к нему не прибегла? И прилично ли Манифесту было ее упрекать, что законопроектов она не рассматривала, обсуждением замедляла или отвергала?

***

Перехожу к главному вопросу — об отношении Думы к внесенным в нее правительством законопроектам **по существу.** Рассмотрение законопроектов в собрании из нескольких сот человек — всегда дело громоздкое; потому в них вопрос о плане и процедуре имеет значение, которого нет для единоличных работников. Много времени и труда поневоле уходит на «организацию»; затруднения этого рода в конце концов уладились; к началу третьего месяца Дума, наконец, начала быстро работать. Потеря же первых месяцев была неизбежна, как школьные годы в человеческой жизни.

Иное дело отношение Думы к законопроектам **по существу.** Если Дума не разделяет взглядов правительства и законы его «отвергает» или умышленно «хода им не дает», взаимное сотрудничество их становится невозможным. На это, как будто, и намекали слова Манифеста, которые я выше цитировал. Но как раз **эти слова** наиболее явная неправда.

Единственное из «обширных мероприятий» правительства, до рассмотрения которого Дума успела дойти, т. е. законопроект о местном суде, был думской Комиссией **принят.** Был своевременно принят, несмотря на опоздание власти с внесением законопроекта, и контингент новобранцев. Из 16 «вермишельных» законов, рассмотренных в мае, было всего отвергнуто два: ассигнование 10.000 рублей на издание журнала «Художественные Сокровища России» и «повышение ставок казенного налога на землю»; против последнего законопроекта возражали и правые (Синодино), и он был **единогласно** отвергнут*).

Очевидно не эти законы имеют в виду слова Манифеста. Кроме этого было отвергнуто еще четыре закона, но они относятся к категории мер, проведенных по 87 ст. в междудумье, и я буду особо о них говорить. Таким образом, из 26 рассмотренных общим собранием Думы законов, было принято 20. Огульная жалоба Манифеста «на противодействие Думы» в законодательной области несправедлива.

Но этого мало. Дума была так рано распущена, что громадное большинство законопроектов правительства еще оставалось в комиссиях, и сейчас с достоверностью невозможно судить не только об отношении к ним, но и о самих законах (гл. III). Однако, не будет слишком смело сказать, что в законодательной сфере нельзя

---

*) Так при голосовании было объявлено Председателем. Стенографический же отчет отметил, что после этих слов раздались голоса: «Нет, не единогласно». Председатель поправил: «подавляющим большинством голосов». По этому можно судить, **много** ли голосов было за этот закон.

было вообще ожидать систематического конфликта правительства с Думой. Если правительство было искренно в своей декларации, и действительно хотело «преобразовать Россию в духе октябрьского Манифеста», т. е. «превратить наше отечество в государство правовое», при котором «права и обязанности русских подданных не будут находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц» — если его законопроекты к этой цели стремились, то Дума им бы не стала противиться. Этих преобразований она хотела, конечно, больше, чем наше правительство. Принципиальные враги **подобных** реформ были не в Думе, а в Верхней Палате; позднее **это** они доказали. В понимании того, что нужно в этом направлении делать, Дума пошла бы, наверное, **дальше** правительства; например, там, где правительство ценз только понижало, она вводила бы четыреххвостку; где оно сокращало контрольные полномочия власти, Дума стала бы вовсе их отменять; она захотела бы не «пересмотра», а «отмены» исключительных положений и т. д. Не **отвергая** правительственных законопроектов, она их стала бы оснащать своими «поправками». Партийные законопроекты, которые вносились в Думу и передавались в Комиссии, как материал, послужили бы канвой для подобных поправок. Но в этом никакой опасности, кроме потери времени, не было. Государственный Совет стал бы отклонять эти поправки, а когда, после «согласительных Комиссий», перед Думой стала бы альтернатива — или законопроект принять **без** поправок, или оставаться при **старом** порядке, она стала бы «подчиняться насилию». Ведь предположенные реформы, как бы они ни были робки, были все-таки шагом **вперед,** не назад. Безусловное сопротивление Думы правительство могло встретить только в тех редких случаях, когда бы оно хотело **ухудшать** старый порядок, увеличивать произвол, сокращать гарантию прав отдельных людей против власти. Но это в цели правительства не входило, и этого ему не было нужно. Существовавший порядок давал ему для этого достаточно полномочий. И во всяком случае не в этом был смысл декларации, и не в этом тогдашняя политика Столыпина заключалась. Поэтому ему нельзя было опасаться принципиального конфликта с Думой на **законодательной** почве.

Была только одна группа реформ, которой правительство дорожило, и которая не встречала сочувствия Думы; это — законы крестьянские. На них интересно остановиться тем более, что отношение к ним было неодинаковое.

В эту группу входил, во-первых, уже проведенный по 87 ст. закон 5-го октября 1906 года о «равноправии»; у него противников не было, и он стал обсуждаться впервые только через десять лет, в мае 1916 года; во-вторых, закон 9-го ноября, более спорный — о выходе из общины; в-третьих, целая группа законов о передаче ряда земель Крестьянскому Банку **для распродажи крестьянам,** в

общей сложности, 11 миллионов десятин (9 — казенных, 2 купленных у помещиков).

Эта последняя группа законов в своей совокупности, по выражению декларации, стремилась к двум главным целям: к увеличению площади крестьянского землевладения и к введению **личной** земельной собственности на общих началах. **Это** было основной идеей Столыпина; она не только удовлетворяла крестьянским желаниям, т. е. мечте о земле, она приравнивала их к другим состояниям в праве личной собственности, и подводила твердое основание под местное самоуправление и конституционный строй. Так по крайней мере правительство на это глядело. (Глава III).

Большинство Думы **не было** с этим согласно. Не останавливаюсь на законе 9-го ноября о «выходе из общины»; несмотря на традиционное сочувствие левых «общине», как эмбриону социализма, ни одна партия не захотела бы держать крестьян в общине **насильственно.** Спор мог быть только о частностях, о поправках к закону, которые можно было сделать при его обсуждении. Ни у одной партии для этого не было уже **готовых** поправок. При обсуждении в 3-ей Думе, кадеты своей изобретательности не сделали чести, когда в виде поправки предлагали применить «общее право», т. е. делать раздел общинной собственности по правилам X тома, о разделах. Потому здесь сговор и компромисс были возможны.

Настоящее разномыслие отделяло правительство от всех левых партий только в вопросе о **способах увеличить** крестьянское землевладение. Эти партии не соглашались землю для крестьян **покупать** у владельцев, а предлагали ее у них **принудительно отчуждать.** Оправданием такого приема они выставляли старую историческую несправедливость — раздачу дворянам «населенных земель». Это было преддверием большевистского лозунга — «грабь награбленное». Было ли такое отчуждение справедливо относительно владельцев земли и даже была ли эта реформа государству полезна — такого вопроса и не ставилось; самая постановка его уже рассматривалась, как проявление помещичьей алчности.

«Революционные партии» в этом были последовательны; такая реформа была бы, действительно, уже «революцией». Но за ними пошла и кадетская партия. Она не могла отречься от «правового начала» и потому ввела корректив, — предлагала отчуждение «с вознаграждением по справедливой оценке», что давало этой мере какую-то видимость **общего права.** Но это была только видимость. Национализация земли вообще, т. е. изъятие ее из всех частных владений — под которое вместе с другими попадали помещики — была бы общей нормой, которую в праве устанавливать государство. Но поскольку землю собирались отнимать «у помещиков» для крестьян, а «крестьянские земли» были из-под этой общей меры изъяты, это было, во-первых, укреплением сословного

принципа, с которым надо было бороться, а, во-вторых, «нарушением со стороны государства признаваемых им самим прав человека». Можно исключить право земельной собственности из числа **прав человека,** но признавая его, нельзя нарушать это право для **одной** категории граждан — помещиков. Кадеты, по существу, были партией «правового порядка». Поэтому их идеал, как защитников «прав человека», против произвола государственной власти, ближе подходил к аграрному плану Столыпина, чем к планам социалистических партий. Столыпинский план более уважал «права человека» и ставил преграды «государственной воле»; он решал аграрный вопрос на началах **права,** а не **произвола,** тем более не **мести за прошлое.** Только **так** его и могло ставить правовое государство; решать его по рецептам социалистических партий могло или «Самодержавие» или победоносная «Революция»: крайности сходятся. Но кадеты не хотели ни того, ни другого. Можно добавить, что создание класса новых «крестьян», т. е. мелких земельных личных собственников, могло бы быть действительной опорой и конституции и общего права, могло бы подвести и под партию кадет «социальную базу», покончить с иллюзией, что они представляют собой какой-то рыцарский орден «интеллигенции», чем некоторые из них до сих пор утешаются.

Аграрную кадетскую программу невозможно понять, если ее отделять от момента, когда она появилась, т. е. от острого периода войны с Самодержавием. Тогда она имела главной целью привлечь крестьян на сторону «освободительного движения»; для этого она заимствовала у революционеров популярные лозунги, которые бродили в народе, и которые формулировали работавшие среди крестьян демагоги. Громадное большинство кадет эту программу не принимало всерьез, выдавало векселя, по которым платить полностью не собиралось. В «Воспоминаниях» Крыжановский привел такой отзыв Муромцева о «принудительном отчуждении»*):

«Муромцев утверждал, что в среде самой кадетской партии никто, кроме крайних теоретиков, и не смотрит на проект как на меру, подлежащую немедленному осуществлению, что при некотором искусстве можно было бы растянуть осуществление его лет на тридцать, а то и более и что важно сохранить лишь принцип, как способ успокоения масс, воображающих, что этим способом можно обеспечить землю каждому крестьянину».

Конечно, кадетам пришлось бы придумывать, как сочетать их «партийную программу», «аграрное обращение» 1-ой Думы, заключавшее в себе обещание, что все законы, не согласные с отчуж-

*) С. Е. Крыжановский, — Воспоминания, стр. 89.

дением, будут кадетами **отклоняться**, — с более скромными, но за то практическими и законными мерами Столыпина; но в «сочетании противоречий» и состояло всегда главное мастерство этой партии.

Для 2-ой же Думы вопрос стоял проще. «Принудительного отчуждения» Столыпину бояться не приходилось; для этого был бы нужен новый закон, которого Государственный Совет не пропустил бы. А что касается до мер по 87 статье, уже проведенных, т. е. до совершившейся передачи земель Крестьянскому Банку для распродажи крестьянам, то что значило бы «отменить» эту меру? Вернуть эти земли в «казенные ведомства»? Не продавать их крестьянам? Но крестьянство уже знало, что эти земли для них. Они в Думе предъявляли запрос, почему с распродажей их медлят? Почему переселения на них не организуются? Эта невозможность была одной из причин их возражений против пользования статьей 87 в этом вопросе. Дума не могла решиться просто на просто **отменить** эти меры. Роспуск на этой почве — крестьянского сочувствия к ней не привлек бы, и это она хорошо понимала.

Потому даже и в этой специальной группе законов правительству нельзя было серьезно опасаться принципиального противодействия Думы; не говорю уже о том, что до решения этого вопроса не дошли еще даже в Комиссиях.

* *
*

Коснусь последней группы законов, а именно законодательных мер, уже осуществленных по 87 ст. Основных Законов. Законы внесенные в Думу для их закрепления, находились в **особенном** положении.

Когда Столыпин, приглашая общественных деятелей в свой кабинет, указывал, что хочет использовать 87 ст. для удовлетворения некоторых потребностей населения, а они возражали, что он не имеет права этого делать без Думы, я в этом разномыслии был согласен со Столыпиным (Глава V). Я не мог ему ставить в вину, что он не хотел дожидаться созыва Думы. Но пользуясь выгодами, которые эта статья правительству давала, он шел и на риск. Он должен был учитывать настроение будущей Думы. Если она законов его не одобрит, введенные им меры падут. Неудобство этого порядка было правительством испытано в 4-ой Думе, которая не захотела одобрить закона о Министерстве Народного Здравия, уже созданного им по этой статье.

У всего есть оборотная сторона. Ст. 87 давала правительству большие права **в ущерб** будущей Думы. Но когда использовавши это право, правительство Думу собрало, оно могло или, как с военно-полевыми судами, само от некоторых временных мер отказаться, и дать им упасть, или мириться с тем, что их обсуждение будет

протекать в **особых** условиях. Если Дума внесенному закону сочувствовала, она могла с рассмотрением его не торопиться; **он все равно уже действовал.** Так было с законом 5-го октября 1906 года о крестьянском равноправии, который не был рассмотрен до 1916 года. Более того. Если у нее могло быть опасение, что Гос. Совет его может отвергнуть, Думе было выгоднее **совсем его не** рассматривать. Государственный Совет приведен был бы этим к бессилию. Он закона бы и не увидал и лишить его силы не смог бы. В этом было правовое преимущество Думы над 2-ой Палатой, на что я указывал в своей книге «Власть и общественность» (т. III, стр. 593). Это не все. Дума могла использовать особенность подобных законов, чтобы навязать Гос. Совету такие поправки, на которые в обычных условиях он мог **не** пойти. Если он поправок Думы не принимал, он рисковал, что Дума отвергнет весь закон и тогда уже осуществленная мера падет. В 1916 г. Дума по моему докладу рассматривала закон 5-го октября 1906 г. о крестьянском равноправии, который десять лет уже действовал; понимая, что правительство не согласится на падение такого закона по несогласию с его улучшениями, я вводил в него много поправок, которые Гос. Совету пришлось бы принять, чтобы не взять уже **на себя** ответственность за провал всей принятой меры. Конечно, был предел такому давлению. Приведу пример. При рассмотрении этого закона кадетами была внесена поправка о распространении равноправия и на евреев; я, как докладчик, против нее возражал и она была Думой отвергнута. Это был совершенно новый, не сословный вопрос и нельзя было рисковать **в интересах самих же евреев,** чтобы из-за них были бы отняты те права у крестьян, которыми они уже десять лет пользовались.

Но эти преимущества, которые Дума имела, обратились бы против нее, если осуществленная мера была бы приемлема для нее только при **известных поправках,** т. е. если бы без этих поправок, по ее мнению, было бы предпочтительно все оставить по старому. Если Дума примет закон со своими поправками, она свое преимущество этим теряет; стоит тогда уже Государственному Совету его не рассматривать, и мера в **прежней** редакции, **без принятых Думой поправок,** будет оставаться в силе столько времени, сколько уже 2-ой Палате будет угодно. И потому в этом случае у Думы оставался один только исход: отвергнуть самый переход к постатейному чтению и этим сразу весь закон уничтожить. Пускай правительство вновь вносит его со своими поправками уже в общем порядке.

Это необходимо иметь в виду, чтобы оценить отношение Думы к этим законам.

По 87 ст. было проведено за междудумье много законов; громадная часть их, действительно, удовлетворяла желания населе-

ния. Как придирчиво Дума к ним ни относилась, когда 20 апреля все такие законы оказались внесенными, и фракции стали выискивать, которые из них можно сразу отвергнуть, таких нашлось только четыре. Они и были рассмотрены в заседании 21, 22-го мая, отвергнуты и принятые раньше меры действие свое прекратили. Об отвержении двух таких мер специально упомянул Манифест; Дума, сказано в нем, «не остановилась даже перед отклонением законов, каравших открытое восхваление преступлений и сугубо наказывавших сеятелей смуты в войсках». Такое изложение фактов совершенно несправедливо.

Эти отвергнутые Думой законы, не относились к тем, которые предназначались Столыпиным для удовлетворения потребностей «населения». Ни одна группа населения **в них** заинтересована не была. Их характер другой. Они удовлетворяли только «потребностям власти». Но власть по собственной вине придала этим законам такую негодную форму, что Дума имела полное право за нею не следовать.

Возьмем законопроект о «восхвалении преступлений». Ответственность за «восхваление» преступлений была давно установлена ст. 133 Уг. Улож., которое правительство в силу еще не ввело, хотя соседняя ст. 132 была введена. Это доказывало, что правительство в 133-ей статье не очень нуждалось. Но 24 декабря 1906 года, по 87 ст., ее ввели в измененной редакции, причем эта новая ее редакция между другими недостатками. приводила к абсурду; восхваление преступлений по ней могло бы караться **строже**, чем само преступление. Это 18-го мая наглядно показал Кузьмин-Караваев. Он привел курьезный пример. «Лицо, которое в деревне занимается прививанием оспы без разрешения, подвергается максимальному наказанию в 3 руб. штрафа; газетный же корреспондент, который его за это похвалит, по новому закону может быть посажен в тюрьму на 8 месяцев». В заседании 20-го мая сам Щегловитов признал, что это возражение он считает «весьма обоснованным и веским»; он находил, что «в новом законе следует для аналогичных случаев включить соответствующую оговорку». В нормальных условиях такой поправки было бы, конечно, достаточно. Но докладчик Пергамент ему справедливо ответил, что при 87 статье это значило бы закрепить на **неопределенное время** ту меру, которую само правительство считает **несправедливой**. Стоило Гос. Совету замедлить ее обсуждение, и мера продолжала бы действовать в прежнем виде уже при попустительстве Думы. Чтобы проводить подобные меры в таком экстраординарном порядке, по крайней мере нужно было таких дефектов в редакции их не допускать; а если они оказались, не обвинять Думу за то, будто она разрешила «восхваление преступлений». От 2-ой Думы нельзя было ни требовать, ни ожидать, чтобы она стала существовавшее положение еще ухудшать.

Возьму второй пример Манифеста: отклонение закона «сугубо наказывавшего сеятелей смуты в войсках». Этот закон, изданный 18-го августа 1905 г., был отклонен 22-го мая по докладу Кузьмина-Караваева. Отмечу мимоходом, что в защиту принципиального усиления наказаний за эти преступления сказал тогда превосходную речь В. В. Шульгин. Сам докладчик возражал не против усиления карательной санкции, а только против проектированной этим законом передачи, одновременно с этим, всех таких преступлений военным судам. Одобрение этого закона означало бы, что впредь все законы, карающие за эти преступления, как в отношении процессуальном, так и в материальном, в силу ст. 96, 97 Осн. Законов, были бы изъяты из компетенции Думы. Как могла бы Дума согласиться на такое умаление? Военный прокурор защищал закон только тем, что и военный суд есть все-таки «суд» и что изъятие дел от гражданских судов «не есть принципиальное недоверие к ним». Представитель Министра Юстиции признавал недостатки закона, но объяснял, что именно эти **недостатки** причина того, что закон был издан не как закон постоянный, а только как «временная мера». Этого его «заявления» было достаточно, чтобы Дума имела моральное право закона вовсе не принимать. Утверждение, будто закон этот **временный** потому, что срок действия его не означен, есть только фраза; временность меры, изданной по 87 статье, заключается в том, что Дума при внесении его может отвергнуть. Если же она его утвердит, хотя бы с поправками, эту возможность она навсегда потеряет. Такой ответственности в данном случае она на себя взять не могла. И притом правительству этого не было нужно. По ст. 17 Полож. об охране, всякое преступление и без того может быть передано «военным судам». С правовой точки зрения мы эту статью осуждали, но правительство неуклонно ей пользовалось. Потому оно могло и без содействия Думы своей цели достигнуть **этим** путем. И по какой бы причине правительство этого ни просмотрело, обвинять Думу в нежелании «бороться с сеянием смуты в войсках» права оно не имело.

Было еще два закона, введенных по той же статье, о которых Манифест не упомянул, так как ничего против Думы из этого вывести было нельзя. Первый — о порядке отбывания службы в войсках для «поднадзорных» и второй — о праве полиции налагать на арестантов «предохранительные связки».

В первом, введенном в действие 6-го ноября 1906 г., отбывание воинской повинности **отсрочивалось** для тех, кто был «приведен к формальному дознанию», или «находился под гласным надзором полиции». Докладчик, к.-д. Аджемов, предлагал его отклонить; Лыкошин, представитель Мин. Внутр. Дел, его защищал. Что было бы целесообразнее? Устранять ли временно подозрительные элементы из армии, чтобы они ее не испортили, но тогда и призы-

вать на их место других, или рассчитывать, что служба в армии их исправит? Роли здесь переменились. Левые (с.-д. Зурабов, Серов, и труд. Березин) возражали против недопущения в армию «поднадзорных», как против их «правоограничения», хотя именно они должны были бы не быть равнодушны к положению в войсках человека, заклейменного гласным надзором полиции. А правительство и правые, желая защитить армию от нежелательного элемента, делали этим льготу для «поднадзорных». Караулов, казак, вскрыл фальшь в аргументах и левых и правительства:

> «Та партия, которая заявляла, что ни одного солдата не давать, та партия не смеет обсуждать закона, касающегося армии вообще. Раз вы говорите, что вы армии не признаете, постоянной армии, то об улучшении ее не можете и хлопотать. . . .
>
> . . . .
>
> . . . Но, в то-же время, не право и министерство; внося такой законопроект, оно должно действительно оградить армию от внесения в нее «революционного элемента». Но такими ли законами ограждают? . . . .
>
> . . . .
>
> . . . Всякому ясно, господа, что когда приходится бороться с опасностью, то каждый из нас предпочитает бороться с опасностью видимой, а не с опасностью скрытой. Это делает в данном случае министерство. Оно старается скрыть эту опасность от своих глаз, — оно не пускает тех в армию, кто ясен, как враг, а пускает, кто умеет прикрыться. (Обращаясь к министрам). Ведь самых злейших то вы пропустите».

Кузьмин-Караваев к этим доводам присоединился и закон был 21-го мая отвергнут. Какой же **политический** вывод против Второй Думы можно было бы из этого сделать?

Последний закон этого рода, 30-го сентября 1906 г., давал право наложения «предохранительных связок» на арестантов вне тюремного здания для предупреждения от побегов. И прежде правительство имело право налагать кандалы по ст. 140 Устава о ссыльных, но в этом праве были изъятия и по роду преступлений и по личности арестованных (возраст, пол и сословие). Правительство вместо тяжелых кандалов, вводило теперь легкие связки, но за то их распространяло на всех, во имя принципа равенства. Но самое право наложения их вне тюремного здания, предоставляло по новому закону уже **полиции**. Нежелание расширять применение этой меры, недоверие к полиции, к ее справедливости и тактичности, заставило и этот закон отклонить, по докладу Тесленко. Это был первый доклад, который исходил от комиссии «неприкосновенности личности»; от нее было трудно ожидать другого отношения к «пре-

дохранительным связкам». Нельзя было серьезно выдавать этот закон за желание осуществить Манифест и ограждать неприкосновенность человеческой личности.

***

Чтобы покончить обзор законодательной деятельности Думы, остается сказать два слова о законопроектах ее инициативы. Они во 2-ой Думе играли совершенно второстепенную роль. Сама Дума их к сердцу не принимала, сдавала в комиссию, как материал, или оставляла лежать без движения. Они были обыкновенно отголосками старых настроений 1905 г. и 1906 г.

Так 9-го марта был внесен законопроект об амнистии. 19-го марта об отмене смертной казни. 20-го марта об изменении бюджетных правил. 22-го марта об отмене исключительных положений. 10-го апреля об автономии Польши. 17-го апреля об избирательном законе. 18-го мая об отмене ограничений в правах, связанных с национальностью или вероисповеданием. 18-го мая о собраниях и союзах. Были еще аграрные проекты всех думских фракций, законопроект об приказчичьем отдыхе, о рабочем вопросе. Учреждение о Думе дало право каждым тридцати депутатам вносить в Думу свой законопроект; это они и делали. Но ни Дума, ни авторы закона не верили, что из них что-либо выйдет. Их сдавали в комиссии и они в них оставались лежать, чтобы не мешать думской работе.

Было только два закона думской инициативы, которые дошли **до обсуждения** в общем собрании Думы; ни от того, ни от другого практической пользы не ждали. О первом я уже говорил в VIII главе. Это военно-полевые суды. Второй — амнистия; о нем речь будет дальше.

Если подвести общий итог законодательной работе 2-ой Гос. Думы, то придется повторить то, что я сказал в начале этой главы: он был не блестящ. Но Дума была распущена в момент, когда ее законодательная работа, наконец, началась; только 18-го мая было приступлено к обсуждению мелких законов, а 28-го мая — крупной реформы о местном суде. Думе над законами дали работать всего **две недели**, и немудрено, что результаты этой работы страна не почувствовала.

Но для самой Думы даже эта работа прошла **не бесследно** и свое воспитательное влияние на нее стала оказывать. Говорю не о технических улучшениях процедуры, которые сделал Наказ, и которые без перемен существовали и **в 3-й и 4-й Думах**; я имею в виду создание **иной политической атмосферы**, о поверке жизнью прежних партийных позиций. В законодательной области, на практическом деле, в работе Комиссий, началось воспитание Думы, из-

менение партийных отношений друг к другу, образование «рабочего большинства», вместо придуманной лидерами, нежизненной «объединенной оппозиции». Работа открывала глаза партийным работникам с большей убедительностью, чем их затемняли руководящие статьи их газет. Если это сказывалось при обсуждении «вермишели» то насколько полнее мы бы это увидели, когда очередь, наконец, дошла бы до тех важных и серьезных законов, которых все ожидали, и за судьбой которых следили. Если рыба **гниет** с головы, то «оздоровление» у нас начиналось **с низу.**

ГЛАВА XI.

Контроль Думы за управлением.

Второй после законодательства деловой функцией Думы был **контроль** за «закономерностью» управления. Может показаться странным: как могла правительство «контролировать» та Дума, которую готовы были распустить на первом предлоге и которая, зная это, выставила лозунг: «Думу беречь?» Поучительно сопоставить именно эту сторону деятельности 2-ой Государственной Думы и Первой. Первая ничего не опасалась. Свое **законное** право запроса она могла с полным успехом использовать. А именно **она** его прекратила в ничто.

Веря в свое всемогущество, 1-ая Дума прибегала к запросам почти ежедневно. За 70 дней предъявила их больше 300; запрашивала обо всем, что вздумалось, не стесняясь законом; считала «незаконным» все, что противоречило ее желаниям. Все запросы предъявляла единогласно; после ответа так же единогласно выражала правительству порицание, или требовала его отставки. А в результате не только все оставалось попрежнему, но запросы перестали интересовать и правительство, и печать, и самое Думу. Они превратились в игру, иллюстрацию полного бессилия Думы.

В этом, конечно, депутаты винили не себя, а закон; запросы де были без санкций. Министерство, потерявшее доверие Думы, не выходило в отставку. Это было наивно. При парламентаризме **особой** санкции для запроса не нужно. Но раз конституция **дуалистична**, и Министры ответственны перед одним Государем (ст. 10, 17 Осн. Законов), нельзя было требовать для запросов **исключения** из этого правила. Было последовательно, что при разномыслии Думы с правительством, Дума могла, если хотела, только апеллировать к Государю (ст. 60 Учр. Гос. Думы). В «Воспоминаниях» Крыжановский ей вменяет в вину, что она «ни в одном случае не захотела дать запросам это последствие, а ограничивалась суждениями, рассчитанными на возбуждение общественного мнения»*). Это — необдуманная обмолвка со стороны редактора нашей «кон-

*) С. Е. Крыжановский, — Воспоминания, стр. 35.

ституции». Именно лойяльность к Монарху должна была бы потребовать, чтобы **его лично** в эти **споры** не вмешивали. Недаром единственное предложение о доведении мнения Думы до Государя вышло в Гос. Думе от левых, а **не от монархических партий.** Причины своего предложения левые и не скрывали. В заседании 17-го мая Дельянов сказал:

> «В наших интересах, чтобы отношение Гос. Думы к запросу было рассмотрено Верховной Властью; мы узнаем тогда, как Верховная Власть относится к представителям народа (аплодисменты слева)».

У запроса был свой громадный смысл **вне апелляции** к Государю. Он не в том, чтобы сообщить что-то Министру; для этого не зачем было бы привлекать к запросу целую Думу; достаточно было бы письма депутата или личных его переговоров с Министром. Смысл запроса был в том, что он обеспечивал за Думой право **публичного обсуждения** действия власти и обязывал правительство ей **отвечать.** В этом заключалась и санкция. Крыжановский напрасно иронизирует «над суждениями, рассчитанными на возбуждение общественного мнения». Такое суждение — элементарное право народного представительства там, где оно вообще допускается. Дума была очень недальновидна, когда такого права не дооценивала лишь потому, что у ее постановлений не было **санкции** в виде обязательной **отставки министра.** Пусть это ее конституционное право было в таком виде сродни с простой свободой печати и слова. Свобода печати и слова — великая сила. Недаром с ней не мирились ни Самодержавие, ни его эпигоны, теперешние тоталитарные диктатуры. А, наконец, резонанс от думского обсуждения много громче газетных статей и речей на митингах.

Первая Дума была не права и в другом, в желании непременно иметь право запрашивать не только о незакономерности, но и о «нецелесообразности» действий правительства. Это вообще было желательно и в свое время пришло бы. Но, во-первых, неуважение к **законному праву** людей было самым характерным свойством старого порядка, которое хотели воскресить в тоталитарных режимах с их «едиными партиями». С **этим** всего более надо было бороться. Во-вторых, обличать беззакония легче, чем простые ошибки. Беззаконие доказуемо более объективно, чем вопрос о «целесообразности». Дума же и с этим еще не умела справляться. Как школа новых отношений власти и общества, запрос, как он был в нашей конституции установлен, отвечал своему назначению.

Злоупотребление запросами в 1-ой Думе до такой степени значение их подорвало, что сам Манифест о роспуске, перечисляя вины Первой Думы, относительно запросов ограничился только ту-

манным намеком, что она «уклонялась в непринадлежащую ей область расследования действий властей». Но пример 1-ой Думы Вторую кое-чему научил. Она пошла другой дорогой: свое законное право запросов старалась использовать полностью, но не выходя за пределы его. Она этим вернула запросам их смысл; но это ей не далось без борьбы.

В отличие от законодательства, именно запросы открывали легкую возможность увлечься демагогией и стараться поднимать «революционные настроения» в населении. Это было большим соблазном для тех, кто от революционной идеологии не освободился; и две противоположных тенденции Думы сталкивались всего чаще именно на этой почве. Конституционное большинство в конце концов оказалось сильнее; это как будто признал сам Манифест, распустивший 2-ую Думу; при всей своей несправедливости, за запросы он обвинял не всю Думу, а только ее «значительную часть», которая будто бы превращала «запросы в возбуждение к правительству недоверия, в широких слоях населения». Этого ее стремления нельзя отрицать. Но большинство Думы старалось упорядочить и эту сторону ее деятельности и в этом успело.

Практика обеих Дум показала, в чем была главная слабость думских запросов. В Первой Думе, прежде всего, в слишком большом их числе, т. е. в мелочности фактических поводов к ним, отчего Дума была ими затоплена, а на обсуждение их у нее времени не было. Далее, в приведении недостоверных, а иногда ложных фактических данных; в признании «незакономерности» там, где все происходило согласно закона; в злоупотреблении красноречием в том первоначальном периоде обсуждения, когда нет еще ответа правительства, и потому отсутствует «altera pars»; наконец, в принятии Думой после ответа Министра необоснованных и неубедительных тенденциозных постановлений. Как было с этим бороться? Конституция позволяла каждым 30 человекам свой запрос в Думу вносить и его в ней поддерживать. Вторая Дума должна была выдумывать меры, чтобы от наводнения запросами себя оградить. Это она и стала делать с первых же дней.

Во-первых, она сразу создала «Комиссию по запросам», которая послужила фильтром, чтобы избавлять Думу от необдуманных и недостоверных запросов. Такая Комиссия существовала и в 1-ой Думе, но там обыкновенно к ней не прибегали. Большинство запросов принималось, как «спешные», следовательно без комиссионного обсуждения. Во 2-ой Думе на все 30 с лишним запросов спешными были признаны только 6; остальные все были сданы в Комиссию, и в громадном большинстве оттуда не вышли. Для иллюстрации думского отношения к спешным запросам, приведу первый по времени запрос о Сигове.

Он был предъявлен уже 9-го марта, как спешный. В нем го-

ворилось, что Сигов и Ершов — депутаты Пермской губ., были «без повода» избиты полицией при отъезде из их родного города в Думу; к запросу были приложены медицинские свидетельства и протоколы свидетельских показаний. Только 16-го марта началось его обсуждение. К.-д. Гессен предложил ранее его обсуждения учредить «Комиссию по запросам». Сигов просил слова и следующим образом осветил «происшествие». Когда он выезжал в Петербург, на него набросились стражники и избили его. Всё это будто бы было «подстроено» властью. Он подал жалобу прокурору, но для расследования приехал прокурор и жандармские офицеры; в результате чего не только Сигов и Ершов привлечены были к суду, но и целый ряд лиц подвергнуты были административным взысканиям. Свою речь Сигов закончил такой тирадой:

> «Русский народ облек нас своим доверием. Вот почему я настаиваю на удовлетворении; именем народа призываю министерство к ответу, именем народа я прошу Государственную Думу назначить следственную комиссию для привлечения к суду всех лиц, причастных к преступному посягательству на нас, избранников, не исключая и главы министерства» .

Это был стиль 1-ой Думы. Сейчас после этой речи Сигова выступил Министр Юстиции. Ссылаясь на донесение Прокурора, он изложил фактическую сторону дела совершенно иначе; по его словам, при отъезде Сигова было устроено в Городской Думе собрание, без соблюдения правил и без уведомления власти; Сигов огласил на нем Наказ избирателей, в котором говорилось о замене армии — ополчением, об экспроприации частной собственности и созыве Учр. Собрания. Туда явилась полиция и предложила всем разойтись. Толпа вышла на улицу и двигалась с пением революционных песен, Варшавянки, Марсельезы, Дубинушки. Навстречу им были посланы стражники, уговаривавшие толпу разойтись; Сигов и Ершов подстрекали ее не бояться; тогда толпу разогнали силой, причем при схватке Сигов пострадал. Теперь дело было в производстве судебного следователя и надо ждать оценки суда.

Аналогичный запрос был сделан в Первой Думе, когда полиция нанесла побои Седельникову. Запрос был внесен на другой же день после события. Прослушав Седельникова, Столыпин сказал, что ему дело было доложено иначе и что он ничего не может сказать, не проверив. Тогда на это ему ответил Аладьин, что «конституционный принцип не позволяет сомневаться в словах депутата» и что, если что-либо подобное повторится, «ни один Министр с трибуны ни одного слова не скажет». Запрос немедленно и единогласно был принят.

Вторая поступила не так. Она постановила раньше всего со-

здать «Комиссию по запросам» и передать в нее дело Сигова. В ней оно и застряло. Правые депутаты потом стали на это ссылаться, как на доказательство того, что фактическая сторона в запросах не всегда бывает изложена правильно. Только 22-го мая — 32 члена Думы вспомнили о деле Сигова и просили Комиссию поторопиться. Председатель им объяснил, что Комиссия дала свое заключение и что 24-го мая оно будет на повестку поставлено. Этого не было сделано и до роспуска запрос Сигова не обсуждался. Я не могу вспомнить всех подробностей дела; помню только, что Комиссия не хотела публичным обсуждением «конфузить» Сигова.

Комиссия по Наказу сделала еще шаг в защиту Думы от желающих делать запросы. Она опасалась избытка речей, которые могли оказаться плодами легковерия, поспешности и даже недостаточной добросовестности. Она предлагала все речи приурочить к моменту ответа Министра. Число же речей по вопросу о срочности и о принятии запроса по существу предлагала ограничить только двумя. Этот параграф Наказа обсуждался 8-го мая; практика уже успела к этому времени показать, что главный спор, действительно, начинается после ответа Министра. Предложеніе Комиссии по Наказу, кроме докладчика, защищали кадеты — Гессен, Пергамент, даже трудовики — Березин и Караваев. Возражали, конечно, соц.-демократы; Мандельберг говорил: «Со всей энергией мы должны протестовать против попытки уменьшить значение обсуждения запросов, которую делает Комиссия. Запрос есть серьезнейшее орудие в наших руках и те ограничения, которые вносит депутат Маклаков, грозят громаднейшей опасностью». Соц.-революционеры и народн. социалисты внесли компромиссное предложение: допустить только две речи по вопросу о спешности, но сохранить общий порядок для существа. Так и было постановлено Думой. Цель была этим хотя отчасти достигнута; превращение прений о срочности в прения по существу было этим избегнуто. После двух речей запрос попадал уже в первый фильтр, т. е. в Комиссию по запросам; если он оттуда выходил благополучно, для прений по существу был всегда материал, кроме фантазии самих интерпеллянтов.

Таковы были процессуальные нормы, которыми Комиссия по Наказу стремилась избавить Думу от потери времени, от излишеств ее красноречия; достигнуть всего Наказом было нельзя; остальное зависело от самих ораторов, от Председателя и от отношения Думы.

Небезынтересно на отдельных примерах иллюстрировать практику и удачных, и неудачных запросов. Как пример запроса удачного, я возьму запрос о Гершельмане. Это — не мое личное мнение. На этот запрос во 2-ой Думе ссылались всегда, говоря о смысле запросов. Сам Муромцев в «Парламентской неделе» «Права» № 14

(1907 г.), рассматривая предъявленные почти одновременно два запроса, писал:

«Если запрос с.-демократов о Рижских застенках может служить примером того, как не следует делать запросов, то запрос деп. Маклакова о действиях Гершельмана может служить превосходным образцом того, как их следует делать, как следует использовать право запроса».

Я потому этими противоположными примерами и воспользуюсь.

В запросе о Гершельмане я принужден говорить о себе; я был одновременно «первым подписавшим» его и докладчиком «Комиссии по запросам»; в качестве такового имел первое и последнее слово. На мою личную долю пришлись поэтому **похвалы** за запрос. Но я должен признать, что я же был лично повинен и в том, что запрос мог оказаться погубленным.

Запрос был связан с военно-полевыми судами. Одной из особенностей их был запрет всяких обжалований; **приговор исполнялся немедленно.** Ошибки — неизбежные при неподготовленности случайных судей, были непоправимы. И тем не менее, 28-го ноября газеты сообщили, что приговор военно-полевого суда, приговоривший четырех человек (бр. Кабловых и бр. Тараканниковых) к вечной каторге, был **отменен** Ген. Губернатором Гершельманом и что другой состав суда, рассмотрев то же самое дело, приговорил всех к **повешению** и приговор был исполнен. Об этом случае в № 45 «Права» была специальная статья. Это было явное беззаконие.

Когда обсуждался законопроект об отмене этих судов, я в своей речи упомянул этот случай, назвал дату и имена, и предупредил, что мы об этом предъявим запрос. Столыпин мельком тогда возразил, что «это нарекание голословно, до сих пор не обосновано и что на него отвечать преждевременно». В виду нашей победы в вопросе об этих судах, я колебался возвращаться к этому делу. Но приехав в Москву, я на журфиксе у председателя Окружного Суда Н. В. Давыдова встретил генерала В. Н. Иваненко, военного судью, которого за мягкость Главный Военный Прокурор Павлов тогда не успел еще «затравить». Потом его все-таки «съели» и он перешел в адвокатуру. Он спрашивал, когда же будет запрос о Гершельмане (об этом было в газетах); узнав, что я колебался, рассказал при всех подкладку этого дела. Она будто бы была такова. Четыре пожилых крестьянина, приехав в Москву, встретили своего земляка, служившего городовым; зазвали его с собой, угостили и выпили. Он ушел, а они оставались. Потом совсем уже пьяные опять его встретили, звали снова с собой, а когда он отказался итти, вступили с ним в драку; в этой драке один из них лопатой рассек ему кожу над глазом. Их предали военно-полевому суду. Когда судьи вместо ре-

волюционеров увидали перед собой четырех бородачей, которые истово крестились, садясь на скамью подсудимых, и поняли, что они должны будут их приговорить к смертной казни, они не смогли; много часов совещались, как быть, и приговорили их к каторге. Этот-то приговор отменил Гершельман и они были повешены.

Этот красочный рассказ взволновал всех гостей у Давыдова. Я спрашивал, откуда он это знает? «От состава обоих судов; да и военные судьи **все** это знают, и с нетерпением ожидают запроса». Я вернулся на другой день в Петербург; рассказал об этом во фракции и мы решили запрос предъявить. О сообщенной мне фактической стороне в тексте запроса мы, к счастью, не говорили ни слова; запрашивали только о том, почему приговор военно-полевого суда **был отменен** Гершельманом. Этого было достаточно. Превышение власти было только **в этом**, а не в жестокости самого приговора.

Чтобы дать другим хороший пример, мы для нашего запроса «срочности» не «заявили»; но Комиссия по запросам сразу его приняла в том самом виде, как он был внесен, и меня избрала докладчиком; запрос слушался 3-го апреля.

Поддерживая запрос, я, по настоянию запросной Комиссии, повторил в своей речи рассказ Иваненко. Но я и тут был осторожен; сообщил это только, как слух, в существовании которого видел неизбежное последствие таинственной обстановки военно-полевых судов. Я говорил так:

> «Я слишком осторожен, чтобы не допускать возможности ошибки. Молва ошибается, молва часто преувеличивает. Может быть, здесь что-то не так, и я скажу господину Председателю Совета Министров, что если он придет на эту трибуну и скажет, что это неверно, что это неточно, что эта молва только продукт закрытых дверей, что здесь не было такого вопиющего злоупотребления властью, то я первый буду счастлив поверить ему . . .
>
> . . . .
>
> . . . Дума сделает этот запрос, сделает его в глубоком сознании, что это явное превышение власти, сделанное человеком, находящимся у всех на виду, человеком, который стоит во главе управления и которому сейчас чрезвычайная и усиленная охрана дают дискреционную власть над населением, что такое правонарушение, бессмысленное и ненужное, есть тот общественный соблазн, который сильнее всякой революционной пропаганды подрывает доверие и уважение к власти, подтачивает мирное течение государственной жизни гораздо больше, чем та крамола, которую они хотят уничтожить своим беззаконием».

Свою речь я кончил словами:

«Министр Внутренних Дел сказал нам в тот день, когда читал декларацию: правительство будет приветствовать всякое разоблачение злоупотреблений. Дума свой долг исполнила; она это разоблачение сделала, она указала на то, о чем просило правительство. Дума будет ждать, что и правительство исполнит свой долг».

Запрос был принят единогласно, хотя с.-д. Алексинский не придумал ничего лучшего, как заявить, что он:

«Несогласен с тою постановкою вопроса, которую сделал здесь представитель конституционно-демократической партии. Он говорит: это вопрос о незакономерном действии, о превышении власти . . . .

. . . это не есть превышение власти, это есть пользование тою самою властью, которая сейчас существует в России. Вот о характере этой власти, о содержании ее, мы и вносим запрос; не о превышении власти, а о пользовании той властью, которая существует в данный момент в самодержавной России».

Такое «исправление» запроса могло бы многих от него оттолкнуть. Но бытовая сторона была так красноречива, что возражать против запроса никто не решился. Общее возмущение вызывало, конечно, не столько формальное превышение власти, сколько состоявшаяся благодаря нему бессмысленная казнь четырех человек. Это подчеркивали газеты самого различного направления. Впечатление от запроса было большое.

Но прошло несколько дней и я получил из Москвы письмо от старого одноклассника по гимназии; он выражал удовольствие, что запрос был предъявлен, но сожалел, что фактическую сторону я исказил; казненные не были земляками городового, были молодыми людьми, а не почтенными бородачами, а главное, городовой умер от ран. Мой товарищ опасался, что своей неточностью я «выпускал» Гершельмана; мне смогут ответить, что «ничего подобного не было».

В последнем он заблуждался; запрос был не в фактичекой стороне преступления. Но моя ошибка открывала правительству возможность дешевой диверсии; она могла кроме того показаться с моей стороны приемом партийной нечестности. Я бы, может быть, отошел от запроса и снял свою подпись, если бы это не могло быть понято, как «признание» в сознательной лжи.

Скоро стали доходить слухи из «противного» лагеря. Главный Воен. Прокурор Рыльке считал запрос правильным; но Столыпин не позволял признать вину Гершельмана. Военный Министр тогда решил выступить сам и только просил более опытных для публичного спора министров Внутр. Дел и Юстиции перед Думой его поддержать.

30-го апреля заседание по существу состоялось. Столыпин сам не пришел; его заменил А. А. Макаров. Военный Министр Ридигер начал с исправления «фактической стороны» дела. Подсудимые и их жертва не были земляками; городовой Скребков — был Орловской губ., Кабловы — Московской, Тараканниковы — Владимирской губернии. По свидетельству врача, который делал перевязку городовому, от него «не пахло вином», у него была не «рассечена кожа», а нанесено в голову три «тяжких раны», от которых он через несколько дней после суда и скончался. А по существу объяснил, что суд состоялся по словесному приказанию Гершельмана раньше, чем оно было оформлено приказом по Округу. В приговоре не было указано статьи, по какой были обвинены подсудимые; потому произошло «непризнание законной силы за приговором, поставленным с нарушением закона», что он, Военный Министр, считает правильным и отвечающим обстоятельствам дела.

Я, как докладчик, ему отвечал. Фактическая сторона, после исправления Ридигера, все-таки осталась неясной: где же были мотивы убийства? Почему это исследование, не пахло ли от жертвы вином? Невольно казалось, что рассказ Иваненко, хотя и неточный, не вовсе лишен основания*). Но раз я был все же неправ, я ни в какой мере оправдывать себя не хотел. Я сказал:

> «Я начну с того, чем следует начинать всякий спор — указанием на то, в чем я считаю правым противника. Здесь было указано, что сведения, которые я сообщил Государственной Думе, были неточны, и прежде всего потому, что раны были тяжелее, и что злополучный городовой действительно умер от ран . . .
> . . . Я признаю, что у военного министра больше сведений, чем у меня, больше средств узнать правду от лиц, которые могли ее знать, но так как я все-таки в этом отношении оказался неправым — то все упреки по моему адресу сочту вполне заслуженными».

Но моя ошибка ничего не меняла. Дело было не в этом. Фактическая сторона преступления запроса совсем не касалась и в нем изложена не была. Запрос был не в ней, а в том, что Гершельман «отменил» приговор, и важны не причины, по которым он себе это позволил, а то, что он не имел права на это. А это никем не опровергнуто. И я говорил:

> «Каковы бы ни были мотивы генерала Гершельмана, отменил ли он приговор оттого, что хотел более строгого, или отто-

*) Я потом пенял самому Иваненко за то, что он сообщил мне неверные данные. Он признавал ошибку в том, что городовой уже после казни подсудимых умер и сам. Но продолжал настаивать, что преступление было дракой по пьяному делу, а не террористическим актом.

го, что, по его мнению, здесь была нарушена форма, присвоил ли он себе сам апелляционные или кассационные функции, для нас безразлично; важно, что он это сделал, важно, что превышение власти им совершено. Ведь эти люди, кто бы они ни были, простые ли пьяницы или политические преступники, эти люди, с того момента, когда над ними состоялся приговор суда, с того момента, когда именем Императорского Величества им было объявлено, что они посылаются в каторжные работы, эти люди находились под охраной закона; если эти люди погибли, то они погибли не жертвою правосудия, а жертвою совершенного над ними преступления — превышения власти».

И я упрекал правительство в измене своим же словам:

«Правительство сказало, когда читалась его декларация, что приветствует открытое разоблачение злоупотреблений. Так будьте последовательны. Если вы приветствуете разоблачение преступления только затем, чтобы потом выступать с его апологией, если у нас введена гласность только для того, чтобы страна видела, что есть нечто сильнее закона, то это плохая политика; это не политика умиротворения, это политика бессознательной провокации». (Бурные аплодисменты слева и в центре).

И я показывал в конце, как мало Дума от Министров хотела.

«Тот, кто применяет закон только тогда, когда он этого хочет, когда это не мешает интересам сильного, авторитетного или даже просто имеющего большие заслуги лица, тот лучше пусть изорвет свою декларацию. . . . . . .

. . .Я знаю, что перед ними правительство может оказаться бессильным, но я скажу вам: если вы не хотите, чтобы эти последыши абсолютизма погубили и вас с вашими программами, то если даже вы не можете справиться с ними, если вы пред ними бессильны, то по крайней мере не защищайте их с этой трибуны». (Бурные аплодисменты слева и в центре; крики «браво).

На этом можно было бы кончить. Позиции определились. Но Щегловитов пришел поддержать Военное Министерство. Он оказал ему медвежью услугу. Как судебный деятель, он хотел с большим эффектом, чем это сделал Военный Министр, «использовать» мою фактическую ошибку.

«Когда правительство получило возможность заявить о фактической неверности этой картины, когда здесь, с этой трибуны,

было заявлено, что упрек этот признается заслуженным, и когда от фактической стороны не осталось ничего, что подтверждало бы (смех слева и центра; шиканье) нарисованную раньше картину, тогда перешли уже в область юридического спора и в этом юридическом споре не только поспешили объявить, что генерал Гершельман совершил преступление, но пошли гораздо дальше и сказали правительству, что оно провозглашает апологию преступления (голоса: правильно, верно), что правительство занимается политикой бессознательной провокации (голоса: сознательной)».

Это было слишком явной диверсией и извращением хода запроса. Но что по существу сказал Щегловитов? Это стыдно цитировать:

«Удостоверяю перед Государственной Думой, что резолюция генерала Гершельмана не содержит в себе слов: «отменяю приговор военно-полевого суда» (Смех, шиканье слева и центра). Господа, повторяю вам еще раз, что в резолюции того, что приписывают здесь генералу Гершельману, не содержится. Не можем и не имеем мы права приписывать генералу Гершельману то, чего он не сделал. Генерал Гершельман положил резолюцию «об оставлении приговора без исполнения».

Такой детский аргумент со стороны Генерал-Прокурора граничил с скандалом. Он естественно открыл серию новых речей — Кузьмина-Караваева, Демьянова, Булата, Гессена, Ширского, даже священника Тихвинского. Но coup de grâce правительству нанес другой его непрошенный защитник — А. А. Макаров.

Он выставил новое положение: Гершельман не только ничего не «отменял», но и не оставил ничего «без исполнения». Просто не было приговора; постановление суда, которое ему было представлено, нельзя называть «приговором», ибо оно «исходило от учреждения, юридически еще не существовавшего». (Смех и шум). Но вслед за этим Макаров пустился в дешевую демагогию. Он стал защищать память городового:

«С тяжелым чувством слушал я слова, которые описывали действия покойного городового Скребкова в несчастный для него вечер 26-го ноября. Он изображался должностным лицом, которое в этот вечер пьянствовало вместе с обвиняемыми и засим участвовало в драке, повлекшей за собой причинение ему тяжелых повреждений. Это неправильно. Это неправда. Городовой Скребков, маленький служащий, заступиться за которого некому. (Смех). . . . . . .

. . . «Если вы не находите возможным поддерживать их мужество вашим авторитетным словом, пощадите, по крайне мере, их память».

В заключительной речи я упрекнул Макарова, что вместо защиты Гершельмана, он взял на себя более легкую задачу защищать городового, на которого никто не нападал; отметил противоречия между Ридигером, Щегловитовым и Макаровым, которые не столковались, и кончил словами: «Так бывает всегда, когда защищают неправое дело».

Ни один из правых депутатов за правительство не заступился. Все молчали. Лишь когда Гессен упомянул о **четырех** жертвах этого дела, Бобринский с места напомнил: «а пятый — городовой».

Было представлено несколько формул перехода. Слева (с.-р. и н.-с.) было предложено дать делу ход в порядке ст. 60 Ул. Гос. Думы. Как всегда, кадеты против этого возражали, и предложение было отвергнуто. Тогда при **воздержании соц.-демократов,** недовольных **мягкостью** формулы, была принята кадетская формула; она устанавливала незакономерность действий Гершельмана, которая требует судебного рассмотрения, не могущего быть замененным представленным гг. Министрами оправданием.

Так прошел этот **удачный** запрос. Можно спросить, в чем же была удача его, раз Министр не только не вышел в отставку, но сама Дума этого и не требовала? А тем не менее, запрос достиг своей цели. Факт беззакония не новый, о нем раньше уже оповестили газеты, был оглашен со всей исключительной оглаской **думской трибуны.** Власть его не смогла **отрицать.** Она должна была публично или признать «беззаконие» или как то его объяснить и оправдать. Оправдать его прямыми доводами было нельзя; правительство не решалось сослаться «на государственную необходимость», как это любил делать Столыпин; в данном конкретном случае говорить о необходимости для государства «превышения власти» было нельзя. Власть не посмела и признать правды, т. е. что действия Гершельмана были несогласны с законом. Она принуждена была поэтому унизиться до лжи, до софизмов, до демагогии, до «крокодиловых слез» о Скребкове, и до разъяснений Щегловитова, что приговор вовсе не был отменен, а **только** «оставлен без исполнения». Этим она сама себя публично осудила. Ни один голос не поднялся в защиту правительства. После публичной экзекуции, Министрам было стыдно друг перед другом, перед своими сторонниками в Думе, перед подчиненными, как Ридигеру перед своим Прокурором — Рыльке. В правде есть объективная убедительность, которую иногда должны признавать даже противники; такие факты, как беззаконие Гершельмана, могут проходить незаметно, и оставаться покрытыми тайной. Запрос его обнажил —

и в этом была его заслуга, как вообще сила запросов и гласности. Эту гласность отнять у страны было нельзя, пока была Дума.

Перехожу к другому запросу, противоположному.

Этот запрос о «Рижских застенках» был внесен с.-демократической фракцией 2-го апреля. В нем излагалось:

«31-го марта в центральной Рижской тюрьме произошло столкновение между тюремной стражей и заключенными, в результате чего 7 заключенных было убито и несколько ранено... Прикосновенные к столкновению предаются военно-полевому суду для расстрела без суда и следствия».

Подписавшие предлагали предъявить Совету Министров срочный запрос — какие меры приняты для предотвращения казни невиновных?

Эт уже стиль 1-ой Думы. Происшествие, конечно, печально, но в чем «незакономерные действия»? Если было «столкновение» арестантов со стражей и в ход была пущена военная сила, в этом незакономерности нет. Нет незакономерности и в предании военно-полевому суду, который пока еще существовал. А слова о расстреле «невиновных военно-полевым судом без суда» похоже на неудачное «остроумие». Да и приговаривали эти суды не к расстрелу, а к висилице.

Запрос упоминал в своей описательной части, что «столкновение» было вызвано «невозможным тюремным режимом и пытками в арестных домах и сыскных отделениях», но ни одного случая этого рода указано не было и установить связь между ними и «столкновением» — не было даже попытки.

Запрос был предъявлен, конечно, как «спешный». Тут вышел первый конфуз. Несколько депутатов, боясь опоздать, в тот же день от себя послали телеграмму Прибалтийскому Генерал-Губернатору с просьбой военно-полевой суд **отложить.** 3-го апреля началось обсуждение спешности. Родичев взял на себя непопулярную задачу против нее **возражать,** указывая, что в настоящем его виде запрос необоснован и что адресован он неправильно «Совету Министров». Озоль, Джапаридзе, Булат негодовали на «подобные» формальные возражения в деле, где «рука палача уже поднята». Но произошла неожиданность: Кузьмину-Караваеву подали телеграмму от Прибалтийского Генерал-Губернатора, в ответ на посланную телеграфную просьбу суд отложить. Она была помечена тем же днем 12 ч. 33 м. — и гласила:

«Уведомляю ваше превосходительство, в Риге не было повода предавать военно-полевому суду ни 74, ни 7, ни 4 человек. Спасать пока некого. Меллер-Закомельский».

Так главная опасность уже миновала; более того, **в прежней своей формулировке** о суде запрос стал **беспредметным.** Это не помешало Алексинскому сопоставить телеграмму Генерал-Губернатора с телеграммой, которую Озоль получил от «прогрессивных выборщиков г. Риги». В ней, между прочим, объяснялось, что «заключенные сделали в субботу попытку устроить побег, но встретили сопротивление тюремной охраны и предаются военно-полевому суду». «Кузьмин-Караваев, — иронизировал Алексинский, — имеет право верить Генерал-Губернатору Меллер-Закомельскому; мы же имеем право верить прогрессивным выборщикам города Риги (аплодисменты слева) и потому мы настаиваем, чтобы запрос был признан **срочным».** Но это уже становилось балаганом. Не буду прений описывать. Церетелли от срочности отказался и запрос сдали в Комиссию, предоставив ей три дня на заключение. К сроку она не поспела, два раз просила отсрочки и доклад ее стал слушаться только 10-го апреля.

Это был второй момент этого дела. Доклад Комиссии был напечатан и роздан. В нем сообщалось, что «Комиссия занялась исследованием тех материалов, которые были ей доставлены интерпелянтами и проверкой их, **насколько это было в ее власти».** К сожалению, не было сказано ни единого слова ни о том, **что** это за материал и **как** Комиссия могла его **проверять?** Все эти материалы, говорила Комиссия, установили наличность не «единичных фактов», а целого ряда их, которые показывали, что «в Прибалтийском крае стали применяться страшнейшие пытки и истязания, чтобы доставить данные, необходимые для разгрома революционеров». Докладчик Пергамент прочитал обвинительный акт Комиссии, занимавший 17 столбцов стенографического отчета, описывавший пытки, которым подвергались многие десятки лиц, начиная с 1905 года. Дума слушала с ужасом. Что был мой рассказ о повешенных четырех земляках в сравнении с часовым истязанием нервов тем бесстрастным голосом докладчика, который только увеличивал впечатление! И Пергамент кончил такими словами:

> «Если представитель власти придет сюда на эту трибуну и скажет Государственной Думе и докажет, что все то, что здесь изложено — «сплошная ложь», то я уверен, что у каждого из нас вырвется из груди с благодарностью вздох облегчения; я уверен, что если правительство придет и докажет нам, что эти кровавые призраки, только призраки, то Государственная Дума будет вполне удовлетворена. Пусть же представитель власти, не прикрываясь месячным сроком, поспешит сюда на эту трибуну и скажет Государственной Думе, что эти сведения неверны».

Интерпелянты это удовлетворение получили немедленно. Пра-

вительство не спряталось за месячный срок, не стало даже ожидать, чтобы запрос сначала был Думою принят. А. А. Макаров сам разделял общее впечатление ужаса:

> «Запрос, — говорил он, — заключает в себе тягчайшее, серьезнейшее обвинение по отношению к чинам полиции. В виду этого, Министр Внутренних Дел, не желая пользоваться месячным сроком для ответа на этот запрос, предположил сделать по этому поводу те разъяснения, которыми он в настоящее время располагает . . . .
>
> . . .Кроме того, запрос этот заключает в себе перечисление нескольких десятков возмутительнейших случаев злоупотреблений властью; но он отпечатан только вчера и, конечно, я не имею никакой возможности отвечать вам по поводу того или другого случая, потому что в течение менее суток Министерство Внутренних Дел не могло собрать тех сведений, которые доказывали бы или опровергали единичные случаи истязаний, в настоящем запросе заключающиеся».

И он сообщил, что когда еще раньше в русской и заграничной печати начались сообщения о пытках в прибалтийских губерниях, Министр Внутренних Дел командировал туда Директора Департамента Полиции Трусевича, который установил, что хотя газетные сообщения и преувеличены, но отдельные **насилия и побои**, действительно, **были**; причиной этого, будто бы, была не только дикость нравов, но озлобление, вызванное гражданской войной, которая там бушевала. Тогда Министр Внутренних Дел предписал Генерал-Губернатору дать законный ход этому делу и результаты расследования передать суду. Остается теперь ждать ответа суда.

С своей стороны Товарищ Министра Юстиции Люце выступил с разъяснением о первоначальном главном предмете запроса, т. е. о «столкновении арестованных со стражей в Рижской центральной тюрьме». В докладе Комиссии по запросам указывалось, будто **ближайшим** поводом к нему была ругань, которую позволил себе надзиратель Соколовский по адресу заключенных и удар, который одному из них, Бокабергу, был нанесен. Заключенные будто бы **после этого** отняли у Соколовского ружье, обезоружили четырех прибежавших солдат и стали отстреливаться против остальных этими отнятыми ружьями; в результате 7 человек было убито. Такова была версия Комиссии по запросам; Люце же излагал это совершенно иначе. Арестованными был задуман побег; они сами вошли в камеру надзирателя, стали его душить, отобрали ключи и револьвер; потом напали на караульное помещение, где было 8 солдат, отобрали у 4-х ружья; остальных солдат заперли и отстреливались пока на выручку не явилась рота солдат другого полка, вызван-

ная по тревоге. Версия о «побеге», как видно, совпадала с оглашенной Алексинским в Думе телеграммой «выборщиков» города Риги. Об этом и происходило сейчас предварительное следствие.

В следующем заседании 13-го апреля, стали высказываться правые; они насилий не извиняли. «Если бы все то, что здесь говорилось, заявил Пуришкевич, было правдой, жизнь в России была бы совсем невозможна».. «Но если и есть зерно истины в каждом запросе, то в общем они бывают не только преувеличены, но часто и ложны. Вспомните дело Сигова»... Шидловский предложил прения пока прекратить:

> «Я совершенно не понимаю цели всех сегодняшних словопрений, ведь сколько мы ни будем стараться, более ужасной картины физических истязаний, чем та, которую спокойным тоном, доказывавшим, что сам докладчик ни одному слову своего доклада не верит, представил председатель Комиссии по запросам, мы не сумеем нарисовать; ведь все эти словопрения во всяком случае приведут в конце концов к запросу правительству. . .
> . . .«По моему мнению, чем скорее будет сделан этот запрос, тем лучше, для того, чтобы в том случае, если эти ужасы подтвердятся, все должностные лица, чинившие эти безобразия, были немедленно преданы суду. Но если Государственная Дума возмущается против физических истязаний, то она в праве и по моему мнению должна еще в большей мере возмущаться нравственной пыткой и истязаниями. Поэтому я присоединяюсь к тем членам Государственной Думы, которые требуют, чтобы был сделан запрос».

Здесь было главное различие этого запроса от Гершельмановского. Там факт — отмены приговора — был бесспорен; разномыслие заключалось в оценке его. Здесь же правительство отрицало самые факты, которые лежали в основе запроса, и не было возможности бесспорно их установить.

Этой возможности не было потому, что обе стороны друг другу не верили. Запрос, как и Гершельмановский, касался приемов открытой войны, которую между собою вели революционеры и власть. Никто не верит коммюнике воюющих стран; в них не только все лгут, сколько возможно, но эту ложь считают своим долгом. Когда в Гершельмановском деле правительство отвергало отдельные подробности моего изложения, я мог с ним не спорить; для запроса это не было важно; я мог строить его на том, что само правительство **признавало.** Но что делать в тех случаях, когда **весь** смысл запроса в **фактической** стороне, которую, однако, установить мы **не** можем? Когда **без нее** нет **запроса?** Тогда можно, конечно, запрашивать, **но ответу приходится верить,** пока ложности его до-

казать мы не сможем, и во всяком случае интерпелянт, который на своей версии будет настаивать, должен по меньшей мере открыть, **откуда** он получил свои сведения. Об этих **источниках** сведений Министр Юстиции и спрашивал в Думе. Но Пергамент занял другую позицию; он заявил: «Дума может спрашивать доказательств у представителей власти, а представитель власти **не в праве** их требовать». Стенографический отчет отмечает: «буря аплодисментов». Тем хуже для Думы. Это — перевернутый «старый» режим. Такой претензией Дума подрывала доверие не только к своему беспристрастию, но даже к своей добросовестности.

Интерпелянты стали настаивать на посылке членов Думы на место; это не могло быть серьезно. Чтобы дать им возможность «расследовать», нужно было сначала провести новый закон, иначе расследование было бы простым собиранием слухов из неизвестных источников; какая была бы цена думским расследованиям, если не признавать за правительством права ни требовать у них доказательств того, что они утверждают, ни даже указания на то, откуда они свои утверждения черпают?

В этом пункте было сильно правительство; но оно было неправо, когда стало доказывать, что ответ на запрос уже **дан** и что оно к нему ничего **прибавить** не может. Раз Думою были указаны конкретные факты, на них было нужно ответить, хотя бы **их отрицанием.** И Дума правильно дала правительству заслуженный урок, **приняв единогласно запрос.**

Через месяц, 17-го мая, Министры ответили и получили реванш. Они за это время сделали, что было нужно. Министр Юстиции ответил о действиях судебного ведомства. Чтобы проверить то, что говорилось в запросе, он командировал в Ригу Товарища Обер-Прокурора Руадзе, который произвел там расследование; он признал обвинения, взведенные Комиссией на Прокурорский надзор, ложными; что же касается до тех 6 конкретных случаев, которые были приведены в тексте запроса и касались не прокурорского надзора, а **тюремных** властей, то по проверке и они оказались вполне искаженными: Щегловитов справедливо жалел, что интерпелянты не указали источника, который их ввел в заблуждение. Но этот источник им самим открыт был на месте. В том самом искаженном виде, в каком свои утверждения привела Комиссия по запросам, еще раньше 31-го марта, т. е. раньше столкновения в Рижской тюрьме, они уже были помещены в **прокламации социал-демократической партии в Риге.** Вот **откуда** все они были взяты. И ответ свой Министр Юстиции заключил словами, что «незакономерные действия, приписываемые чинам Министерства Юстиции, вполне опровергнуты».

Потом отвечал Макаров от Министерства Внутренних Дел. Его Министерство тоже произвело расследование и тоже жаловалось,

что расследование было затруднено отсутствием доказательств со стороны инерпелянтов; Макаров указывал, что не оказалось возможности допросить даже всех потерпевших; одни уже были осуждены, другие уехали за-границу, третьи скрылись. Некоторые из приведенных в запросе многочисленных фактов оказались неверными; другие были очень преувеличены. Но все же Макарову пришлось признать, что для запроса **основания** были. Если не было «истязаний и пыток», то при допросах иногда происходили «побои». В связи с этим в Прибалтийских губерниях и было уже возбуждено против полицейских чинов **42 дела.** В объяснение их Макаров напоминал, что в Лифляндской и Курляндской губерниях за два года было совершено 1.148 террористических акта: более половины их пало на войска и полицию. И Макаров кончал такими словами:

> «Некоторые из чинов этой самой полиции провинились; они не смогли проявить при этих обстоятельствах того хладнокровия, которое требуется для закономерного исполнения ими возложенных на них служебных обязанностей. Действия этих чинов составляют ныне предмет судебного расследования и пусть беспристрастный и справедливый суд скажет о них свое решающее слово; мы же, отводя каждому общественному явлению подобающее ему место, должны признать, что незакономерные действия полиции в Прибалтийском крае не вызывались лишь отсутствием у этих чинов понятия закономерности, но что главным условием их неправильных действий является совокупность тех, совершенно исключительных обстоятельств, которые в общей их сложности представляются опять все тем же раздирающим нашу родину возмутительным, кровавым бредом, громко называющим себя «революцией».

И этот запрос таким образом своей **цели** достиг. Оглашение в нем указанных фактов получило больше огласки и веса, чем в прокламациях соц.-демократической партии. Оно повлекло публичное осуждение Министерством подобных приемов, назначение специальных расследований, допрос потерпевших и т. п. служебные «неприятности». Можно было бояться, что расследование будет производиться пристрастно, с желанием скрыть, а не раскрыть преступления. Бороться с этим злом нужно было реформой юстиции, допущением защитников на предварительном следствии, реформой административных расследований, т. е. новыми законодательными мерами, направленными к торжеству правового порядка. Запрос о Рижских застенках со всеми преувеличениями и ошибками, которые обеими сторонами были допущены, давали для этого **поучительный** материал. Он доказывал, что в полицейских

и сыскных отделениях не все благополучно. Министерство признало, что преступления были, что они продолжались два года, пока не дошли до заграничных газет и не было возбуждено против низших чинов сразу 42 дела. Было ли это нормально? Что же смотрело раньше не только начальство, но и прокурорский надзор? Почему же отвечать опять только «стрелочникам»? И какие меры приняло сейчас Министерство, чтобы пресловутое «озлобление» против террора не превращалось в **такие** формы допросов? На этой почве можно было бы найти не только согласие в Думе, но и ее взаимное понимание с властью.

К сожалению интерпелянты не захотели довольствоваться **таким** результатом. Они сообщениями Министерств продолжали просто **не верить.** Доверие — вопрос субъективной оценки. Большинство голосов Думы в таком **споре** ничего не доказывает. Дума не суд; для суда создана фикция, будто судебное решение — правда. Этой фикции для парламентов нет. Их постановления определяют **волю** собрания, а не объективную **правду.** В области установления фактов Дума была **бессильна.** Она свой долг исполнила, когда запросила Министра. Но делать выводы из своего доверия или недоверия к полученному, на это ответу, значило присваивать себе **неподходящую роль.**

И как будто затем, чтобы ясней иллюстрировать это, запрос окончился совсем неожиданно. Нормально он завершается мотивированной формулой перехода, которая выражает мнение Думы. Таких формул было предложено 8. Они голосовались одна за другой и **все** поочереди были отвергнуты. Таким образом, сама Дума не бралась установить, **где** была настоящая правда. Запрос кончался полным конфузом. Этого интерпелянты допустить не хотели. По правилу, после того, как голосование началось, никаких новых предложений не допускается и на голосование не ставится (ст. 139 Наказа). Вопреки этому правилу, председательствующий трудовик Познанский, несмотря на протесты, после перерыва вновь поставил на голосование уже отвергнутую раньше формулу трудовиков, изменив в ней несколько слов, и эта формула, якобы, новая, вторично была принята, 184 голосами. Правые, умеренные, октябристы и даже кадеты от такого незаконного голосования воздержались*). Поскольку в деле запросов постановление Думы имеет значение только моральное, понятно, **каково** оно могло быть при таких условиях голосования.

---

*) Это второе беззаконие председателя Познанского (первым было исключение Шульгина по инициативе членов Думы), заставило и на этот раз внести на будущее время в Наказ специальную статью (§ 186): «Если ни одна из предложенных формул перехода не будет принята Государственной Думой, то председатель объявляет вопрос исчерпанным и переходит к следующему по очереди делу».

Справедливо будет прибавить, однако, что отвержение всех формул было вызвано не только разногласием в понимании **фактической** стороны этого дела, но еще более тем, что в прениях по запросу и в формулах перехода был затронут вопрос об «осуждении террора». Это затемнило вопрос и усилило разногласие. Об этом буду говорить специально в XIV главе этой книги.

В чем заключалась слабость этого второго запроса сравнительно с первым? Только в том, что его авторы хотели получить больше, чем было можно. Им было мало, что они смогли огласить «беззакония» и вызвать общее осуждение им, если бы они были **доказаны**; им было мало, что по **их инициативе** были произведены **два расследования**, которые в некоторой степени злоупотребления подтвердили. Они хотели, чтобы было признано, что факты были именно таковы, как они **утверждали**, чтобы верили на слово им. Когда при громе аплодисментов Пергамент заявил, что правительство спрашивать доказательств у Думы не может, он недалеко ушел от Аладьина, который находил в 1-ой Думе, что «конституционный принцип не позволял сомневаться в слове депутата». А когда явилась претензия установить правоту вотумом Думы, то за этим самомнением Дума сама не пошла. Так запрос кончился впустую, и свой кредит сам подорвал. Только в этом, а не в недостатке прав Думы, была слабость запроса.

Я подробно остановился на запросе о рижских застенках, чтобы не говорить о других аналогичных, например, об издевательствах над политическими каторжанами в Акатуйской и в Алгачинской тюрьмах. И там было разногласие в изложении фактов интерпелянтами и Министром Юстиции. И там по существу запросов речь касалась приемов войны двух лагерей — правительства и Революции. Как в настоящей войне, для суждения о приемах противников ценно мнение только тех, кто сам в войне не участвовал, так и в этих запросах мнение Думы было бы авторитетно в том случае, если бы она сама освободилась от психологии воюющего лагеря и стала бы на сторону «права». От этого громадное большинство депутатов были еще очень далеки. Отсюда страстность, но зато и малая **убедительность** подобных запросов; они убеждали только тех, кто и без них был убежден.

Там, где не было **этих** условий войны или где фактическая сторона не **возбуждала** сомнений, запросы протекали нормально и пользу свою приносили.

Возьму пример:

2-го апреля соц.-демократы внесли запрос о «беззакониях» карательного отряда в Озургетском уезде, наложившего на село Ланчхуты непомерный штраф в 45 тыс. рублей. 3-го апреля, согласно с речью Родичева, срочность отвергнута. 6-го апреля доклад Комиссии о запросе принят в измененной редакции. 24-го

мая — на запрос отвечает барон Нольде и доказывает, что никакого штрафа в 45 тыс. рублей на село Ланчхуты наложено не было. После речи Нольде, соц.-демократы не стали этого оспаривать, но заговорили совсем о другом: о предъявлении к селу Ланчхуты судебного иска за порубку леса, о вредности круговой поруки, о насилиях над женщинами, и т. д. Это так мало подтверждало первоначальный запрос, что депутат Шидловский не выдержал:

> «Я могу еще понять, что лица, подписавшие запрос, поданный 2-го апреля, могли ввести Государственную Думу в заблуждение, вследствие того, что они от местных жителей получили ложные сведения. Но я удивляюсь теперь тому, что члены Государственной Думы, после данного правительством объяснения, позволяют себе поддерживать ту ложь, которая была допущена жителями селения Ланчхуты . . . .
>
> . . . .Следовало бы предварить на будущее время членов Государственной Думы, что если будут повторяться подобные запросы, если Государственная Дума будет отвлекаться от той законодательной работы, которая на нее возложена — к этим членам Думы будет применяться 38 статья».

Это было уж крайностью. Но дело оказалось настолько разъяснено, что кадеты внесли **простую** формулу перехода; **она** и была принята. Дума показала этим больше уважения к правде, чем правительство в деле Гершельмана, за которого оно заступилось.

То-же можно сказать о запросах, которые не касались борьбы с «Революцией»; тогда у всех находился общий язык.

Возьму тоже пример:

17-го апреля обсуждался запрос к Главноуправляющему Земледелием и Землеустройством о неправомерных его действиях по переселению крестьян в Сибирь, «нарушавших права и насущнейший интерес старожилого населения». Депутаты сибиряки настаивали на срочности запроса в виду начала земледельческих работ. Он признан срочным и принят по существу. 24-го мая правительство на него отвечало. Правительству длинной и деловой речью возражал Скалозуб, депутат Тобольской губ. (20 столб. стен. от.). Он указывал определенные пожелания, в 7 пунктах, как руководящие начала для действий правительства. Но с.-дем. Мандельберг прибавил к этому трафаретное предложение: «Взять переселенческое дело в свои руки и для этого организовать парламентскую комиссию». Дума приняла формулу сибиряков, а предложение соц.-демократов даже не голосовала.

Упомяну еще о спешном запросе, за подписью 171 депутата, который был внесен и принят как срочный 15-го мая. В нем излагалось, что накануне 5 священников-депутатов были вызваны по-

вестками к Митрополиту Антонию, который объявил им Синодский Указ от 12-го мая; в силу него они должны были выйти из тех левых партий, в которых они состояли и об этом публично заявить. Они могли принадлежать только к монархическим, октябристам или умеренным правым партиям и выступать в Думе только в духе этих партий. Если это приказание не будет исполнено до 18-го мая, это поведет к лишению сана.

Это бесстыдное определение Синода явно нарушало законы — и ст. 14 Ул. Гос. Думы, и ст. 8 Закона 18-го марта 1906 г. — и препятствовало члену Думы исполнять свои обязанности. Оспаривать этого было нельзя. Только Епископ Евлогий сделал робкое возражение. «Я думаю, — сказал он, — что этот запрос касается области чисто церковной, имеет отношение к внутренней жизни церкви и не подлежит обсуждению Гос. Думы». Никто в защиту Синода не сказал ни единого слова, и запрос был принят. Ответить на него правительство не успело за роспуском Думы. Но одно оглашение этого синодского безобразия уже было его осуждением; запрос в данном случае своей цели достиг. В этом и было его назначение. К сожалению, не пришлось услышать, что правительство могло бы сказать. Конечно, действия Синода контролю Думы, по Основным Законам, не подлежали; но как же при этих условиях можно было бы поддерживать закон о гражданских последствиях лишения сана? Правительство и внесло законопроект об отмене этих последствий; он был принят 3-й Думой и Государственным Советом, но не был утвержден Государем. Это было назидательно, но это было позднее. Сама же Дума в этом деле долг свой исполнила, как надлежало.

Напомню, что и правые партии делали попытки во 2-ой Думе прибегнуть к запросам. Так 20-го марта 32 депутата внесли запрос из 4-х пунктов о беспорядках в средних и высших учебных заведениях; он кончался такой тирадой:

> «Министерство Народного Просвещения, поглощая значительное количество народных денег, подвергает серьезной опасности будущую народную жизнь, ибо при таком положении подрастающее поколение даст не полезных деятелей, а развращенных невежд, лишенных каких бы то ни было познаний и не привыкших вообще ни к какому полезному труду».

В доказательство своих утверждений была приложена записка В. М. Пуришкевича. Запрос, как неспешный, был сдан в Комиссию и оттуда не вышел. О нем авторы и не напоминали. Аналогичный запрос еще раньше (10-го марта) был предъявлен и обсуждаем в более подходящем для его содержания месте — в Гос. Совете, причем в результате была принята довольно безобидная

формула, выразившая доверие к мерам, которые будут приняты совместными усилиями академических советов и Министров. Такое сдержанное отношение Верхней Палаты охладило пыл правых.

По левому составу Думы, по ее сравнительно низкому культурному уровню было естественно предполагать, что работа Думы пойдет, главным образом, по дороге запросов. Критика легче, чем созидание, а Первая Дума в этой области соблазнительный пример подала. И Второй Думе было нетрудно найти много поводов, чтобы произносить обличительные речи, принимать резкие формулы переходов, а бесплодие подобных запросов объяснять отсутствием «санкций». Она сначала так и поступала. Но атмосфера ее была другая. Она убедилась на опыте, что поспешные и заносчивые запросы обращались против нее. Сообщаемые факты могли быть голословны и просто неверны. Помешать каждым 30 депутатам предъявлять запрос Дума не могла; это их право закон защищал. Она могла только злоупотребления **ограничить.** Это она и начала делать. Постепенно число их уменьшалось и самый характер их стал изменяться. Вместо 300 запросов в 1-ой Думе, их было около 30 во 2-ой. Они сводились к тем редким сравнительно случаям, когда беззакония власти были бесспорны (как в запросе о депутатах священниках), или когда, как в переселенческом деле, вели к полезному обсуждению **деловых** вопросов. Так запросы вернулись на конституционную почву и приобрели снова значение. Оно было бы еще гораздо полнее, если бы Дума усвоила не только букву, но и дух нашего конституционного строя. Его идея была в организации совместной работы «власти» с представителями нашей «общественности». Это сотрудничество было обоим полезно. Но прошлое не давало этому сразу наладиться. Когда-то «власть» общественности не признавала и требовала от нее подчинения. Теперь общественность стала на нее так же смотреть, и требовала от нее «послушания». Вместо же сотрудничества еще попрежнему продолжалась война. Но эти традиции во 2-ой Думе реальную почву под собою теряли. Бессмысленность лозунга «война до конца», при отсутствии соответственных сил, войска понимают раньше, чем плохие военачальники; отказ от сотрудничества с «исторической властью», до осуществления «полного народоправства» — соответствовал не интересам страны, а только претензиям «настоящих политиков». Опыт конституционой работы во 2-ой Гос. Думе и стал ее избавлять от этой предвзятости.

ГЛАВА XII.

Левые партии в Думе.

Деловая работа была не единственною заботою тех, кто хотел Думе успеха; надо было кроме того ограждать ее от «бомб», которые подкладывались под нее и справа и слева. Работа в Думе напоминала работу на судне, которое плывет среди минного поля. Защита от мин не меньше важна, чем ход самой работы.

Всем была ясна трудность положения думского **центра** между двумя крайними флангами. И Государь и Столыпин при первых встречах с Головиным оба обращали его внимание на **этот** вопрос. Он тогда обоим наивно ответил, будто единодушное избрание Председателя уже показало, что прочное большинство в Думе имеется.

Недостаточность этого довода он сам сознавал. Я помню один разговор, который был у меня с ним в Москве после выборов. Он был тогда оптимистом: «Дума не так плоха, как может казаться. Кадеты смогут проводить в ней свою линию. В Думе будет два большинства. По вопросам «тактики» мы будем голосовать вместе с правыми, по вопросам же «программы» с левыми».

Это мнение не было его личным мнением. В нем — отголоски суждений кружка, с которым Головин был тесно связан, и где тон давал Ф. Ф. Кокошкин. Такая схема подходила к уменью Кокошкина все «упрощать». Это легче делать в теории чем над живым организмом. Головину казалось нормальным, что те-же самые люди будут поочередно голосовать то **вместе**, то друг **против** друга, как это делают участники на спортивных турнирах, сообразно тому, куда их жребий поставит.

«Программа» и «тактика» более связаны, чем им казалось. Часто программа обусловливает тактику. Если в ней стоит установление «демократической республики» — то ее проведение в жизнь не может быть достигнуто легальными средствами; партия должна итти к ней **революционным** путем и тактику приспособливать к **этому.** Но и тактика иногда определяет программу, по крайней мере тех достижений, которые партия может ставить себе. И на настоящей войне **ближайшие** операционные цели определяются соотношением сил в данный момент. Реформы, которые Революция

может осуществить сразу и полностью, на путях легальной эволюции часто могут происходить только постепенно и медленно. Это кадеты на себе испытали. Когда для свержения Самодержавия они приняли участие в «Освободительном Движении» вместе с «революционными партиями», что было отличительной чертой этой эпохи и легло в основание «кадетизма» — то перспектива торжества Революции, на которую они тогда соглашались, позволила им свои отдаленные программные цели, т. е. полное народоправство, четыреххвостку, парламентаризм, переход всей земли в руки крестьян, ставить полностью на **ближайшую** очередь. Эта «тактика» и взорвала Первую Думу. Ее неудача для них оказалась наглядным уроком; надо было ее изменить и они действительно ее изменили. О «Революции» говорить перестали, собрались работать **на конституционном пути.** Головин правильно отметил, что **это** сближало их с **правыми.** Но тогда и на вопросы **программы** кадетам было нельзя смотреть глазами революционного **левого** большинства.

Связь между программой и тактикой не позволяла считать Вторую Думу работоспособной лишь потому, что при голосованиях у нее могло оказаться два противоположных большинства: одно для тактики, другое для программы. Дума могла стать рабочей и прочной только в том случае, если бы в ней образовалось хотя небольшое, но надежное большинство и для той и для другой. Если даже для этого кадетам пришлось бы сократить и замедлить свои программные планы, то это ничего не меняло бы; видеть в этом измену своим обещаниям было бы так же бессмысленно, как упрекать авангард, что он не взял в плен целую армию, или ребенка, что он растет недостаточно быстро. Решить итти только легальным путем, уже значило подчиняться условиям, которых **эта** тактика потребовала бы и в сфере **программы.** Жизненность 2-ой Думы вся зависела от того, **могло** ли в ней такое большинство появиться. Когда она свою жизнь начинала, у нее его еще не было. И поучительный факт. Когда его создать старались «вожди», оно им не давалось. Сколько труда и искусства, горячности и иронии было потрачено Милюковым в «Речи», в его полемике с партийными органами левых партий, в погоне за созданием прочного **левого** большинства. Лидеры партий старые аргументы свои повторяли и на уступки не шли. Но такое соглашение само собой стало достигаться внизу, в процессе работы, и тем легче, чем работники Думы были свободнее от директив, которые им давали вожди. Жизнь оказывалась сильнее теоретиков.

Конечно, для привлечения левых партий или отдельных их членов к конституционному большинству, обстоятельства были благоприятней, чем раньше. Слева теперь понимали, что эта Дума была самою левою, какую в то время себе было можно представить, что она была последнею ставкой их собственного участия в Думе:

при неудаче ее — государственного переворота, который бы надолго устранил их из Думы, избежать было нельзя. Потому слева выдвинули очередной лозунг: «Думу беречь».

«Беречь Думу» — не значило правительству **во всем** уступать. Нельзя было, например, для сохранения Думы — согласиться существовавшее политическое положение еще ухудшать. Но о таком ухудшении тогда не было речи. Законопроекты Столыпина, какими бы недостаточными они ни казались, все же положение **улучшали**. Потому на них сговориться было возможно.

Не все шли на это с **равной** готовностью. На левом фланге Думы сидела наиболее организованная фракция — соц.-демократы; они были воспитаны на международной социал-демократии и ставили перед собою не столько русскую, сколько мировую проблему. «Правового порядка», обеспечения «прав человека» **европейские** соц.-демократы уже не ценили. Ведь они это имели. Классическое народоправство, общее избирательное право, ответственное министерство, независимый от политики суд — в их глазах представлялись только обманом, благодаря которому социальные верхи властвуют над народными массами. Эти взгляды они перенесли на Россию. С «парламентским кретинизмом», с господством «буржуазии» надо было покончить революционным ударом, благо именно в России есть готовый для этого материал. «Беречь Думу» они не собирались. Укрепление конституционного строя в их план не входило; оно могло подорвать пафос, а потому и шанс Революции. В «Думе» они нашли только средство поднимать **революционное** настроение и организовывать крушение власти. Перед нею должна была стоять именно **эта** задача. Успех провового порядка, аграрная реформа Столыпина могли вырвать из под Революции почву, и потому их не соблазняли.

Эту точку зрения в день декларации и высказал Церетелли. Если бы все левые партии Думы **так** смотрели, Дума, как парламент, существовать не могла бы и с ней нечего бы было тянуть. Но другие, даже социалистические, революционные партии (трудовики, с.-р., нар. социалисты) не смотрели так прямолинейно. Они **хотели** Думу беречь, и от проведения хотя бы некоторых полезных для России реформ через Думу конституционным путем не отказывались. Здесь для них лежал путь к соглашению с центром. Знаменательно, что в первый период большевистской победы это **им всем** вменилось в вину. Одни «большевики» в этом отношении считали себя «без греха». За то они и оказались в неожиданном родстве с Самодержавием и его прежние слуги могли, оставаясь собою, с ними работать. Позиция же других левых партий напоминала двойственную позицию самих кадет в 1-ой Думе: они тоже качались между конституционным и революционным путем, стремясь «сочетать оба противоположные пафоса». По конкретным вопросам при голосованиях

в Думе, они решались итти вместе с кадетами. Но все ухищрения Милюкова превратить этот **факт** в прочное большинство*), чтобы «оно существовало также и сознательно, на почве состоявшихся соглашений» не удавались. Соглашениям обыкновенно мешают вожди, не солдаты. К счастью, депутаты не всегда своих лидеров слушали и урокам думского опыта стали верить больше, чем призывам партийных газет. Но обучение на этой дороге требовало более времени, чем было этой Думе судьбою отпущено.

**
*

Тем, кто считал думской задачей только поднимать революционное настроение, **в этом** было трудно мешать. Думская трибуна была в их распоряжении; воспрепятствовать возбуджающим предложениям и речам было нельзя. Но поучительно сопоставление. Первая Дума перед собою **этой** цели не ставила; напротив, она хотела укрепить, расширить свои полномочия. А между тем вся ее работа революционное настроение в стране так подняла, что население, как будто, забыло уроки забастовок, восстаний, погромов и репрессий. В массах опять росло возбуждение, напоминавшее 1905-ый год. Во Второй Думе было совершенно другое: **левая часть** Думы не верила в целесообразность конституционных путей, **старалась** это свое убеждение внушить населению, открыто звала его **на помощь себе**; но из этих стараний ничего не выходило. Настроение в стране, несмотря на такие призывы, не поднималось. Это отметил даже Коковцев, который выражал удивление: «Каким образом возмутительные думские речи не вызывали открытых революционных выступлений улицы?»**) Отсутствие «выступлений» можно было бы объяснить репрессивной энергией власти; но ведь не только не было «выступлений», а само революционное «настроение» продолжало итти постепенно **на убыль.** Потому и реакция страны на разгон 2-ой Думы, сопровождавшийся государственным переворотом, сужением избирательных прав и арестом целой соц.-демократической фракции, нельзя было сравнить с впечатлением от совершенно законного роспуска Первой.

Когда левые ораторы Второй Гос. Думы расточали свою революционную **фразеологию**, народ в ответ только «безмолвствовал». Он поучался не словами, а фактами. Первая Дума иллюстрировала «слабость государственной власти». Депутаты могли беспрепятственно и безнаказанно ее поносить; могли запрещать представителям ее говорить, гнать их с трибуны, требовать их увольнения. В глазах масс создалось впечатление, что правительство перед Думой **бессильно.** Близость победы поднимает дух у бойцов и плодит им

---

*) Передовая «Речи» — от 22-го мая.

**) Коковцев, — Из моего прошлого, стр. 285.

новых сторонников. Но это время теперь миновало. Когда была распущена Первая Дума, свое действительное бессилие перед властью показала уже **она.** Более никто уже не видел в Думе руководителя **революционным** движением. Жизненным фактом сделалось бессилие думских ораторов, когда они сходили с конституционных путей и надежды возлагали на Революцию. Таким речам могли **аплодировать,** но за ними **не следовали.** Чем дальше ораторы отходили от «конституционной дороги», чем горячее взывали к верховной «воле народа», тем нагляднее становилось, что Дума за ними не хочет итти, и что их призывы к стране не вызывают сочувствия.

Бесцельность таких выступлений, конечно, их устранить не могла. Революционные созвучия не исчезли в стране; кое-кому в ней подобные выступления нравились. Находились ораторы, которые на этой дороге искали личных успехов и популярности. Их речи не соблазняли, но не проходили бесследно для судьбы самой Думы. По старой памяти, власть их боялась. Враги Думы пользовались такими речами, чтобы дискредитировать Думу, ее Председателя и даже покровителя Думы — Столыпина. В «Красном Архиве» напечатана любопытная переписка Государя со Столыпиным по поводу довольно невинных и уже совершенно безвредных образчиков левого красноречия; она любопытна лишь тем, что показывает, какими пустяками имели время и охоту наверху тогда заниматься*). Революционное красноречие 2-ой Думы — область не политики, а стилистики, уровня культуры и воспитанности отдельных людей. Влияния на поведение и даже настроение населения подобные речи иметь не могли. Я и не буду о них говорить. Остановлюсь только на тех **предложениях,** которые левыми в Думу вносились, по которым сама Дума должна была вынести определенное **постановление,** т. е. сделать какой-то политический **акт.** Здесь могло происходить и происходило испытание ее собственной конституционной лойяльности. Такие предложения могли Думу взорвать и от них надо было ее оберегать.

**
*

Значительная доля таких предложений для Думы не представляла опасности и о них скоро забыли. Начались они с первого дня. В главе VII я рассказывал о предложениях создавать Комиссии, чтобы «кормить голодающих» или «бороться с безработицей», предоставляя им функции правительственной власти. Опасности для государства они не представляли; создание их было бы безрезультатной демонстрацией. Они не смогли бы ничего сделать без содействия власти. Достаточно было не обращать на них внимания, чтобы бессилие их обнаружилось. Но правительство так фило-

*) Красный Архив, т. 5, стр. 109.

софски-равнодушно на них не смотрело. Во-первых, они были все же попыткой «явочным порядком» захватывать власть, что напоминало «свежее предание» революционной эпохи. Во-вторых, при нескрываемом старании левых партий использовать Думу, чтобы население «революционизировать», такие комиссии, при непосредственном общении их с населением давали для этого и возможность и повод. Враги Думы не упускали случая обратить на это внимание Государя, и он сейчас же подчеркивал это Столыпину. Так он писал ему 31-го марта: «Газетные слухи о решении Комиссии о безработных (председатель Горбунов, а секретарь Алексинский) вступать в прямые сношения с рабочими также наводят на размышления»*).

Конечно, со стороны Комиссии все это было покушением с негодными средствами. «Исполнительная власть» никого из «посторонних» в помещение Думы не допускала. Переписка об этом Столыпина с Головиным, который в этом видел нарушение прав ему, как председателю, предоставленных, не привела ни к чему; если бы даже он был вполне прав по тексту законов, — что можно оспаривать — то фактическая власть была не у него. Создание думских **исполнительных** Комиссий, при таком соотношении сил, было бы одним балаганом. Если левые партии все же вносили свои предложения и иногда на них энергично настаивали, то у этого были мотивы иного порядка. Левые играли без проигрыша. Они надеялись, что другие партии не допустят образования подобных комиссий во имя «законности». Тогда они будут их обвинять в «несочувствии» голодающим и безработным, в том, что они **помешали** притти им на помощь. Если нельзя поднять в стране «революционного настроения», то можно, свести партийные счеты с «соперниками», и им «наложить». Это обычная тактика, которой при других обстоятельствах держались и сами кадеты, да и все «освободительное движение» по отношению к либеральным начинаниям **власти**.

Я не буду припоминать всех таких предложений, которые к концу так приелись, что на них уже не обращали внимания и даже иногда голосовать забывали. Все шло по шаблону. Так 12-го апреля было внесено предложение о назначении Комиссии для расследования действий властей по поводу запроса о Рижских застенках. 24-го мая — о «посылке такой же думской Комиссии в Озургетский уезд. Кутаисской губернии». Это были не бомбы, а простые шумихи которые перестали пугать. Перейду к подлинным бомбам.

**
*

Первая бомба была подложена под бюджетные прения. Они представляли исключительный интерес. В бюджете заключалось и

---

*) Красный Архив, т. 5.

очень реальное конституционное право Госуд. Думы и уязвимое место правительства. Правда, бюджетные правила, составленные таким знатоком дела, как Витте, приняли меры, чтобы обезвредить «враждебные» действия Думы и не позволить ей по произволу «остановить» жизнь государства. Но Дума все-таки получала возможность начать борьбу со злоупотреблениями власти конституционным путем. Она, по обыкновению, жаловалась на недостаточность прав, которые ей были даны; не мирилась с тем, что не могла просто **вычеркивать** расходов, основанных на «легальных титулах» (ст. 9), а должна была их изменять только в общем порядке (ст. 10). Она не ценила, какое громадное право даже **этим** она получала: оглашать, опротестовать и атаковывать архаические, иногда комические легальные титулы. Дума могла вынести на Божий свет много курьезов, о которых не подозревало общественное мнение, и которые само правительство публично защищать не решилось бы. Наконец, не были тайной недостатки финансовой нашей системы; преобладание косвенных налогов, в том числе таких, как винный налог, неравномерность прямого обложения, и такие льготы землевладельцам, которые были бы совсем неприличны, если бы не компенсировались хотя бы отчасти земским обложением. Все это было известно из литературы и публицистики. Но одно дело критика, другое практическая постройка бюджета на других основаниях. В этом отношении партии были беспомощны и винить их за это было нельзя; это превышало их подготовку. Но для критики рассмотрение первого бюджета давало такой материал и такой резонанс, которых еще никогда не бывало; недаром единственным сколько-нибудь серьезным доводом против слишком длинного междудумья была невозможность рассмотреть бюджет в законном порядке.

Потому то постановка бюджета перед 2-ой Гос. Думой стала «событием». Хотя по тексту закона бюджет тотчас сдается в «комиссию» для ознакомления с ним, Министр Финансов счел нужным выступить с длинной речью. Мемуары Коковцева сообщили, что его речь была не только прочтена в Совете Министров, но сообщена Государю. Естественно, что по ней должны были открыться и прения.

В Думе было мало людей готовых для них. Позднейшие бюджетные Комиссии Думы образовали кадры «специалистов», которые научились разбираться в бюджетных вопросах; в них были не только теоретики, как, например, бессменный председатель бюджетной Комиссии — Алексеенко, бывший профессор финансового права, но и те диллетанты, которые своими способностями, трудолюбием и добросовестностью, как Шингарев, овладели предметом. В эпоху 2-ой Думы они еще бродили впотьмах; более сведующие в финансовом отношени люди, как Струве, Булгаков, сосредоточили удары на недостаточности бюджетных прав Думы. Единственным

квалифицированным оппонентом Коковцеву предполагался, естественно, Кутлер*).

Кутлер был способный чиновник финансового ведомства, отставленный за «проект» о «принудительном отчуждении». Как «пострадавший», он был принят в кадетскую партию, и проведен в депутаты по Петербургу. Такой вольт-фас вызвал против него раздражение прежних его сослуживцев и ставил его самого в фальшивое положение, когда в Думе его противники оглашали бумаги прежнего времени, им когда-то подписанные. В своих «Воспоминаниях» Коковцев говорит о его перемене без злобы, но с изумлением. Разгадка ее в психологии Кутлера, как бюрократа, привыкшего следовать инструкциям, которые начальство дает. Он был только техником. Как раньше он добросовестно исполнял задания Министерства Финансов, так в Думе следовал директивам нашего Центрального Комитета, а после 1918 г. — указаниям большевиков. Он **всем** мог быть полезен, как техник. Но задача, которая 20-го марта выпала на его долю, была ему не по плечу. Кроме того, как бывает с людьми, перешедшими в лагерь противника, он не смог удержаться в разумных «пределах». Его выступления по бюджету не удались. Достаточно перечесть длинную речь Кутлера в заседании 20-го марта, реплику Коковцева и Столыпина, и главное ответную речь Кутлера 23-го марта, чтобы это увидеть. Неудивительно, что обрадовались те, кто боялись его выступления. Государь писал своей матери:**)

> «Престиж правительства высоко поднялся, благодаря речам Столыпина, а также Коковцева. С ними никто в Думе не может справиться. они говорят так умно и находчиво, а главное — одну правду. Кутлер — подлец, совсем провалился».

Что же придумали в этот ответственный и трудный для Думы момент ее левые партии? Они явились с предложением отвергнуть бюджет **без рассмотрения.** Такое предложение было сделано тремя социалистическими партиями: с.-демократами, с.-революционерами и народными социалистами.

С.-д. так формулировали заключительную часть своего предложения:

> «Государственная Дума, не желая брать на себя ответственность за финансовую политику правительства, отказывает в утверждении росписи государственных доходов и расходов на 1907 год без передачи ее в комиссию».

---

*) Жуковский и Стецкий выступили не без успеха по специальному вопросу о Польше.

**) Красный Архив, т. 22.

С.-р. не желая от них отставать внесли аналогичное предложение:

«Не желая предоставлять правительству средства для борьбы с народом и не желая поддерживать выгодное для правительства заблуждение, будто бы государственное хозяйство ведется под контролем народных представителей, предлагаем отвергнуть представленный законопроект о росписи доходов и расходов, не передавая его в Комиссию».

Наконец, нар. соц., в лице Волк-Карачевского, заявили, что «пока призрачность бюджетных прав Гос. Думы остается как есть... от утверждения сметы мы воздержимся».

Если бы Дума пошла за этими предложениями и отвергла бы бюджет, не передавая его даже в Комиссию, это не могло бы не повести за собою заслуженного роспуска. Ни о каком сотрудничестве такой Думы с правительством речи быть не могло бы. Дума уклонилась бы и от своего долга перед страной. Кутлер свою первую речь закончил справедливым указанием на долг народного представительства:

«Мы должны, наконец, подвергнуть весьма тщательной критике ту часть росписи, которая подлежит нашему свободному рассмотрению, и только тогда, когда мы все это сделаем, только тогда можно будет сказать, что мы исполнили долг народных представителей. От результатов же нашей работы будет зависеть решение вопроса о том, существует ли в действительности в России народное представительство».

Было, конечно, проще и легче отвергнуть все, не рассматривая, но такая Дума была бы ни на что не нужна.

Рекомендуемый Думе шаг был плохо совместим и с ее желанием **расширить** права народного представительства и с претензией одним своим вотумом вычеркивать расходы, основанные на существующих законах. Если Дума сочла бы себя в праве без рассмотрения отвергнуть весь бюджет целиком, она была бы, конечно, способна вычеркивать все те расходы, которые могли ей не нравиться: на полицию, на войско, на содержание нужных для государства властей, не интересуясь вопросом, чем и как их заменят. Предложение отвергнуть бюджет без сдачи в Комиссию носило поэтому несерьезный и попросту хулиганский характер. Как назвал Струве, это было бы «беспредметной бюджетной демонстрацией», не больше. Но в смысле возможных последствий оно было первой бомбой, подложенной под Думу.

Оно исходило, как я указывал, от трех социалистических партий;

трудовики в этом вопросе от них отделились, о чем 23-го марта сказал в своей речи Березин. Это было характерно, как признак отсутствия у всех левых общей обдуманной тактики.

Кадеты предложение отвергнуть бюджет, как неконституционное, энергично оспаривали. Стычки левых с кадетами приобретали порой острый характер. Алексинский утверждал, что

> «наилучшая тактика в бюджетном вопросе не та, которую предлагают Кутлер и Струве; их тактика сводится к пустому времяпровождению и объясняется желанием заключить, хотя бы и на невыгодных для народа условиях, соглашение со старым порядком».

С.-д. Зурабов по адресу кадет говорил:

> «Если вы не желаете под нашей резолюцией подписаться, если вы желаете непременно оказать доверие правительству, принявши его бюджет, то имейте тогда смелость сказать всей стране, что вы в стенах этой Думы ведете политическую игру за счет народа».

Это была передержка уже потому, что пока речь шла не о принятии бюджета, а только о предварительном его рассмотрении в Комиссии Думы. Струве упрекал соц.-демократов, что они внесли свое предложение.

> «в глубине души рассчитывая на то, что мы этого жеста не сделаем и дадим им возможность за это нас обличать в отсутствии демократизма. Это я называю политической игрой на чужой счет».

После 4-дневных прений, 27-го марта, передача бюджета в Комиссию состоялась большинством голосов. Правые голосовали вместе с кадетами, хотя отдельные их ораторы (третьего сорта), Келеповский и Крупенский, сочли уместным по этому поводу тоже обрушиться на кадет. Келеповский обвинял их в служении «капиталу» «вместе с тайным вдохновителем партии народной свободы, творцом Портсмутского договора, Витте», а Крупенский напал за «подписание ими грязной прокламации Выборгского воззвания»? Но ни Келеповский, ни Крупенский не были серьезными политиками: Келеповский в Думе был «хулиганом» правого лагеря, а Крупенский был на своем месте для устройства в Думе «парикмахерских», «банкетов» и других не политических предприятий. Он был отменно плохой спорщик и оратор.

Как бы то ни было, эта первая бомба левых не взорвалась.

Ее во время потушили. Но потому нельзя без изумления читать строк Манифеста о роспуске, посвященных бюджету:

«Медлительное рассмотрение Государственной Думой росписи государственной вызвало затруднение в своевременном удовлетворении многих насущных потребностей народных».

Эти слова не только неправда, они возлагают на Думу **чужую** вину. По закону (ст. 1 бюджетн. правил) все сметы на 1907 г. должны были быть внесены в Думу **не позднее 1 октября.** Никакой закон не мешал собрать Вторую Думу в нужное время. Можно не осуждать правительство, что оно не сделало этого; причины для этого были. Но это создало необходимость пребегать к ст. 14, т. е. к временному применению **предыдущей** росписи, несмотря на происходящие от этого неудобства. Возлагать же за это вину на **медлительность** Второй Гос. Думы, представляет такую неправду, которую стыдно было подносить к подписи Государю.

Гораздо более серьезна вышла вторая по времени бомба, связанная с законом о контингенте.

Эта бомба такого откровенно хулиганского характера, как бюджетная, не носила. Речь шла не об отказе в контингенте **без его рассмотрения,** как это предлагали с бюджетом; закон о контингенте был рассмотрен комиссией; практических последствий для обороны страны отказ в контингенте иметь бы не мог. Ст. 119 Осн. Зак. предоставляла Государю право, если новый закон, **при заблаговременном внесении** его в Гос. Думу, не будет издан до 1-го мая, призвать на службу необходимое число людей, «только не свыше призванных в прошлом году». Фактически контингент прошлого года был на 6.000 человек больше, чем тот, который испрашивался. С другой стороны, нельзя было не согласиться, что внесение в Думу законопроекта только 8-го апреля, когда 18-го апреля начинались пасхальные каникулы, и таким образом, предоставление на его рассмотрение всего 10 дней, — нельзя было добросовестно считать «заблаговременным его внесением». Внесение правительством законопроектов в Думу фактически началось с 6-го марта, т. е. более чем за месяц до 8-го апреля и Военный Министр должен был или поторопиться с своим контингентом, или взять на себя ответственность за сохранение контингента прошлого года. Словом, контингент мог бы быть Думой непринят и без того, чтобы это стало «конфликтом». Но когда мотивом отказа стали указывать **нежелание** дать **этому** правительству **военную силу** — такой отказ, очевидно, устранял возможность работы с подобною Думой. И тем не менее, на этот раз и трудовики и крестьянский союз пошли вместе с социалистическими партиями. От всей Комиссии, которая была за принятие контингента, докладчиком был Кузьмин-Караваев, но от ее меньшинства, которое стояло за его отвержение, был особый докладчик — трудовик Карташев. При таком настроении против

закона было обеспечено более 200 голосов; кадеты же вместе с правым флангом такого числа не достигали. Вопрос был бы решен «беспартийными» и прежде всего голосами польского кола. Это была дисциплинированная группа, которая голосовала, как один человек (их было 46), очень замкнутая, в намерения которой было трудно проникнуть. Все попытки частным образом разузнать, что они нам готовят, встречали неутешительный ответ, что они еще не решили. Если бы они стали голосовать **против** контингента, то противников его оказалось бы 250, то-есть уже несомненное большинство Гос. Думы. Так неожиданно и грозно был поставлен вопрос о дальнейшем ее существовании.

Заседание 16-го апреля (при закрытых дверях) открылось в очень повышенном настроении. Можно было опасаться, что оно будет последним заседанием Думы, что она добровольно сама себя распускает. За неделю до этого Головин имел аудиенцию, в которой Государь ему ставил в вину его излишнюю терпимость к резкостям отдельных ораторов, и потому старался теперь их предотвращать. Все это Думу нервировало. Когда Военный Министр, в общем благорасположенный к Думе, возражая против предложения упразднить «денщиков», сказал слишком громким, неожиданно сорвавшимся голосом, что об этом **не может быть речи,** Дума стала **шуметь.** Слышались голоса: «Здесь не казарма! Здесь народные представители и кричать нельзя». В своем ответе Министру деп. Гессен «выразил сожаление», что «тон, которым говорил Военный Министр, не соответствует достоинству Государственной Думы и только способствует излишнему раздражению». Это не было умышленно сделано. Военный Министр был сконфужен, и извинился перед Председателем, когда ему объяснили, в чем дело. Но это показывает общее ненормальное возбуждение.

Нельзя было удивляться позиции революционных социалистических партий; голосуя против контингента, они были последовательны; мотивы свои они изложили еще при обсуждении бюджета. Но чем, в данном случае, руководились трудовики, которые в бюджетном вопросе были лойяльны? В длинной речи, произнесенной немедленно после Кузьмина-Караваева, трудовик Карташев доводы комиссионного меньшинства изложил и внес от имени трудовиков и крестьянского союза определенное предложение*). Оно суммиру-

---

*) «В настоящее время, когда народное представительство еще не пользуется действительным влиянием на направление политики родной страны, когда правительство и те немногочисленные группы населения, которые оно собой представляет, относятся явно недоброжелательно к этому народному представительству, создавая его работе целый ряд препятствий и пытаясь дискредитировать его, как внутри страны, так и за-границей; когда самому существованию народного представительства в России грозит серьезная опасность, мы не можем ожидать, что безответственное перед избранниками страны правительство, станет

ет мотивы отдельных речей против контингента, которые в их совокупности вели бы к роспуску Думы. Это признавал сам Карташев. Он говорил: «Если, действительно, Гос. Дума сделает такое постановление, которое я считаю неизбежным и вполне логичным, то может быть наше правительство распустит Думу». Председатель не позволил ему развить эту мысль. Это неважно; трудовики понимали, на что они Думу зобут и на это все-таки шли. Дело было в оценке пользы и смысла такого постановления. Беречь Думу можно было только до известного предела. И сами кадеты пошли на роспуск Думы, когда спасти ее можно было только выдачей соц.-демократов. Левые проводили грань «допустимого» не там, где кадеты. Оставалось их убедить, что это — неудачная грань, которая скомпрометирует Думу, как государственное учреждение; что из-за борьбы с данным составом правительства нельзя ослаблять всего государства. Это был благодарный мотив. Его излагали кадетские ораторы — и все были правы. Но этот довод возмущал соц.-демократов; в нем они справедливо замечали решительный отказ от самой революционной идеологии, которую в своем прошлом часто разделяли кадеты:

«Я не знаю, — говорил соц.-демократ Алексинский, — подписывал сам Гессен или только ближайшие его товарищи известное Выборгское воззвание, но ведь тогда кадетская партия не рассуждала таким образом, как она рассуждает теперь (аплодисменты слева). Тогда она стала на точку зрения бесконечно более правильную, тогда она сказала, что так как правительство идет против народа, то и народ не должен давать ему ни копейки денег, ни солдата... (голос из центра: пока не созовут Вторую Думу)... пока, говорят, не созовут Вторую Думу. Вот созвана Вторая Дума, и нас некоторые из кадет и из беспартийных, как например, Максудов, убеждают, что пока есть возможность творческой органической работы, не надо вызывать конфликта».

Это справедливо: тогда кадеты, действительно рассуждали так, как теперь учили левые партии; они тогда тоже не отличали правительства от государства; голос из центра — «пока не созовут Вторую Думу» — ничего не менял. Вели ли этим путем борьбу за скорей-

---

руководствоваться в своей политике соображениями о благе населения, в согласии с тем, как это благо понимается представителями народа. Мы не можем взять на себя ответственности перед своей совестью и народом, предоставив в распоряжение этого правительства 463.050 человек новобранцев, которые в недалеком времени могут быть обращены против этого же самого народа. Мы, трудовая группа и крестьянский союз, предлагаем Государственной Думе отказать правительству в испрашиваемом им контингенте новобранцев на 1907 год».

ший созыв Думы, за парламентаризм, за реформу социального строя — только подробность. Революционная идеология была одинакова. Но кадеты были **сами собой** не в момент подписания воззвания в Выборге, а во Второй Государственной Думе. Этого социал-демократы перенести не могли. Вот диалог из той речи Алексинского:

«Уже много раз мы, социал-демократы, всходя на эту трибуну, говорили, что большинство Думы, на наш взгляд, неправильно понимает свое отношение к народу и свое положение, как защитников народных прав. Так было по вопросу о безработице, так было по вопросу о бюджете. Теперь стоит вопрос гораздо более важный, вопрос об армии, о солдатах. Вы уже сдачей бюджета в комиссию отступили от того принципа, который вы не так давно в Выборгском воззвании выставляли».

Голоса (из центра). Никогда.

Гр. Бобринский (г. Москва), (с места). Все это уже старо.

Маклаков (г. Москва), (с места). Граф Бобринский нас защищает.

Гр. Бобринский (с места). С общими врагами будем сообща бороться.

За моим шутливым замечанием по адресу Бобринского скрывалась страничка, о которой я буду говорить в следующей главе. Поучительно, что излюбленный правыми довод против кадет, т. е. довод «от Выборгского воззвания» — Бобринский на этот раз откидывал пренебрежительным словом «старо».

Возвращаюсь к контингенту. Правы ли, последовательны ли были левые и кадеты, вопрос о судьбе Думы, как я отвечал, решался не ими, которые свои позиции уже заняли, а беспартийными и прежде всего польским колом. Понятно было внимание, когда на трибуну взошел от поляков самый левый из них, адвокат Кониц. Первая часть его речи предвещала самое худшее: «Не подлежит сомнению, — говорил он, — что в настоящее время вооруженная сила русского государства употребляется не для того, чтобы защищать страну от внешних врагов, а прежде всего для того, чтобы подавлять в стране освободительное движение (аплод. слева)». Он указывал дальше на особенность Польши, где поддерживается уже 9 месяцев военное положение; на исключительное положение новобранцев из Польши, которые отбывают службу не в ней, а в Восточной Сибири или в Туркестанском крае; на то, что «несоразмерно с населением всей Империи лилась кровь польских жителей на Манджурских полях». На раздавшийся голос справа: «Неправда», Кониц ответил: «Это факт, а не красное словцо». Умнее «голоса справа» оказался Пуришкевич, который с места сказал: «Честь и

слава тем, кто там погибли». Начало речи Коница позволяло ожидать от поляков только более разумных и деловых мотивов голосования против закона, но все-таки голосования **против.** Но конец его речи вышел другой:

> «Мы боремся и не перестанем бороться с нынешней правительственной системой, но мы не боремся ни с государством, ни с русским народом (аплодисменты центра и слева). Вот почему, несмотря на то положение, которое, собственно говоря, мы должны бы принять по отношению к военному делу, мы все-таки не возражаем против принятия законопроекта, представленного военным министром» . . . .
>
> . . .«Мы, поляки, мы не хотим, чтобы наша судьба в этом государстве зависела от чьих-либо внешних влияний. Мы этого не хотим, не желаем (сильные аплодисменты). Но если, по изложенным соображениям, мы с своей стороны не хотим отказывать в новобранцах, то пускай никто в этом не видит желания поддержки правительству или оказания ему доверия».

Польское заявление решало вопрос. Если большинства этим еще достигнуто не было, то оно становилось не только возможным, но вероятным. Поляки давали нам предметный урок, как отделять правительство от государства. Но как это ни странно, именно то, что поляки Думу в этом вопросе спасли, возмутило Столыпина; возмутила возможность зависимости русской Думы от голосования инородцев. Этого Столыпин даже не скрыл; он тогда же пришел к заключению, что представительство от окраин нужно уменьшить и в Манифесте о роспуске появились такие слова:

> «Созданная для укрепления Государства Российского, Государственная Дума должна быть русскою и по духу.
>
> Иные народности, входящие в состав Державы Нашей, должны иметь в Государственной Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских».

Самый вопрос о контингенте после речи Коница потерял свою остроту; мы стали думать не о том, чтобы «большинство» у нас было, но чтобы «возражающих» было **поменьше.** Когда пришла очередь моей речи, я не столько убеждал левых голосовать за закон, сколько воздержаться от голосования.

Но вопросу не суждено было пройти так гладко, как после речи Коница было можно рассчитывать. Он осложнился знаменитым Зурабовским инцидентом, который поставил Думу на два шага от роспуска. Было ли это случайно, или потому, что с.-демократы

увидели, что в Думе их дело проиграно и старались наверстать это личным успехом в стране, судить не могу. Тем более, что при инциденте я не присутствовал. Я в канцелярии корректировал свою стенограмму, когда кругом послышался топот шагов; это депутаты выходили из залы и я узнал, что случилось.

Инцидент относился к категории словесных излишеств. И удивительно: настроение Думы было тревожно, Председатель ждал инцидентов, то и дело ораторов останавливал, и левых, и правых, останавливал даже Зурабова, грозил его лишить слова, чем вызвал замечание слева: «Вы пристрастны!» — а настоящий инцидент все-таки «прозевал»: у каждого может быть минута рассеяния, которая способна иногда привести к катастрофе.

Я не слышал речи Зурабова и не могу судить о беспристрастии тех, кто уверял, что **весь ее тон** был повышенно-**вызывающий**; но и без этого тона слов Зурабова Председатель не должен бы был пропустить без замечания. Вот заключительная краткая выдержка из стенограммы этого инцидента:

Зурабов: — «Наша армия в самодержавном государстве не будет никогда приспособлена, сколько бы с этих скамей ни говорили, в целях внешней оборюны; такая армия будет великолепно воевать с **нами** и нас, господа, разгонять и будет всегда терпеть поражения на востоке. (Крики справа: неправда, врешь, вон отсюда!).

Пуришкевич (Бессарабская губ.) (с места). Вон отсюда, вон . . .

Зурабов (Тифлис). И разгонят вас, господа, и всегда будем терпеть поражение и на востоке...

Голоса (справа). Вон отсюда... Убрать его отсюда!.. Он оскорбил русскую армию... Убрать его отсюда, г. Председатель.

Председатель. Никому из здесь присутствующих не позволяется делать замечание председателю. Позвольте вас просить, и оратор, не высказываться так, так как это ни на чем не основанное убеждение.

Головин слишком поздно очнулся, но хотел дать возможность Зурабову исправить то, что он сказал.

Председатель: Господа; я не сомневаюсь, что г. Пуришкевич и некоторые другие, которые здесь так взволновались речью оратора, очевидно, его не поняли.

Голоса (справа): Поняли, очень хорошо поняли.

Председатель: Я не сомневаюсь, что г. оратор никогда в мыслях не имел сказать, что наша русская армия будет всегда терпеть поражения. . .

Пуришкевич (с места): Я не сомневаюсь **ни** на одну **мину**ту, что **вы** так думаете, что **вы** так верите, и что это так, но пусть **он** это скажет.

Председатель: Я вам слова не даю. Вопрос исчерпан.

Пока шли эти пререкания, Ридигер встал во весь рост и за ним вся ложа Министров, где сидело много генералитета. Они ждали, что будет дальше. Но когда Головин объявил, что вопрос исчерпан, они демонстративно покинули зал. Шум усилился. Головину ничего не оставалось, как прервать заседание.

Об этом мне рассказали те, кто вышли из зала и, я вместе с ними пошел в кабинет Председателя; там собрались депутаты, а Головин по телефону говорил со Столыпиным.

Положение было остро. Вопрос о «контингенте» отошел на задний план. Левая бомба, наконец, взорвалась и по нелепому поводу. Была сказана обидная несправедливость по отношению к армии. Оскорбительная фраза, что наша армия будет **всегда терпеть поражения** была беспрепятственно сказана в Думе. В лице армии был оскорблен Государь, как ее «Державный Вождь» (ст. 140 Осн. Зак.). Все это сделалось при попустительстве Председателя Думы. Конечно, Головин был виноват только в оплошности, не в сочувствии оскорблению. Но что делать теперь? Об этом и шел разговор Головина со Столыпиным; по репликам было понятно, в чем их разногласие. Головин шел на все, что зависело от **него**; предлагал лишить Зурабова слова, сказать речь в честь нашей армии и т. д. Столыпин требовал жеста, который шел бы **от Думы**; т. е., **постановлением Думы** устранить Зурабова от заседания. Головин боялся, что на это большинство Думы не пойдет и его предложение тогда только усугубит оскорбление армии. Телефонный разговор прекратился; стали зондировать почву у партий. Выяснилось, что для «устранения» большинства не найдется; даже поляки так далеко не шли. Выхода не было. Друзья Головина нам предсказывали, что в **критический** для Думы момент он окажется на высоте положения. Он это в данном случае доказал тем более, что считал себя самого виноватым. Зная, что Дума за ним не пойдет, решил ее взять врасплох. Он возобновил заседание, не предупреждая о том, что будет делать и обратился к Думе со следующей речью:

«Во время перерыва я ознакомился со стенографическим отчетом, в котором значится речь члена Думы Зурабова. Из этого отчета я с несомненностью пришел к заключению, что член Думы Зурабов позволил себе по отношению к нашей доблестной армии такие обидные выражения, которые являются безусловно недопустимыми в Государственной Думе. Такой поступок члена

Думы Зурабова, допустившего обидные выражения по отношению к русской армии, я считаю невозможным оставить без последствий, и поэтому считаю необходимым лишить члена Думы Зурабова слова и делаю ему замечание. Я предлагаю Государственной Думе для того, чтобы не могло быть сомнения, что Государственная Дума, как один человек, не может сочувствовать высказыванию обидных слов по отношению русской армии, выразить своим постановлением, что она вполне ко мне присоединяется и считает безусловно правильным лишить члена Думы Зурабова слова и сделать ему от Председателя Думы замечание (Бурные аплодисменты справа и центра). Ставлю на баллотировку следующее предложение: Признает ли Дума лишение слова члена Думы Зурабова правильным?».

Головин этой речью себя не щадил; признавал, что со словами Зурабова ознакомился только по стенограмме; несмотря на свои неоднократные предыдущие заявления, что он **один** заседанием руководит, он ставил на голосование Думы вопрос о правильности **своих собственных действий**. Но подменив вопрос о порицании Зурабову вопросом об одобрении Председателя, он смешал партийные карты; Дума **его** одобрила, следовательно, как будто **осудила** Зурабова. После резкого столкновения с Церетелли, которому Головин по этому поводу говорить не позволил, заседание было закрыто до завтра. Можно было надеяться, что инцидент этим исчерпан. Но вечером произошел coup de théâtre; какая то Комиссия работала вместе с представителями Министерства; их вызвали по телефону и вернувшись они сообщили, что им приказано было уйти. Это показало, как серьезно положение Думы. Ночью, в 12 часов к Головину приехал Петрункевич с Набоковым и убеждали его ехать к Столыпину. И вот он, «второе лицо в государстве», не пожелавший когда-то Столыпину сделать визита, чтобы этим себя не унизить, к нему в час ночи поехал. Столыпин ему посоветовал*) повидать Ридигера, который на другой день будет у Государя с докладом и сам устроил Головину на утро свиданье с ним. Головин привез ему стенограмму и объяснил, **как** было дело. Ридигер «счел инцидент исчерпанным вчерашним постановлением Думы и отношением к нему Головина». Так пишет Головин. Повидимому, это не все. В письме Столыпина к Государю от 17-го апреля, совет, который Столыпин дал Головину, изложен иначе:

«На вопрос Головина, что я советую ему делать, я сказал ему, что Дума в глазах правительства покажет желание удовлетворить армию, если: 1) примет переход к очередным делам с выражением уважения к доблестной русской армии и уверенно-

*) Красный Архив, том 19.

сти в беззаветной ее преданности Родине и Царю и, 2) если Головин завтра же сделает визит генералу Ридигеру с извинением за происшедшее*).

Я помню, что когда Головин рассказывал депутатам и избирателям об утреннем визите к Ридигеру, он не скрывал, что принес ему «извинения». Что же касается до предложения баллотировать формулу перехода с выражением уважения к армии, то на это Головин не решился. Это оказалось и ненужно. Удовлетворение армии дала очень хорошая речь докладчика Кузьмина-Караваева, который заступился за армию и выразил надежду, что

«Государственная Дума, какое бы она ни приняла решение, уйдет после сегодняшнего заседания под впечатленіем сознания того, что русская доблестная армия не заслужила тех упреков, которые ей бросались. Эта армия в прошлом много и много сделала. Много она сделала и на полях Манджурии, много сделала там «серая скотинка». Сожалейте искренно о том, что там произошло, бросайте упреки тем, кто заставляет войско поступать вопреки его назначению, но берегите войско и не бросайте ему упреки за то, что оно верно исполняет свой долг».

А сам Головин закрыл заседание такими словами:

«Вчера мы были свидетелями печального инцидента в Государственной Думе. По отношению к нашей доблестной русской армии было высказано здесь такое мнение, которое, конечно, должно быть признано для нее обидным (шум слева). Я считаю, что наша армия всегда отличалась самоотверженностью в исполнении тяжелого долга, всегда отличалась высокою дисциплиною, непоколебимою преданностью отечеству и своему верховному вождю (бурное одобрение справа). Такие достоинства армии признаны всеми и, конечно, заслуживают только похвалы и уважения, и очевидно, что Государственная Дума протестует против тех выражений, неудобных по отношению к русской армии, которые были высказаны здесь одним из членов Думы (громкие аплодисменты справа и в центре). Таким образом, я полагаю, что за принятием означенной формулы перехода к очередным делам, отпадают все остальные поправки и вопрос нужно считать уже исчерпанным».

В речи Головина оказалось все, чего требовал Столыпин, кроме «голосования Думы». Но на это закрыли глаза. И правые, предложившие соответствовавшую такому его желанию формулу, не

*) Красный Архив, том. 5.

стали настаивать на ее голосовании. Они подчинились Наказу и ограничились голосованием только той безобидной формулы, которая была предложена раньше думской Комиссией*). Сам же законопроект о контингенте был принят большинством 193 голосов против 129 — под крики «браво, браво. Бурные аплодисменты в центре и справа». Воздержавшихся было много, но Головин их считать отказался, «так как они не могут иметь влияния на результаты баллотировки».

Так кончился этот злополучный вопрос, едва не приведший к роспуску Думы. Он кончился «благополучно», но не бесследно. Все партии Думы потерпели крушение и затаили друг на друга досаду. Более всего пострадали зачинщики соц.-демократы. Не только их предложение об отказе в контингенте, которое, как будто могло бы пройти, — провалилось: из 200 голосов, на которые они имели право рассчитывать, они собрали всего 129. Это бедой еще не было; они в душе могли быть этому рады. Но выходка Зурабова привела к **шумным овациям** в честь нашей армии и к лишению его слова под **одобрение** Думы. Этого они не прощали ни своим левым товарищам, которые недостаточно их поддержали, ни кадетам, которые определенно против них выступали. Они их упрекали, что они унизили Думу, ее достоинство не охранили. Но и кадеты остались глубоко недовольны. В инциденте Зурабова виновать был не столько он сам, во всяком случае, не **только** он сам, сколько поведение кадетского председателя. Если слова Головина, которые он потом говорил в пользу армии, были искренни, то они не вязались с предыдущим его равнодушным отношением к речи Зурабова. Так или иначе, **он** был виноват; или тогда, когда председательствовал, или тогда, когда свою оплошность вымещал на Зурабове. Кадеты негодовали на правых, которые подчеркнули скандал, а не дали ему пройти незаметно. Были недовольны и левые партии, которые заявили о своем голосовании против контингента, а потом, испугавшись роспуска Думы, массой предпочли от голосования воздержаться. И они, чтобы себя оправдать, вступались за униженное якобы Головиным и кадетами достоинство Думы. Положение лично Головина было тяжкое; все его делали козлом отпущения за свои же ошибки. Он не мог этого не сознавать. Он себя показал таким, каким был: ненаходчивым и неумелым, но преданным делу до самопожертвования. Он **все** в себе скрыл. Могли торжествовать и злорадствовать правые: их бурное и, по общему правилу, недопустимое вмешательство в ход заседания, их «скандал» на этот раз оказался оправданным. Дума дала им в дальнейшем козырь против себя. И они, однако, им не воспользовались и **кадет во всем поддержали:**

*) По Наказу принятие одной какой-либо формулы устраняет голосование всех остальных.

не стали настаивать на голосовании ими же предложенной формулы, удовольствовавшись речью Головина и аплодисментами Думы. И они и правительство в этот момент явно Думу спасали. Но они немедленно получили случай увидеть, как это непрочно. Левые партии хотели «реванша», чтобы себя за свой провал вознаградить; многие из кадет по старой привычке были склонны им в этом помочь. Этим объясняется тот печальный инцидент, который произошел в открытом заседании Думы, вечером того же самого дня, когда утром в закрытом заседании был принят контингент. Об этом инциденте, т. е. о незаконном и бессмысленном принятии закона об отмене военно-полевых судов, не стоявшего на повестке, я говорил в IX-ой главе. Это было сделано в угоду обиженным левым. И так как в вопросе о контингенте наиболее активную роль против соц.-демократов сыграли Головин и Кузьмин-Караваев, то именно они оба помогли левым в реванше, «шаркнули левою ножкой», как шутя выражался гр. Бобринский. Еще многому жизнь должна была нас научить.

За этими двумя крупными бомбами меркнет маленький инцидент того же самого рода, о котором упоминаю лишь для полноты. Это предложение отвергнуть кредит на завершение продовольственной кампании 1905-1907 годов, который испрашивался в размере 17 с половиной милл. рублей. Бюджетная и продовольственная комиссии предлагали этот кредит утвердить, «обязав правительство представить полный отчет предположенной операции к 1 января 1908 года». Отличие этого предложения от бюджета и контингента было в том, что деньги испрашивали на дело очевидно нужное для самого «населения», а не для «борьбы с ним». Этот кредит был испрошен еще у 1-ой Думы в размере 50 миллионов рублей; она тогда отпустила только 15, предоставляя остальные просить дополнительно. Это был тот единственный закон, который оказался приведен в исполнение до конца 1-ой Думы. Дума была распущена, продовольственная кампания продолжалась, деньги расходовались и для покрытия этой кампании испрашивалось теперь 17½ милл. Соц.-демократы, соц.-революционеры и трудовики предложили кредит отклонить, т. к. правительство обещанного отчета о всей кампании еще не представило, и честности правительства они не доверяли. Это было как бы дополнительной мерой к их предложению, отвергнутому Думой 9-го марта, о передаче всего продовольственного дела в руки думской Комиссии.

Они были правы в том смысле, что деятельность правительства по продовольственному делу вызывала справедливые нарекания. Все ораторы во всех падежах склоняли имена Гурко — Лидваля, подчеркивали, что общего отчета представлено еще не было, что самая постановка продовольственного дела требовала серьезного улучшения и т. д. Но было ли возможно из-за этих соображений

взять на себя ответственность отказать в кредите, ударив по населению? Так кадетскими ораторами — Шингаревым, Родичевым и Струве и был поставлен вопрос 11-го мая, когда он рассматривался.

«Отказать в кредите, — говорил Шингарев, — значит внести лишнюю долю горя и страдания в то население, перед которым мы ответственны»...

Родичев разразился страстною речью:

«В России не найдется такого представительства, которое скажет: денег за поставленное народу мы не заплатим, потому что мошенничал, быть может, Гурко. Пусть сто Гурко смошенничали. Этот хлеб принадлежит тем, кто возделывал его своими руками, кто вдвойне несчастен... Одному несчастью иметь в составе правительства лиц вроде Гурко, вы хотите прибавить другое, хотите убить веру в честность всего государства России».

При голосовании ассигнование было принято большинством 176 голосов против 149. Поучительно, что польское коло на этот раз от голосования воздержалось. За принятие закона были следовательно поданы голоса и **левых** партий, которые раскололись на этом. Так происходило постепенное отрезвление Думы.

Перехожу к последнему и самому провокационному акту в жизни Гос. Думы, который проявился в наиболее чистом виде. Это законопроект об амнистии.

Никто не мог сомневаться, что получить амнистию **этим путем** было нельзя. Основные Законы (ст. 23) делали ее «прерогативой Монарха». Перед их изданием в 1906 г. кадетами, действительно, был изготовлен законопроект об амнистии. Но когда Основные Законы были опубликованы, сами кадеты ему уже **не дали хода**. Дума пошла легальным путем — обращения к Монарху в думском адресе. В амнистии ей было отказано; можно ли было надеяться, что Монарх, который не захотел дать амнистии **своею** властью, даст ее тогда, когда ее ему поднесут в форме закона, не считаясь с нарушением его прерогатив? И что Гос. Совет поддержит этот законопроект не только против прерогативы Монарха, но и против уже высказанной его воли? Это было так ясно, что когда 7-го марта был внесен законопроект об амнистии, все поняли, что это только демонстрация, оправдание себя перед избирателями, но не серьезный проект. И амнистия лежала без движения до второй половины мая.

Конечно, наиболее обычным и классическим способом всякий законопроект хоронить была его сдача в Комиссию. Но в данном случае именно **это** бы было опасно. По конституции (ст. 57 Учр.

Гос. Думы) законопроект думской инициативы сдавался в Комиссию **только тогда,** когда Дума основные положения его **одобряла.** Правда, от этого не раз отступали: сдавали законопроекты в Комиссию, как материал, без обсуждения и одобрения их. Но так как были все основания предполагать, что правительство будет возражать против конституционности такого закона, против нарушения им привилегий Монарха, то нужно было предвидеть, что **самая его сдача в Комиссию** будет им истолкована, как его одобрение и потому станет конфликтом. Чтоб его избежать, оставалось бы голосовать **против** сдачи в Комиссию; но тогда, конечно, слева стали бы в этом усматривать отказ от самой амнистии.

Так остро стоял этот вопрос, когда началась кампания прессы за дачу законопроекту амнистии хода. Приват-доцент по уголовному праву П. И. Люблинский написал брошюру, где доказывал, что амнистия не помилование, что и по нашим законам законодательный порядок для амнистии был допустим; об этом делались доклады и в юридических обществах. Я не помню всех доводов, но как бы они ни были остроумны, они не спасли бы Думу от обвинения, что она нарушает Основные Законы и действительно, по существу, они были одной казуистикой.

Эта опасность была так очевидна, что Комиссия по Наказу заблаговременно приняла **против нее** меры. В главе о законодательной процедуре она предложила параграф 56, по которому раньше признания законопроекта желательным, самый вопрос о «желательности» мог быть подвергнут предварительному комиссионному обсуждению; для передачи в такую комиссию допускались только две речи, одна «за», другая «против». Когда 8-го мая обсуждался Наказ, я, как докладчик, не скрывал, что одним из мотивов **этого** параграфа, является именно **законопроект об амнистии.** Вот что я тогда говорил:

> «В президиуме находится законопроект об амнистии, который возбуждает целый ряд чисто юридических сомнений, независимо от его политической постановки. Вот тогда, может быть, явится необходимость передать в Комиссию законопроект раньше, чем он признан желательным, не за тем, чтобы она писала закон, но чтобы она обсудила **этот** вопрос».

Прения по этому параграфу Наказа показали, что Дума не усвоила его главной цели. Парчевский ничего не понял, спорил против «обязательности» подобной комиссии, которой никто не предлагал. С.-д. Мандельберг и с.-р. Ширский в этом предложении увидели только желание **сократить** число допустимых речей. Крупенский нес, по обыкновению, совершенную чушь:

«Предложение депутата Маклакова мне крайне симпатично, потому что оно направлено на то, чтобы не допускать революционного движения. Я бы вполне присоединился к нему, но, к сожалению, я в данном случае не могу к нему присоединиться и буду голосовать с левыми, хотя и по другому основанию».

Возражал мне даже Родичев, который тоже не понял, **в чем** дело. Но со мной согласились трудовики и нар.-социалисты и при голосовании этот параграф Наказа был принят большинством голосов, 200 против 124. Мы, таким образом, получили оружие для благополучного прохождения законопроекта об амнистии, **если бы он когда нибудь стал.**

А он стал очень скоро. Уже 13-го мая Президиум решил его поставить на очередь, и 24-го мая вопрос о постановке его на повестку обсуждался в Государственной Думе; об этом я уже говорил в X главе. Трудно сказать, чем именно руководились **левые** партии в желании поставить этот вопрос; готовностью ли на нем Думу взорвать, расчетом ли на то, что кадеты до этого не допустят, а себя навсегда в левых кругах скомпрометируют, наивной ли уверенностью, что из-за этого **не** будет конфликта? Это, в сущности, безразлично. Предложение поставить законопроект об амнистии не представляло бы опасности, если бы не то неожиданное и непонятное поведение правых, о котором я уж говорил в X главе. Они стали на сторону левых **против** кадет и этим вопрос на повестку поставили. С **их** стороны это было тогда прямой провокацией.

Заседание состоялось 28-го мая; принятый раньше §56 Наказа нас избавил от взрыва. Но мы все-таки чуть не провалились по вине того же Наказа, который сделал классический промах: хотел получить **больше**, чем было можно и нужно.

Еще до перехода к обсуждению законопроекта было подано заявление о передаче его на предварительное рассмотрение такой новой Комиссии, предусмотренной §56 Наказа; я первый подписал это заявление и раньше всех просил слова **за** предложение. Но до меня выступил Щегловитов с категорическим заявлением:

«Правительство заявляет Гос. Думе, что законопроект об амнистии, по силе основных государственных законов, ее обсуждению не подлежит (аплодисм. справа). Права Верховной Самодержавной власти священны для всякого русского и незыблемы (аплодисменты справа). Какое бы то ни было прикосновение к ним совершенно недопустимо (громкие аплодисменты справа)».

После него слово было за мной. Я говорил:

«Отношение нашей партии к амнистии определяется двумя моментами. Во-первых, мы глубоко сочувствуем идее амнистии; мы смотрим на нее, как на акт примирения, как на самый яркий и живой симптом того, что наша государственная жизнь вышла, наконец, на торную стезю мира и законности, что кончилась та болезненная и тяжелая полоса переходного времени, которая сопровождает все исторические переломы. Потому и в прошлом году слово «амнистия» было первым словом Государственной Думы, и тот, кто упрекает нас в том, что мы забыли об амнистии, или от нее отказались, обнаруживает либо удивительное непонимание, либо сознательную несправедливость (аплодисменты центра). Но я скажу и другое. Нам не нужно было вмешательства Министра Юстиции, чтобы понять, что амнистия не есть область ведения Государственной Думы в порядке законодательной работы. Мы знаем не хуже Министра Юстиции, что ст. 23 основных законов делает амнистию прерогативой короны» . . . .

. . . .

. . .«Мы думаем, что лучшее средство надолго похоронить вопрос об амнистии, — это принять тот закон, который нам предлагают. Мы думаем, что совершая этот акт, расширяя компетенцию Думы в ущерб основным законам и прерогативе короны, мы надолго сделаем амнистию невозможной». . . . .

. . . .

. . .«Но мы не слепы, мы знаем, что этот взгляд встречает возражения, что о нем написаны монографии, что он был предметом рассмотрения ученых юридических обществ, которые пришли к иному взгляду, чем мы. Нас это не убеждает».

«Но в этом законе нужно разбираться в целом ряде очень серьезных и деликатных вопросов, а чем деликатнее вопрос, тем нужно внимательнее к нему отнестись. Здесь и вопрос о судьбах этой амнистии, здесь и вопрос о границах прав Государственной Думы, которыми мы не хотим поступаться, и вопрос о прерогативах короны, которых мы не хотим нарушать. Все вопросы настолько важные, что сгоряча их разрешать невозможно. И во имя того, чтобы не было ошибки, я думаю, что мы все, и левые и правые одинаково, должны не торопиться, а поручить комиссии детально разработать этот вопрос».

По Наказу была допустима только **одна** речь **против** сдачи в Комиссию. Слова стал настойчиво просить Пуришкевич, но оказалось, что раньше его — записка была подана левым свящ. Тихвинским. Тут и обнаружилась упомянутая выше ошибка Наказа: все **возражения против** комиссии **нельзя** было покрыть **одной** речью, так

как эти возражения могли всегда исходить из двух **противоположных основ**. Могли возражать те, кто хотел амнистию сразу **принять**, и те, кто хотел ее сразу **отвергнуть**; и те, и другие имели, конечно, одинаковое право на слово. В Наказе следующих Дум поэтому число ораторов для всех таких случаев было увеличено с одного до 2-х. 28-го же мая из-за этого чрезмерного ограничения получилась неясность и несправедливость. Свящ. Тихвинский был **за** немедленное принятие амнистии; все же кто хотели говорить **против** амнистии: Пуришкевич, Крупенский, Стахович, слова не получили. Сумбур увеличился тем, что свящ. Тихвинский своему возражению придал форму, которая сбила всех с толку; он не возражал **против сдачи в Комиссию**, но настаивал, чтобы этой Комиссии поручили **выработать** самый законопроект. Это еще больше спутало прения, вызвало нарекания на ни в чем неповинного Председателя. Недовольных удалось успокоить предоставлением им слова по «мотивам голосования». Бобринский в этом порядке высказал точку зрения правых:

> «Я считаю постановку вопроса неправильной, потому что никто не высказывался **против** депутата Маклакова. Я говорю по существу и хочу объяснить голосование. Я не знаю, как будут голосовать правые; быть может, часть их воздержится, но наверное, часть будет голосовать против предложения Маклакова. И вот, я хочу сказать почему. Не оттого, что мы за предложение левых, которое мы считаем сплошным беззаконием, а оттого, что мы считаем беззаконие это настолько явным, что никакой нужды нет передавать его в Комиссию».

При голосовании предложение о сдаче в Комиссию было принято 266 голосами, против 165. Так сошла на-нет и последняя левая бомба.

На заседании присутствовал А. С. Суворин, который пришел посмотреть на самоубийство Государственной Думы; он не знал нашей контр-мины, но хорошо понимал, что кадетам будет невозможно голосовать **против** самой амнистии. Дождавшись голосования, он сказал своему соседу по ложе, который мне это передал: «Маклаков сегодня спас Думу». «Спасти» ее уже было нельзя. Но в этот день Дума отняла у правительства самый убедительный и, главное, правдивый для роспуска повод, который мог бы избавить его и от «провокации» с военной организацией и от недостойной мотивировки Манифеста о роспуске. Дума взорвалась бы тогда на характерном единодушии левого и правого флангов, т. е. того красно-черного блока, который всегда и всюду является исключительно «разрушительным», а не «созидательным» большинством. От этого действительно в этот день кадеты Думу спасли.

ГЛАВА XIII.

Правое меньшинство во 2-ой Думе

Так как 2-ая Дума была заведомо левой, и это на первых порах демонстративно подчеркивала, не дав правому меньшинству ни одного места в президиуме, то было естественно предполагать, что это меньшинство будет под Думу подкапываться и мешать ей работать. Так многие, действительно, думали. И. Гессен отразил это общее мнение в своих «Двух Веках»: «Поведение обоих крайних флангов, — писал он, — давало одни и те-же результаты; разница была лишь в том, что одни стремились вполне сознательно компрометировать, утопить в грязи народное представительство, а другие беззаботно демонстрировали, что не дорожат Думой, не придерживаются презрительного лозунга — «беречь Думу». (стр. 241).

Такое распространенное суждение не только совершенно поверхностно, но и несправедливо.

Нельзя отрицать, что существовали те «правые», которые были врагами и этой Думы, и Столыпина, и самой конституции; они в стране были ничтожным меньшинством по числу, но не по влиянию; их сила была в том, что им сочувствовал и покровительствовал Государь и его окружение; в составе их могли быть идейные и чистые люди, но они обросли тою «шпаною», которую порождает возможность быстрой карьеры и перспектива безнаказанности. Роль этих «правых» в крушении России еще не оценена и не освещена в достаточной мере; мемуарный материал, как напр., дневники Бориса Никольского, ясно обнаруживает, в **чем** была и сила и слабость этих людей. Претензии их были не малые. Они уже тогда мечтали стать будущей пресловутой «единой партией». В курьезной книжке «Война темных сил», вышедшей в 1927 г., Н. Е. Марков 2-ой так описывает, роль «Союза Русского Народа»*):

*) Эта книжка Маркова курьезный образчик современной «пропаганды», которая не заботится не только о правде, но и о правдоподобии. Несмотря на все свои личные крайности, Марков слишком умный человек, чтобы верить тому возмутительному, а иногда забавному вздору, который он передает в этой книжке.

«Союз Русского Народа времен 1906-1907 годов с его 3-4 тысячами местных советов представлял великолепное ядро для образования такой государственной организации всенародного монархизма. Если бы тогдашнее правительство доросло до понимания того, что впоследствии понял в Италии Муссолини и, вместо упорного противодействия, поддержало бы и осуществило бы правильную, спасительную мысль о необходимости опереть Верховную власть на организованную в мощные монархические союзы лучшую часть народа — история России была бы совсем иная».

«Фашисты», на которых Марков здесь намекает, как позднее «наци» — были идейным течением, имевшим почву в стране, и за свои идеи боролись с тогдашним правительством; эти партии сумели распознать слабые места в тогдашнем государственном строе и тогдашней политике; обещали вести к чему-то новому, лучшему. «Союз же Русского Народа» в те годы вдохновлялся только злоупотреблениями прошлого времени и держался одним покровительством власти и субсидиями, которые он от нее получал. На деле он Государя вводил в заблуждение, укреплял его в самых вредных его предрассудках, а в 1917 г., когда он мог бы ему быть полезен, испарился как дым. К этому Союзу, с большим правом, чем к кому бы то ни было, можно отнести горькие слова Государя в его дневнике: «Всюду трусость, ложь и предательство».

Но деятельность этих правых относится к более позднему времени и, кроме того, развивалась вне Думы, почему я о ней и не говорю. В самой же 2-ой Думе их значение было ничтожно; их было в ней всего 6 человек; этого было слишком мало даже для учинения тех скандалов, о которых говорит И. Гессен и которые не могли бы компрометировать Думу, если бы в этих скандалах они иногда не находили поддержку и среди тех групп меньшинства, которые Думе не хотели мешать. Причина скандалов поэтому не в этом желании.

Если беспристрастно, по стенографическим отчетам, их пересмотреть, то мы увидим, что, как правило, они бывали всегда ответом на какое-либо «излишество» слева. Благочиние в Думе должен защищать Председатель. Если он опаздывает или бездействует, то во всяком собрании находятся люди, которые на излишества реагируют сами и может получиться тот беспорядок, который называют «скандалом». Во Второй Думе при ее левом составе, при Председателе, в котором его ненаходчивость несправедливо объясняли партийным пристрастием, при умышленной тактике левых речами «возбуждать» и «пробуждать» население, правому меньшинству часто приходилось прибегать к такой «самозащите». К несчастию, оно стало считать это своим призванием в Думе. Об

этом от их общего имени однажды объявил Думе гр. Бобринский. Он сказал такие слова:

> «Мы вам заявляем, что хотя во 2-ой Думе мы в меньшинстве, но никогда не допустим, чтобы 2-ая Дума была сколько-нибудь похожа на Первую».

Перед этим шла речь об **отказе** 1-ой Думы от «осуждения террора». Характерно, что подобное фракционное заявление было сделано именно **Бобринским.** В нем не было ничего похожего на склонность к **скандалам.** Либеральным деятелем и конституционалистом он был очень давно и им остался. В Третьей Думе он был автором знаменитого предложения о «конституционном рубле», как защиты прав Думы против Высочайше утвержденных положений Совета Министров. «Освободительное движение» его, как и многих других, оттолкнуло направо связью своей с «Революцией»; еще больший сдвиг вправо сделала с ним Первая Дума. Но как он ни правел, ни от конституции, ни от правового порядка он не отрекался. Во 2-ой Думе он много раз это доказывал. Человек с большим темпераментом, но сумбурными мыслями (пушка без прицела — говорил про него Хомяков), он был сама искренность и не умел притворяться. Таким был он позже в своем увлечении славянской политикой, неославизмом, в парламентской делегации в Англии, а во время войны в **обличении** Протопопова. Разгадать его было легко; в нем не было ни тени «лукавства». Он искренно думал, что выступлениями, направленными против «революционных» словесных эксцессов, меньшинство не подрывает, а оберегает достоинство Думы и защищает в ней конституционную атмосферу. Если призывы к «революции», оскорбления армии и тому подобные выходки во время останавливал Председатель, правые тотчас ему аплодировали и дело кончалось. Когда же он опаздывал или молчал, справа кто-либо взрывался и начинался скандал; а когда за это вмешательство Головин ополчался на правых, как было в знаменитом инциденте Зурабова, скандал разрастался в «событие».

Там, где в собрании есть сплоченное **большинство,** которое не уважает прав «меньшинства», для этого меньшинства очень часто нет другого исхода, как «беспорядок», нарушение благопристойности заседания. Так бывало с ирландцами в Англии, с национальными меньшинствами в Австрии, у нас с соц.-демократами в 4-ой Госуд. Думе (инцидент Чхеидзе). Но самая форма беспорядка зависит от темпераментов тех, кто в нем участвует, от их воспитания, от культурного уровня той среды, где он происходит, от отклика, который он находит в стране. К сожалению, надо признать, что скандалы у нас привлекали так много внимания более всего

потому, что угождали вкусам толпы; газеты занимались ими с особым усердием. Описания их всегда находили читателей. Пуришкевич из-за них стал всероссийской известностью; прибавлю, что широкие **массы** относились к нему не только с любопытством, но и с **симпатией.** «Культурное» общество его не принимало всерьез. Моя фракция мне вменяла в вину, что я с ним «разговаривал». Я чувствовал, однако, что в нем что-то есть, чего мы не видим. Война обнаружила его **основную** черту; ею была не ненависть к конституции или Думе, а пламенный патриотизм. Он не пошел бы вместе с Гитлером против России. С началом войны в 1914 году он прекратил всякую партийную деятельность, попросил «познакомить» его с Милюковым; ушел с головой в практическую работу на **фронте**; когда он решил, что **Распутин** мешает победе, он стал ненавидеть **его** так же страстно, как в 1907 году ненавидел революционные партии. 19 ноября 1916 г. он выступил в Думе с знаменитым его обличением, а потом активно участвовал в его убийстве. Он был лучше своей репутации; был неуравновешенным фанатиком, но не угодником, не карьеристом. Но он не умел собой владеть, был едва ли нормален. Он был заряженной бомбой, всегда готовой взорваться, а тогда остановить его уже было нельзя.

Скандалистом считали и Шульгина. В течение 2-ой Думы я делил предубеждение против него и оставался с ним незнакомым. Мы подружились позднее. Шульгин был полной противоположностью Пуришкевичу: серьезный, отлично собой владевший, превосходный писатель и оратор, несмотря на свой слабый голос. Он ничего не боялся; говорил всегда все, что думал. Он бросил в лицо революционным партиям Думы, что «Революцию презирает за трусость»; спросил у думских «революционеров», которые возмущались насилиями власти: «а нет ли у вас бомбы в кармане?», за что и был, **по инициативе самих депутатов**, устранен из думского заседания; сам признался в «Днях», что 2-ую Думу он «ненавидел». Его «выходки» против нее не были несдержанностью, как у Пуришкевича; были делаемы язвительно, но хладнокровно. 26-го марта, чтобы высмеять социалистов, он внес в Думу «шутовской» законопроект о «национализации всех капиталов и об отдаче их в распоряжение Комитета, избранного по четыреххвостке». 7-го мая, при обсуждении запроса об обыске у Озоля, не стесняясь, поставил в вину кабинету Министров:

> «Для какой надобности, для чего, за какие грехи заставляют нас, русских граждан, лойяльных Царю, сидеть вместе с этой (жест влево) компанией?»

Подобные приемы были его недостойны, и симпатии к нему не вызывали. Но он же мог быть серьезен и при обсуждении одно-

го законопроекта сказал превосходную речь о революционной пропаганде в войсках, защищая солдат, но негодуя против агитаторов. Он тогда заставил своих **врагов** слушать себя. Жизнь характера его не переменила. Он остался тем же, чем был. Добровольно пошел на войну и был ранен; позднее рисковал головой, поехав тайно в Советскую Россию. Имел в 1913 году гражданское мужество, вопреки своей партии, публично выступить обличителем махинаций нашей Юстиции, сделанных для обвинения **заведомо для нее невиновного** Бейлиса, и был приговорен к тюрьме за эти статьи. С обычным талантом, в знаменитой речи 3-го ноября 1916 года, указал, что «Россия, которая не испугалась Гинденбурга, смертельно испугалась Штюрмера». Стал одним из участников и создателей «прогрессивного блока». Был своеобразным политиком, но искренним, смелым и талантливым человеком; наша общественность не умела понимать и ценить оригинальных и интересных людей, если сочла его «скандалистом».

И в конце концов себя можно спросить: было ли бы лучше для Думы, если бы правые не вступались, а излишества революционной фразеологии происходили при попустительстве Председателя и молчании Думы? В деле Зурабова скандал сделали **правые.** Но в чем был настоящий скандал? В том ли шуме, который был **ими** поднят, или в самой речи Зурабова и терпимости к ней Председателя? Если судить по словам, которые при аплодисментах всей Думы говорил потом Головин, надо признать, что именно слова Зурабова, а не возмущение правых, были «скандалом». Скандал оказался полезен, так как дал возможность и Думе, и ее Председателю себя от Зурабова отмежевать. Реакции правых были иногда полезным стимулом и для самого Председателя. Во всяком случае, односторонне было бы видеть в них сознательное **желание дискредитировать Думу.**

Чтобы правильно оценить отношение правого меньшинства к Государственной Думе, нужно смотреть глубже «скандалов». Кадетам, призванием которых было укрепление «конституционного строя», нельзя забывать, что во 2-ой Думе ее правое меньшинство в **этом им помогало.** Чтобы Думу взорвать, правым не было нужно себя ронять какими-то скандалами; для этого им бы было достаточно даже не голосовать **вместе** с левыми, а только в некоторых острых вопросах от голосования воздержаться (бюджет, контингент). Вместо этого, они в этих случаях **своими** голосованиями всегда Думу **спасали.** И понимали, что делали. 12-го апреля, когда Кизеветтер иронически предложил правым доказать, что они «заботятся о работоспособности Думы», Бобринский ответил ему: «пусть Кизеветтер вспомнит наши голосования в Думе и он убедится, что мы это доказали давно». Эти слова были правдой. «Работать» Думе правые никогда не мешали, хотя к данному со-

ставу Думы относились враждебно и не видели в ней настоящего представительства. Но отсюда еще далеко до тактики Думе мешать.

И потому сейчас себя можно спросить: было ли возможно во 2-ой Думе образование прочного **правого** центра для насаждения конституции и либеральных реформ? Кадетские лидеры по старой памяти его **не** хотели; со времени «Освободительного движения» тех, кто был направо от них, они считали врагами. Почти накануне роспуска Думы, 25-го мая, Милюков писал в «Речи», что «правые и без сговора в важных случаях голосуют вместе с кадетами», но **соглашения** с ними он не хотел; **прочного** блока он продолжал искать с «трудовиками»; соглашения с правыми он лишь «не отрицал», да и то «только при условии соглашения с трудовиками».

Оправдывалась ли эта предвзятость в эпоху 2-ой Гос. Думы, не только по соотношению партийных сил в Думе, но и по их **программам?** Искать прочного блока **с крайними правыми** было, конечно, безнадежно, да и ненужно. Думское правое «меньшинство» с этими **крайними** ни идейно, ни политически не было связано. Их только внешне сближала одинаковость их положения в Думе, как думских париев, в которых торжествовавшее левое большинство вначале одинаково видело «не представителей населения», а «ставленников власти». Объединение **всех** правых в единую группу было искусственным. Другие, из правого меньшинства: октябристы, умеренно-правые и правые беспартийные, не отрицали ни конституции, ни необходимости либеральных реформ, если в них и не шли так далеко, как кадеты. Сговор с ними à priori был совершенно возможен.

Правда, их взгляды на наш государственный строй не совпадали с тем пониманием, которое олицетворяла кадетская партия, не говоря о более левых. Между ними оставалась идеологическая и терминологическая разница, из-за которой происходили иногда интересные, но всегда бесполезные споры. Правое меньшинство в основе нового строя считало **«волю Монарха»**, а кадеты **«волю народа»***). Но это был академический спор, имевший для практической жизни так же мало значения, как для механиков спор о том, откуда взялся «мир» и «законы природы»: для механика достаточно **знания** этих законов; происхождение их для него безразлично. Еще меньше практического смысла, но не меньше страстей вызывал **терминологический** спор, противоположение «Самодержавия» и «конституции». В дореформенное время у нас эти два термина исключали друг друга. Это словоупотребление так глубоко проникло в литературный язык, что я сам в этой книге им пользуюсь. Но после опубликования Основных Законов 23-го апреля 1906

---

*) Об этом в моей книге «Первая Дума».

года, для него **законная почва** исчезла. Основные Законы были несомненною «конституцией», ибо поставили Монарха **ниже** законов, а термин «неограниченный» отменили. Но и эта «конституция» сохранила титул «Самодержавный», отделив его от понятия «Неограниченный». Титул **Самодержавный** стал равнозначущ понятию Монарх «Божией милостью», а не «по избранию». Это было **новое** словоупотребление и к нему надо было еще привыкнуть и приучить свой язык. Но нельзя было более **противополагать** Самодержавие — конституции, когда этот титул был сам отныне основан **на конституции.**

Со стороны **левых** партий спор против слова «Самодержавный» был не только излишен, но **вреден.** У них не было ни силы, ни права помешать употреблению «законного» титула. Попытками его запретить они сами придавали ему совершенно нежелательный смысл **отрицания** конституции. Этим они давали оружие **против** себя. Когда в 1913 г., уже после смерти Столыпина, Государь стал подумывать ликвидировать конституцию, он писал тогдашнему Министру Внутренних Дел (18-го октября 1913 г.), что пора «обсудить в Совете Министров мою давнишнюю мысль об уничтожении статьи Учр. Гос. Думы, в силу которой, если Дума не согласится с изменениями Гос. Совета и не утвердит проекта, то законопроект уничтожается. Это **при отсутствии у нас конституции** есть полная бессмыслица»*). Это рассуждение соответствовало тому пониманию, которого держались **левые** партии, настаивавшие, что Основные Законы — только **лжеконституция,** и видевшие **доказательство** этого в сохранении титула «Самодержавного». Государь **их** рассуждение только довел до конца. Ненужная нетерпимость к слову «Самодержавный» сама приносила такой результат.

Настоящее разномыслие кадет с правым меньшинством Думы было не в их взглядах на наш государственный строй, а в **программе реформ.** Значение этого разномыслия все резче выдвигалось вперед по мере того, как спор о «форме правления» со сцены сходил; оно стало бы на первое место, когда в рамках конституционного строя пришлось бы **перестраивать** жизнь. В определении нужных реформ многое отделяло либеральное меньшинство от кадетского радикализма. Кадеты в программных вопросах шли дальше, чем самые левые октябристы. Кадетская программа была составлена в революционное время, в 1905 году, и была к **нему** приспособлена. Октябристы же Революции не хотели; они не желали поэтому ни 4-хвостки для выборов, ни принудительного отчуждения, ни других кадетских коньков; по всем этим вопросам кадеты, как предрекал Головин (см. главу XII) — стали бы голосовать вместе с **левыми.** Но если бы это было и так, то при суще-

---

*) Монархия перед крушением, стр. 91.

ствовавшей у нас конституции такие голосования для правого меньшинства не были страшны. Конституция их ограждала против слишком «левого вотума», пока существовала 2-ая Палата с половиной назначенных членов и пока власть управления была ответственна перед одним Государем. Старый режим, создав новый государственный строй, себя в нем **не обезоружил.**

Поэтому «правому меньшинству» не было смысла из-за программных разногласий отвергать **конституцию.** Скорее левые были логичны, когда изъ-за этого протестовали против основных начал конституции, а в 1-ой Думе хотели «наскоком» ее изменить, уничтожив 2-ую Палату — и подчинив правительство Думе. Если бы **это** тогда удалось, меньшинство против демамогии могло бы оказаться бессильным. Конституции 1906 года грозила поэтому опасность не справа, а слева, от сторонников полного «народоправства», и от направленных к этому **революционных** движений народа. Правое меньшинство Думы было врагом вовсе **не конституционного** строя, а **революционных попыток.** Грань между правым и левым флангами проходила не в плоскости **партийных** программ, а в плоскости политической **тактики.** Она объединила **меньшинство** из людей разного понимания. Отношение правого меньшинства ко **всей** Думе и зависело от позиции, которую в этом тактическом вопросе занял бы **центр.**

С теми, кто возлагал надежды на Революцию, у правого меньшинства общей тактики быть не могло. Они были врагами. Но существовало то направление, которое хотело тех-же реформ, что и левые, но исключительно в легальном конституционном порядке и потому было готово итти к ним более медленным темпом. Именно **это** направление должно было представляться кадетами. Поскольку они не на словах, а на деле боролись против революционных путей, они и могли, и должны были итти вместе с «октябристами» и «умеренно-правыми». И **этим** партиям для противодействия Революции кадеты были **нужны.** Только **их** участие в этой борьбе делало ее борьбой за «конституцию», а не за «привилегии верхних социальных слоев»; только **их** сближение с меньшинством знаменовало бы идейный отход «либерализма» от «революции». «Освободительное движение» показало опасность **совместных** действий либерализма и революции. Возвращения к ним ни меньшинство Думы, ни правительство не хотели; отсюда упорные старания обоих **привлечь кадет к своей стороне.**

Чтобы кадеты могли занять эту позицию, было необходимо: чтобы у них сохранялась вера в возможность добиться реформ «конституционным» путем; чтобы те средства самозащиты, которые старый режим оставил для себя в конституции, не означали бы бессилия страны перед интересами привилегированных классов. Это conditio sine qua non возвращало кадет к тому старому

спору, который после октябрьского Манифеста они вели против идеологов «Революции», называвших кадет «утопистами». Этот спор против левых кадеты **тогда** перед избирателями выиграли. Правда, с тех пор обстановка спора повернулась не к лучшему. Была объявлена конституция от полного народоправства далекая. Была **распущена** 1-ая Дума. Но из-за **одной** неудачи разочароваться в самой «конституционной дороге» было преждевременной сдачей позиций. Пусть от Государя зависело все **управление**, пусть он имел право абсолютного **вето и назначал** половину членов Верхней Палаты. Что такое были **эти,** хотя бы и широкие, прерогативы, сравнительно с прежними правами «неограниченных Самодержцев»? Однако и «Самодержцы» уступали народу, когда боялись **его** недовольства. Недаром после апогея Самодержавия при Николае I пришли реформы Александра II, а после Александра III — «Освободительное движение» и уступки Николая II. После 17-го октября, при представительстве, при режиме некоторых, хотя бы и ограниченных «свобод», Монарху было бы труднее бороться со страной, которая имела и голос, и права, и испытания выборов, и возможность ставить все вопросы на **публичное** их обсуждение когда, наконец, само Министерство необходимость **либеральных** реформ публично **признало.** Монарху было не только невместно, но и опасно на глазах у всех выступать не защитником **общего** блага, а борцом за интересы социального **меньшинства.** Победы, которые мог бы он в этом смысле одерживать, становились бы победами Пирра. Они могли иногда замедлять, а не вовсе устранять проведение действительно назревших реформ. А с другой стороны, ничто не могло более способствовать «восстановлению старого строя», как боязнь, которую левые партии смогли бы всему народу внушить перспективой полного крушения власти. Либеральная тактика — и в этом было ее назначение — должна была заключаться в медленном, но за то неуклонном приближении к своему программному идеалу, при соблюдении необходимого для всех **правового порядка.** «Конституции» вредили в России не столько ее открытые враги справа и слева, сколько те, кто ее начала своей нетерпеливой и неумелой тактикой компрометировали.

Отсюда видно истинное положение кадет во 2-ой Думе. Если их программа, составленная до октябрьского Манифеста, по своим **конечным** стремлениям была ближе к левым, чем к правым, то их новая тактика сближала их с **правым меньшинством** Государственной Думы. В тот момент вопрос **тактический,** т. е. охранение правового порядка, был вопросом несравненно **более** важным, чем немедленное осуществление полностью всех законодательных планов. Если бы конституция укоренилась, остальное пришло бы через нее. А зато не только «восстановление Самодержавия», но не в меньшей степени настоящая победоносная Революция, как в

1917 году, нанесли бы «правовому порядку» непоправимый удар. Защищать же от нее **этот** порядок могло искренно не левое, а **правое большинство,** т. е. привлечение значительной части правого меньшинства к совместным действиям с центром.

Можно сказать, — и в этом интерес 2-ой Гос. Думы, — что, несмотря на ошибки Столыпина в междудумье, которые породили черезчур левый думский состав, несмотря на озлобление, которое Столыпин против себя возбудил в либеральной общественности, во 2-ой Думе **началось** ее постепенное отрезвление. Своей программой реформ правительство ее желаниям пошло все же навстречу и существовавшее положение улучшало. Это обнаруживалось для всех при знакомстве с проектами власти. В Думе стала намечаться основа той несуществовавшей раньше и отрицаемой кадетами политической группировки, которая оформилась много позднее, в 1915 году, под именем «прогрессивного блока». Это сопоставление полно интереса. В «блок» 4-ой Государственной Думы организованно вошли те самые партии, которые по отдельным поводам уже образовывали случайное «правое большинство» во 2-ой Гос. Думе. На левом фланге позднейшего «блока» стояли кадеты и «прогрессисты», желавшие если не быть, то казаться «левее кадет». В центре его были октябристы **всех трех** «разновидностей». На правом же фланге была часть «националистов» — соответствовавших втородумским «умеренно-правым». В «прогрессивном блоке» были видные втородумцы — Бобринский и Шульгин. **Вне** блока остались только **крайние правые** и те **крайние левые,** которые считали, что «политический переворот» желателен для успеха войны. Будущие участники «прогрессивного блока» по ряду вопросов и составляли то случайное «правое большинство», которое не раз 2-ую Думу спасало.

Различие было в том, что «прогрессивный блок» был **прочным** объединением. Он заранее, путем взаимных уступок, столковался не только на тактике, но и на определенной программе. В этом было историческое значение блока. Во 2-ой Думе этого не было; правое большинство в нем обнаруживалось только **случайно,** при отдельных голосованиях. Но вся жизнь 2-ой Думы складывалась по указаниям **опыта,** а не по директивам вождей. В законодательной работе ее наступил бы момент, когда более прочный сговор на программах стал бы и возможен, и нужен. Не трудно видеть, как эта работа пошла бы. Принятые Думой с поправками левых законопроекты стали бы возвращаться из Верхней Палаты в урезанном виде; перед членами Думы стал бы систематически становиться принципиальный вопрос: компромисс или непримиримость? Отказаться ли вовсе от **всякого** улучшения лишь потому, что оно недостаточно, или своими голосами провести в жизнь хоть бы только то, что по соотношению сил было возможно? Отношение к этой ди-

лемме, совпало бы с водоразделом между «революционной» и «конституционной» тактикой. Наша общественность долго следовала гордому принципу: «все или ничего». Практическая работа в Думе от него отучала. Самый этот принцип — порождение «доктринерства», а не **практической** деятельности. Благодетельное значение практической «работы» для «выправления умов» стало сказываться уже во 2-ой Гос. Думе, хотя **настоящей** законодательной деятельности в ней еще не началось. Мы могли наблюдать его только на «вермишели». Но и эта **работа** была характерна. По поводу мелких законов, с.-демократы обыкновенно заявляли, что они или «воздержатся» или голосуют «против»; существовавшему в России правительству они **не** дадут ни денег, ни прав. Но когда дело доходило до конкретных последствий такого решения — другие левые партии за ними **не** шли. Как я выше указывал, по сибирским вопросам докладчиком выступал трудовик Скалозубов. Как сибиряк, он понимал, как бы отнеслось местное население к такому эффектному «жесту» с его стороны. И когда такой принципиальный вопрос жизнь стала бы ставить не для пароходных рейсов Востока, а для таких кардинальных проблем, как создание в России суда, самоуправления, ответственности должностных лиц за преступления и т. д., то если думать о **«результате»**, а не о красивых парламентских **жестах**, и не о газетных статьях, которые по этому поводу могли быть написаны, то соглашение между теми, кто **хочет реформ**, стало бы необходимо. Голосование в этот процессуальный момент наглядно бы показывало думскому центру с кем было более ему по пути, с теми ли, кто медленнее, чем он, шел к той же цели, или с теми, кто держался за старый революционный шаблон: чем хуже, тем лучше? А несколько подобных голосований по важным законам привели бы к решению не ожидать возвращения законопроектов из Верхней Палаты, а заранее сговориться о том, что **можно** и в ней провести, в чем, путем взаимных уступок, **можно** сразу притти к соглашению и что в данных условиях является безнадежным, а потому и ненужным. Соглашение делалось необходимым с тех пор, как от политики «демонстраций» и «жестов» перешли бы на политику «достижений». Оно не обошло бы тогда не только правительства, но и Верхней Палаты в лице тех, кто сочувствовал конституции и успеху, а не провалу конституционной работы. И во 2-ой Думе тогда началось бы то, что на этих самых основаниях было оформлено в 1915 году. Сговорившееся думское **большинство** стало бы дальше расти; оно неудержимо потянуло бы к себе голоса беспартийных. Когда такое большинство осознало бы себя в Государственной Думе, в процессе «работы», оно получило бы идейное признание и освящение от **лидеров** партии. Хотя они и гордились своей «непримиримостью» и верностью путям «теоретически правильным», они были все же **вожди** определенного типа: je suis leur chef, donc je les suis.

Образование в 1915 году «прогрессивного блока» было кульминационным проявлением государственного смысла нашей либеральной общественностью и в частности кадетской партией. В нем они преодолели свои детские болезни, излишнюю требовательность, непримиримость и нетерпеливость; показали свою способность к соглашениям и взаимным уступкам. Они тогда освободились от непреодолимого **тяготения** к левым и от принципиальной **вражды** к существующей власти; не будь за кадетами **этого** шага, на них пришлось бы смотреть не как на государственную партию, а только как на тех неудачников, которые показали, как хорошую игру по собственной вине можно проиграть. Партии «прогрессивного блока» сумели не только примириться друг с другом, но объединиться на реальной программе, для всех достижимой, на которой **без Революции** можно было преобразовать облик России. Кадеты в ней отказались от своих старых коньков, т. е. от предварительных конституционных реформ, от уничтожения Верхней Палаты, даже от ответственного Министерства(чего им не простила бессмысленная партия «прогрессистов»), не требовали передачи власти непременно в руки общественности, а сосредоточились на «органической» работе. Если бы подобная политическая комбинация образовалась при выборах в 1-ую Думу, или после самого Манифеста, **все** могло бы сложиться иначе. Но тогда, после **победы** над властью, об этом они не хотели и слышать; директивы вожаков нашего либерализма были другие. Когда же, через 10 лет, «прогрессивный блок» образовался, с ним было опоздано. Вместо Столыпина перед ним было карриатурное правительство Горемыкина, а сам Государь был уже всецело под влиянием Императрицы и проходимца Распутина. Режим был тогда обречен; и спасительный исход был властью отвергнут. Вину за крушение России она, как будто, непременно хотела сохранить за собой.

Конечно, создание прогрессивного блока в 1915 году облегчила война; она показала политическим партиям, что им не время между собою только бороться и воевать с нашей властью, если они не хотят быть одинаково раздавленными **внешним** врагом. Война объединила их в «блок». Но и в 1907 г. те партийные вожаки, которые должны были уметь смотреть дальше других и предвидеть, что, в случае Революции, будет с Россией, должны были бы понимать, какая опасность на нее надвигалась **из-за их несогласия.** Они должны были предчувствовать крушение «правового порядка», основ которого с таким трудом, наконец, добились, и торжество или прежних реакционных сил старой сословной России, или, что было нисколько не лучше, торжество Революции. Эта опасность должна была им показать, **где** их спасение. Но они этого не понимали; объявляли под интердиктом Столыпина и по-прежнему гнулись налево. И только непосредственные работники Думы

подготовляли то партийное соглашение, которое появилось на свет в 1915 году. Роспуск Думы уничтожил эту работу.

Эти соображения на первый взгляд могут показаться несовместимы с тем отрицательным отношением, которое правое меньшинство занимало к левым партиям, избирательному закону и вообще составу 2-ой Думы. Я этого отношения не отрицаю. Но оно долго не мешало правому меньшинству ни Думу беречь, ни даже Думу спасать. Чтобы понять эту тактику правого меньшинства полезно отметить, что в известный момент **эта** тактика переменилась и правые не только перестали Думу поддерживать, но ее сами стали **взрывать.** Я показывал, как это явно обнаружилось в вопросе о постановке на повестку «амнистии». Мы тогда только поймем тактику правых, когда нам будет ясна **причина** ее **перелома.** Его можно без труда проследить: он произошел во второй половине мая, после заседания 17-го мая, когда кадетскими голосами было сорвано предложение правых об осуждении террора. Значение этого вопроса нельзя недооценивать. Либеральная общественность того времени считала этот вопрос самой подлинной и злостной провокацией правых. «Предложение об осуждении террора было внесено с вполне сознательным расчетом — погубить Думу», — писал Милюков 15-го мая 1907 года. В виду того значения, которое ему придавали и которое оно несомненно имело, на **этом** вопросе стоит остановиться особо.

ГЛАВА XIV.

Вопрос об осуждении террора

У этого вопроса история длинная. В первый раз он был поставлен еще до Думы, на Земском Съезде ноября 1905 г. Тогда уже была возвещена конституция и либерализму, который до этого воевал в одном лагере с революционерами, был поставлен вопрос: как он относится **теперь** к революционному террору? Вопрос поставило не правительство и не «правые»; он вышел из среды **самого либерального** Земского Съезда. Для постановки его был достаточный повод. Тогда по России проходила волна анархии и самоуправства; были погромы евреев, интеллигенции и помещиков. На Съезде поднималось много вопросов, которые были связаны с этими явлениями, и об ответственности администраторов, которые их допускали, и об амнистии самим погромщикам, и т. д. Левая часть Съезда проводила тогда демаркационную линию между насилием «допустимым» и «недопустимым». Так Е. де Роберти предложил политической амнистии **не** распространять на **громил,** но в успокоение левых, которые в его предложении усмотрели тотчас «классовый» характер, сказал такие характерные слова:

> «Я вовсе не думал о дворянских усадьбах; нашим усадьбам угрожает ничтожная опасность; если сгорело 5-20 усадеб, то это никакого значения не имеет. Я имею в виду массу усадеб и домов еврейских, сожженных и разграбленных черною сотней».

Не то важно, что это мог публично сказать либеральный Е. де Роберти, имевший репутацию ученого и умного человека: lapsus linguae бывает со всяким; характернее, что это было без комментариев напечатано в «Праве». Это не стенограмма, изъ которой «слова не выкинешь»; отчеты о заседаниях печатались в «Праве» не без партийной цензуры. И если оно это напечатало, то очевидно и само «Право» и его читателей подобное заявление не шокировало. Можно ли тогда удивляться, что когда речь зашла об отмене смертной казни, то на том же съезде А. И. Гучков предложил **одновременно с этим** «осудить **всякие** насилия и убийства, как

средство политической борьбы»? Не следовало ли Земскому Съезду, представителю русского либерализма, предполагаемой опоре «правового порядка» в России, отмежеваться от тех, кто считал насилие и убийство допустимым приемом и погромы помещиков «не имевшими никакого значения»? Но тогдашнее настроение Съезда, которым руководили кадеты, не допускало, «осуждения Революции». Сам Муромцев, Председатель Съезда, пытался спрятаться за чисто **формальный** отвод; он заявил, что предложение Гучкова выходит за пределы **компетенции Съезда**. В таком виде в первый раз прошел этот вопрос; господству и авторитету «права» наносился удар его же служителями.

Второй раз тот же вопрос был поставлен перед 1-ой Государственной Думой. И исходил он опять не от **правых**, а от такого искреннего и либерального человека, как М. А. Стахович. Для постановки его был исключительно благоприятный повод. Дума просила тогда общей амнистии. Просьбу эту Стахович предлагал Думе связать с **категорическим осуждением в будущем всякого террора**. Это было логично. Вводился в силу тот **новый порядок**, в котором не должно было быть ни места, ни надобности террористическим актам. Только **в такой комбинации** можно было бы и просить об амнистии. В защиту своего предложения Стахович сказал проникновенную речь. Его предложение кадеты отвергли; они остались стоять на точке зрения Земского Съезда ноября 1905 года. Конечно, поскольку они опять не хотели разрывать с Революцией, им и тогда ее было нельзя осуждать. Только тогда нельзя было ни просить об **амнистии**, ни вести переговоров о составлении **кадетского министерства**. Отношение Думы к предложению Стаховича было глубокой и характерной ошибкой. Кадеты осуждали Стаховича за бестактное предложение, за «провокацию». Если это и вышло как бы «провокацией», то только потому, что Дума оказалась неспособной сойти с пути Революции и подняться на высоту «правового порядка». Дума отвергла **спасательную** веревку, которую Стахович ей протянул и усмотрела в ней «провокацию».

Эти прецеденты полезно помнить, чтобы оценить то, что произошло с этим вопросом во 2-ой Гос. Думе. Кадетская фракция к этому времени свою тактику переменила; она старалась идти исключительно конституционной дорогой и с попытками отступления от нее стала бороться. Начались конфликты с революционными «союзниками» ее на левых скамьях. Но для постановки самого вопроса об осуждении террора, как будто уже не было повода. Помню, однако, как Стахович мне не раз повторял, что этот вопрос и теперь, наверное, будет поставлен и сделается испытанием Думы. Если 2-ая Дума, как Первая, от осуждения террора уклонится, она себя уничтожит. Ее не смогут после этого считать «государственным учреждением»; ее судьба этим решится. **Когда и на чем** ее

распустят — неважно. Это будет вопросом лишь времени. Но приговор над нею будет произнесен, не откладывая. Я тогда плохо верил Стаховичу; думал, что он преувеличивает важность вопроса, который им самим был в Думе поставлен. Революция была уже раздавлена физической силой; в словесном ее осуждении Думой надобности не было видно.

Когда в день декларации, 6-го марта, несколько ораторов, в их числе оба епископа, говорили о терроре, нам в голову не приходило, что этим ими был выдвинут вопрос об его **осуждении Думой;** мы думали, что ораторы ограничиваются выражением своего личного мнения. Кроме того, в тот день уже был предрешен вопрос о принятии простой формулы перехода, которая голосуется первой и прочие устраняет. Если бы тогда и были предложены формулы с осуждением террора, ставить на голосование их не пришлось бы. Намеки на это в речах поэтому проскользнули бесследно.

Все это было естественно. Удивительнее, что мы не поняли, что через неделю, 13-го марта, **инициатором такого** осуждения явился Столыпин. Это непонимание так удивительно, что ему было бы теперь трудно поверить, если бы мы не имели убедительного доказательства этого. Как я уже рассказывал в VIII главе, Столыпин отказался от внесения в Думу законопроекта о продолжении военно-полевого суда и обещал **фактически** его отменить. Но в его речи были такие слова:

> «Правительство пришло к заключению, что страна ждет от него не оказательства слабости, а оказательства веры. Мы хотим верить, господа, что от вас услышим слова умиротворения, что вы прекратите кровавое безумство, что вы **скажете то слово**, которое заставит нас всех стать не на разрушение исторического здания России, а на пересоздание, переустройство его и украшение».

И далее он продолжал: «в ожидании этого слова, правительство примет меры», и т. д. Казалось, должно было быть ясно, **на что** он тогда намекал. Но мысль о том, что у этой левой Думы будут просить «осуждения террора» была от нас так далека, что под столыпинским выражением «слово» мы увидали не «формулу осуждения», а совокупность думской работы и ее достижений.

Понятно, почему Столыпин ограничился только туманным **намеком.** Инициатива осуждения террора Думой могла исходить **только от Думы.** У Столыпина хватило чутья это понять и с формальным предложением этого **от себя** не обращаться*) Но намека

*) Этого чутья не хватило у Макарова. В 3-ей Государственной Думе он сказал (заседание 8-го февраля 1908 года): «Правительство при-

на это большинство Думы не поняло. Правые оказались догадливее или осведомленнее; они и внесли **от себя** формулу перехода с с осуждением террора. Головин ее огласил в обычном порядке, прибавив, что она будет отпечатана и роздана депутатам. На это не было возражений. Но в конце заседания Кизеветтер неожиданно выступил с таким предложением:

> «Я предложил бы, прежде чем переходить к объяснениям по личным вопросам, в виде порядка дня попросить присутствующего здесь председателя Совета Министров дать нам свое заключение: входит ли, по Учреждению о Государственной Думе, в компетенцию Государственной Думы принятие не законопроекта, не какого нибудь запроса, имеющего в виду контроль над закономерностью действий правительства, а принятие общей резолюции, декларации общего этического характера? Я полагаю, что, по точному смыслу Учреждения о Государственной Думе. Государственная Дума делать этого не в праве. Я желал бы слышать по этому вопросу компетентное разъяснение председателя Совета Министров».

Подобного предложения вообще нельзя ничем объяснить кроме того, что с человеком случается «затмение разума». Но зато оно красноречиво доказывает, что слова в речи Столыпина действительно **не были поняты**, как приглашение к «осуждению террора». Иначе, даже при полном затмении, было бы невозможно просить **его заключения против этого.** Потом все напали на Кизеветтера, который, как школьник, смутился, поняв, **что** он наделал. Но и его упрекали исключительно в том, что он «унизил» достоинство Думы, прося у Столыпина заключения, а не в том, что он его провоцировал выступить **против** нас. Так же к вопросу подошел Головин, который нас тогда выручил. Хотя Столыпин тотчас подал записку, он заявил, что вопрос, поставленный Кизеветтером, является совершенно излишним, так как «лицами компетентными в том, что подлежит обсуждению Думы, являются только Председатель и Дума, и что слова Председателю Совета Министров по этому вопросу он не дает». Столыпин тут спорить не стал, но на другой день Головину написал, что он **не имел права отказать ему в слове**, повторяя этим знаменитое когда-то препирательство Бисмарка с Прусским ландтагом. Но в данный момент он подчинился лишению слова и в думское разномыслие по такому вопросу вмешаться не захотел. Он, вероятно, был рад, что мог не давать «заключения», о котором его попросил Кизеветтер*).

зывало еще Вторую Думу к порицанию грабежей, разбоев и террора; просьбы правительства были тщетны». Это и неверно **фактически** и политически было бы бестактно.

*) Я думаю, что выступление Кизеветтера неоспоримо доказывает,

Как бы то ни было, в этот раз **правые**, действительно, внесли **от себя** предложение об осуждении террора. Было ли это сделано ими по соглашению со Столыпиным? Едва ли. Столыпин очевидно тогда не хотел «провоцировать» Думу; потому он не мог бы сочувствовать той **вызывающей** форме, которая была этому предложению придана и которая делала его для большинства Думы **неприемлемым.** Неудачная, а может быть и умышленно злостная редакция предложения, вероятно, принадлежала кому-нибудь из **ненавистников** Думы; в ней или кавалерийский наскок Пуришкевича, или подслащенная язвительность Шульгина. Они у правых были лучшими «перьями».

Оно начиналось так:

«Стремящиеся отменить военно-полевые суды могут добиваться этого из двух соображений: или из высокогуманных теоретических побуждений или из простого желания отдалить или уменьшить наказание революционерам. Для этого, чтобы снять обвинение с Государственной Думы в том, что она покровительствует революционному террору, поощряя бомбометателей, и старается им предоставить возможно большую безнаказанность...

Струве (С.-Петербург). Это оскорбление Государственной Думы.

Пуришкевич (Бессарабская губерния). Тише.

Председатель. ...Государственная Дума обязана, говоря об отмене военно-полевых судов, одновременно высказать ясно, откровенно и категорично, как она смотрит на непрекращающиеся убийства слева. А потому мы предлагаем принять нижеследующее постановление».

Самое же постановление кончалось словами:

«Государственная Дума считает необходимым выразить свое глубокое порицание и негодование всем революционным убийствам и насилиям, находя, что никакая работа правитель-

---

что Дума не поняла намека Столыпина. Оно убедительнее, чем газетные статьи, которые могли быть неискренни. Но и газеты мое воспоминание подтверждают. Я уже цитировал (Глава IX) статью Милюкова в «Речи», который в словах Столыпина усмотрел требование «формальных удостоверений, что Дума гарантирует успокоение». Этот нескрываемый шарж неприменим к «словесному осуждению». Милюков, как и все, под «словом», которого от нас ждал Столыпин, разумел не «формулу перехода», а всю думскую деятельность, которая страну при известных условиях **могла** успокоить. Полемический фокус Милюкова заключался лишь в том, что «веру» в такой результат, о которой говорил Столыпин, чтобы оправдать свое отступление, Милюков превращал в «требование формального удостоверения и гарантий». Но это уже нравы партийной полемики.

ства и Государственной Думы не может быть плодотворною, пока в стране нет безопасности, царствует беспросветный террор и невинная кровь льется рекой».

Речь шла, следовательно, о выражении «порицания» и «негодования» для того, чтобы этим «снять с себя обвинение в покровительстве террору». Струве был прав, когда с места воскликнул: «Это оскорбление Думы», что вызвало грубую реплику Пуришкевича.

Текст заявления, таким образом, как будто, показывал, что оно **не исключало** мотивов и «провокации». Но заявление было подписано 42 депутатами; **большинство** их не могло **такой** цели преследовать и **такого** текста одобрить. Заявление, очевидно, было подписано наспех, когда не только не было времени текст его пересматривать, но даже с ним познакомиться. Это было обычным явлением в Думе. У авторов **предложения** могли быть другие мотивы, чем у составителей **текста.**

Одним таким мотивом могла быть надежда, что осуждение Думы может террор лишить ореола и тем его сократить. На это указывали, например, оба епископа. Судя по содержанию и тону речи Столыпина 13-го марта, он **и сам** как будто **так** на это смотрел. Но все они от революционных кругов стояли так далеко, что не понимали **их** психологии. У тех, которые знали партийные отношения, **такой** надежды быть не могло. У революционеров Дума авторитетом не пользовалась. Отнять почву у террора могло только укрепление конституционной идеи, усиление доверия к Думе, ощутимость достигнутых ею результатов. Одно словесное его осуждение могло бы быть даже в революционных кругах истолковано, как «измена Думы народу», и **усилить** боевые их настроения. Но для тех, кто по наивности думал иначе, уклонение от «осуждения» казалось равносильным его одобрению и возбуждало недоумение*).

---

*) Я невольно припоминаю, что вопрос об осуждении террора был поставлен и в 3-й Гос. Думе, которая, конечно, ни малейшего авторитета в революционных кругах, иметь не могла. За подписью 177 депутатов было внесено тогда предложение о создании особого фонда для помощи жертвам революции. 8-го февраля 1908 года представитель Министерства Внутренних Дел приветствовал этот законопроект, ибо усматривал в нем «авторитетное осуждение Революции». По отношению к 3-ей Думе такое заявление могло казаться просто насмешкой. А. И. Гучков был честнее и проницательнее, когда уговаривал специально кадет присоединиться к проекту; он говорил: «Если вы не хотите лишить этот акт, который совершится здесь и помимо вас, того морального значения, которое, действительно, в состоянии, может быть, приостановить или ослабить то пролитие крови, которое составляет несчастье и позор нашей родины, то вы должны присоединиться к этому проекту». Кадеты голосовали против него; тем не менее в формуле перехода, которая от их имени была предложена, но не принята большинством 3-й

Но главным мотивом, выдвигавшим этот вопрос, было желание заставить Думу **свое настоящее лицо показать.** Это было испытанием кадетской конституционной лойяльности, серьезности и бесповоротности разрыва их с Революцией. Прошлое отношение кадет к Революции не могло быть скоро забыто и на такое обращение к ним право давало. Это то, что не раз твердил мне Стахович. Он находил, что не может быть более законного пожелания от либерализма, как просьба об осуждении им **революционного террора.** Неужели это могло быть для кадет слишком дорогою ценой за сохранение Думы? Если да, то не знаменовало ли это, что кадеты хитрят, держат камень за пазухой и выжидают момента, чтобы опять пойти по революционной дороге? Таково рассуждение, которое побуждало этот вопрос поставить перед Думой ребром.

Раз поставленный, он с очереди уже не сходил и все больше Думу нервировал. На нем больше всего нанизывались и те сцены, которые мы называли «скандалами». Попытка вопрос снять, от него отмолчаться, только усиливала старания этого не допустить. Я это вкратце напомню.

Предложение было впервые внесено 13-го марта в неприемлемой форме. Его тогда и не голосовали; оно было напечатано и роздано 15-го марта.

В этот именно день стало известно об убийстве перводумца — кадета Иоллоса правой партийной организацией. Кадеты хотели почтить его память вставанием; чтобы на этой почве не вышло «неловкости», мне было поручено позондировать правых. Бобринский принес их ответ: они все встанут, как один человек. Родичев свое предложение сделал и все без исключения встали. Бобринский выражал мне надежду, что после их участия в такой демонстрации. кадеты не будут им делать обструкции в **осуждении всякого террора.**

19-го марта Пуришкевич напомнил об их предложении. Головин заявил, что оно будет поставлено **в очередь.** Но 26-го марта несколько из подписавших его **сами** попросили обсуждение его **отложить.** Мы кое-кому указали, что в той оскорбительной форме, в которой было внесено предложение, оно **не может быть принято.** Они согласились и решили его внести в новой редакции. Для этого и была заявлена просьба отсрочить обсуждение под предлогом «собирания материала».

Когда дело, таким образом, оказалось отложенным, Пуришкевич решил не дожидаться. 29-го марта он попросил у Головина слова не в очередь, к «порядку дня» и получив его напомнил Думе,

---

Думы, были такие слова: «Отвергая весь ужас и глубокий общественный вред от стихийно развившихся в современных политических условиях убийств и других насильственных актов, совершаемых нередко во имя политических целей...» и т. д.

что две недели назад правые почтили вставанием Иоллоса, павшего жертвой «злостного и отвратительного убийства». Теперь они просят почтить вставанием память тех незнакомых и безвестных людей, которые в последнее время пали жертвами убийств — и начал перечислять ряд неизвестных фамилий, начиная с городовых. Председатель его перебил: Пуришкевич попросил у него слова не в очередь **к порядку дня**, а не для **этого** заявления. Это было формально правильным замечанием, но Пуришкевич занесся... и вызвал скандал. Он начал вопить: «Я хочу почтить вставанием память, а кадетский Председатель мне не дает! Это русская Государственная Дума!» Головин сначала был мягок; разъяснил ему ту «некорректность», при помощи которой он получил слово **не в очередь**; но когда он продолжал кричать неистовым голосом, а Крупенский тоже стал его поддерживать криками, он предложил Думе исключить его на одно заседание. Так и было сделано. Крупенский кричал:

> Крупенский (вскакивая с места): «Это невозможная вещь. Хотят почтить память убиенных, и председатель не дает. Это не Государственная Дума... Я прошу меня тоже исключить на сегодняшний день. Я хочу почтить память вставанием, председатель не дает! (Голоса: вон!). Я прошу тоже голосовать. Позор! Позор России! (Голоса: вон! Свист). Исключайте! Голосуйте!».

Головин не потерял хладнокровия, объяснил спокойно, в чем дело, указал, что лишил Пуришкевича слова за некорректное получение слова не в очередь, а предложил его «исключить» только за **отказ ему подчиниться.**

Пуришкевич был формально неправ. Это все и признали. В протесте, поданном по этому поводу, сами правые нашли только, что «исключение» слишком **жестокая** мера, что предложение об этом последовало **не сразу после** обнаружившейся некорректности Пуришкевича по отношению к Председателю, а **после предложения** почтить память убитых, что произвело «тяжелое впечатление». Это возможно. Мне потом говорил Пуришкевич, что справа его травили за то, что он почтил память убитого Иоллоса без «эквивалента». Он надеялся, что его предложение проскочит без возражений, если взять Думу врасплох и что это для всех будет полезно. Потому то он и потерял власть над собой, когда в этом плане его прервал Головин. С его стороны такой расчет был легкомыслен. Но зато, если бы дело прошло так, как он надеялся, этот жест мог бы, действительно, Думу от этого острого вопроса **избавить.** И надо правым отдать справедливость, что когда трюк Пуришкевича не удался, их фракция не стала этого инцидента ни **раздувать,** ни

искажать. Когда же 17-го мая Бобринский этого вопроса опять коснулся, произошел такой диалог:

«Гр. Бобринский: Когда убили Иоллоса, мы выразили свое почтение памяти покойного, следовательно, порицание убийцам. (Шум). И вот, господа, дело вашей совести сказать, были ли вы правы или нет, когда вы, сославшись на формальные причины, отказались почтить память павших солдат и городовых.

Председательствующий: Дума вовсе не отказывалась почтить память павших. Этот вопрос был снят председателем, как внесенный без соблюдения должного порядка.

Гр. Бобринский: **Совершенно верно, я так и сказал».**

К вопросу скоро вернулись. 5-го апреля была оглашена повестка на 6-ое апреля, где вопрос об осуждении террора был, наконец, поставлен под № 5. Но когда 6-го апреля дошли до него, оказалось, что времени до конца заседания мало и Кузьмин-Караваев предложил перейти к № 6 повестки, где был мелкий доклад о поверке выборов. Бобринский его **поддержал**, прося, чтобы для осуждения террора, в виду важности вопроса, было посвящено целое **специальное** заседание. Такое решение осложнило дело. Когда 9-го апреля правые подали новое заявление о постановке на повестку этого вопроса, депутат Березин стал возражать и доказывать, что осуждение террора вообще вовсе не спешно. Страсти немедленно вспыхнули. Пуришкевич опять стал неистовствовать.

«Господа народные представители. Когда я услышал здесь произнесенную сейчас речь, я весь был полон негодования (Смех). . . . .

«Не далее, как полчаса тому назад, или час, я получил телеграмму из Златоуста с известием о том, что там убит председатель Союза русского народа (смех слева). Семья осталась без куска хлеба. (Голос справа: Смейтесь! Стыдно! Стыдно!). (Смех слева)».

Смех по этому поводу, конечно, был неприличен. Его мягко, но основательно осудил еп. Евлогий.

Еп. Евлогий: Господа народные представители. Я не думал говорить в настоящую минуту, но когда при упоминании одного члена Думы об убийстве председателя одного из союзов русского народа раздалось шиканье и смех... (Голоса: не было этого... Это было (справа). Я был глубоко взволнован. Тайна жизни и смерти такая великая священная тайна, пред которой...»

Когда перешли к голосованию, то за немедленную постановку на повестку вопроса голосовали крайние правые и крайние левые, но против них встало 245 человек из центра. Бобринский горячо приветствовал согласие левых на обсуждение.

Гр. Бобринский (с места): Это — с открытым забралом... Это можно... не прикрываясь... Это благородно. Молодцы...

Так вопрос был **отложен.** Через неделю к нему возвращаются. 12-го апреля просят поставить его на повестку на определенный день Фоминой недели. Говорят в пользу этого Бобринский и еп. Платон. В этом заседании Рейн негодует:

«Кто-то пустил мысль, — возмущается он, — и она была подхвачена прессой, что весь этот вопрос, о порицании политических убийств, есть не что иное, как провокация правых (Голоса: верно; аплодисменты). Вот против этого я не нахожу слов, чтобы достаточно протестовать... Из прений будет ясно, что это не провокация, а дело чести и достоинства Государственной Думы».

После пасхальных каникул вопрос возобновляется, но самый **смысл** предложения переменился. Во внутренней жизни Думы произошли большие события. Дума чуть не была взорвана на Зурабовском инциденте. Для ее спасения кадеты резко отмежевались от левых, очутились в одном лагере с правыми. Правые хотели использовать эту новую ситуацию, подтолкнув Думу на осуждение террора, и этим ускорить формирование правого большинства. 30-го апреля при обсуждении повестки Крупенский утверждает, что заявление об осуждении политических убийств должно итти **первым.** «Никакие доводы, никакие мотивы не могут устранить требования рассмотрения этого серьезного вопроса». На другой же день, 1-го мая, Крупенский негодует против кадет: «Весь левый фланг и правые **желают** его обсудить, только центр заигрывает с Революцией. Но все равно Революция ему **не поверит».**

Здесь произошел инцидент, который имел отношение к этому вопросу: это запрос правых по 40 ст. Уч. Гос. Думы о покушении на жизнь Государя. Покушение было раздуто; оно носило марку Азефа и о нем в своей книге рассказал и Герасимов. Про заговор знали с первого дня и не мешали ему развиваться под охраной властей, пока не нашли, наконец, нужным его «раскрыть». Но в тот момент об этой подкладке не знали и могли думать, что Государь действительно подвергался опасности.

Я хочу рассказать здесь неизвестную подробность, характерную для тогдашнего отношения правых и к кадетам и к Думе. О

предстоящем запросе Бобринский меня **предупредил**, чтоб не захватить нас врасплох. Предупреждение не было секретом между мною и ним. Оно было «официально». Но вот что было секретом. Всякий запрос кончается постановлением Думы; не всякая формула, однако, могла для кадет быть приемлема. Бобринский хорошо это понял и совсем **не хотел** кадет провоцировать, напротив. Мы с ним решили, что всего безопаснее было бы, чтобы кадеты **сами** свою формулу предложили, чтобы она голосовалась раньше других и этим устранила другие. Очевидно, было все-таки нужно, чтобы она была и для правых приемлемой. Кадеты составили формулу. Я показал ее Бобринскому. Часть его единомышленников была им посвящена в этот секрет, те же, которые могли хотеть Думу на этом взорвать, ничего не знали. Этого мало. Так как запрос предъявлялся с ведома Столыпина, то Бобринский счел нужным предварительно показать и **ему** эту формулу; на случай его возражений, для ускорения соглашения, просил меня к нему с ним вместе пойти. О моих встречах со Столыпиным я буду подробней говорить в следующей главе. Столыпин оказался удовлетворен этой формулой, так как в ней говорилось о «живейшей радости от избавления Государя» и о «глубоком негодовании к преступному замыслу». Потом заседание было по плану разыграно. Правые приготовили формулу, в которой были включены те ругательные слова, которых кадеты не могли бы принять: в ней говорилось о «гнусном заговоре», о «презренных крамольниках», о «кровожадных изуверах», и т. д. Ее предложить должен был Рейн. Он не знал, что кадеты уже свою формулу приготовили и не торопился. Долгоруков же с нею в руках следил за его каждым движением. Когда Бобринский кончил свою первую, очень высокопарную речь, а Столыпин стал отвечать, Долгоруков на глазах у всех нашу формулу подал. После речи Столыпина Головин ее огласил; только **после этого** Рейн вошел на трибуну и прочитал формулу правых. Он опоздал. По Наказу голосование формул происходило по очереди их представления. Бобринский было сбился, попросив перерыва для «соглашения» формул. Дума, конечно, его отклонила и наша формула была принята единогласно*).

Все прошло бы благополучно, если бы левые фракции не сочли нужным по этому совершенно неподходящему поводу сделать демонстрацию и на запросе **отсутствовать.** Они объясняли это «европейской традицией». Это сомнительно, но и помешать этому было нельзя; к сожалению, их отсутствие зачем-то было отмечено в стенограмме, печатавшейся с разрешения Председателя Думы, хо-

---

*) Из воспоминаний Коковцева (стр. 268) ясно, что на скамьях правительства не заметили, что произошло.

Коковцев пишет, что с тех же **правых** скамей были предложены формулы перехода и одна **из них** была принята без возражений.

тя вообще в официальных стенограммах таких наблюдений не помещалось. И допустив это к печатанию, на возмущение Бобринского, что запрос в том же заседании об обыске у Озоля*), повлекшем потом госпуск Думы, внесли те самые люди, которые «забыли своего Государя», Головин счел возможным в возражение ему пояснить, что «формула перехода к очередным делам по предыдущему делу была принята Гос. Думой **единогласно».** Этот словесный фокус никого обмануть не мог и впечатление от происшедшей демонстрации в Думе только усилил.

У этого запроса оказалась еще закулисная сторона. Для полноты я о ней расскажу. Она поучительна.

Я принадлежал к тем, кто не видел благовидного основания отказываться от «осуждения террора». Я достаточно часто защищал на суде террористов, чтобы не смешивать «преступление» и «человека». Можно считать определенное действие преступлением и, как таковое, его осуждать и все-таки защищать от наказания **того,** кто его **совершил.** Но, если даже простой уголовный защитник не имеет права оправдывать самое преступное действие, то тем более законодатели, которые пишут законы и должны плохие из них отменять и имеют привилегию обличать «незакономерные действия

---

*) Этот обыск у депутата Озоля, где помещалась фракция соц.-демократов, был первым шагом к роспуску Думы. Он произошел в субботу, 5-го мая, в 9 часов вечера. В помещение «ворвались» наряды полиции с револьверами и криками: «руки вверх!» Там находилось около 20 депутатов и посторонние люди. Помещение было обыскано, посторонние подвергались личному обыску и никого не выпускали до 3 часов ночи. В предъявленном 7-го мая запросе с.-демократы указывали на незаконность «ограничения их свободы, на нарушение ст 15 Учр. Гос. Думы». Мин. Юстиции это оспаривал. При этом и он, и Столыпин, как на причину обыска, указывали на агентурные сведения, будто в помещении фракции происходило сборище революционно-военной организации. Запрос был принят; а бумаги, отобранные во время этого обыска, и легли в основание привлечения к следствию всей соц.-демократической фракции. Позднее стало известно, что Охранному отделению было поручено арестовать виновных с поличным; с этой целью в помещение фракции была отправлена делегация революционной военной организации, которая соц.-демократам должна была передать «преступный» Наказ; все это доказало бы ее связь с социал-демократами. Секретарем этой организации был агент Охраннаго отделения — Шорникова. Полиция должна была захватить делегацию и наказ на месте преступного действия. Но расчет не удался. Делегацию депутаты отпустили без разговоров и только Озоль взял Наказ. Полиция пришла, когда никого уже не было; даже «наказа» среди бумаг не нашли. Он остался в кармане Озоля. Но Наказ все-таки на следствии фигурировал; копия его была восстановлена и доставлена следователю. Эта комедия раскрылась только позднее. Но запрос о незаконности обыска, в день, когда обсуждался запрос о террористическом акте против Государя и когда социал-демократы демонстративно блистали отсутствием, пришел не во время, тем более, что никто знать не мог, что **оба,** эти дела, бывшие предметом двух разных запросов, были «поставлены» тем же генералом Герасимовым.

власти», **не имели** этого права. И еще тем более **вся Дума, как учреждение.** Не делать попыток дурной закон отменить и в то же время одобрять его нарушение — значило считать себя выше закона. Мне претила готовность Думы из конституционного учреждения превращать себя в орудие Революции, т. е. бесправия и беззакония, в какие бы красивые одежды их ни рядили.

Когда, накануне 7-го мая, мы узнали, что левые на заседании будут отсутствовать, мне пришло в голову использовать это отсутствие и самый запрос, чтобы раз навсегда отделаться от вопроса о терроре. Я рассказал об этом кое-кому из фракции, в том числе ее Председателю — Долгорукову. Меня в этом одобрили. Перед открытием заседания я предложил фракции вставить в нашу формулу какие-нибудь слова в роде «осуждая применение террора для достижения политических целей». Я указывал не только на общие соображения, по которым Дума не может принципиально его не осуждать; но и на то, что для демократической партии непоследовательно «негодовать» на террор, направленный против Монарха и отказываться осудить его применение к простым смертным; наконец, что в отсутствие левых новая формула проскочит без спора и даст нам возможность считать вопрос о терроре снятым раз навсегда.

Мое предложение было при голосовании во фракции одобрено значительным ее большинством. Так кадеты дошли таки до «осуждения террора». Но если большинство думской фракци оказалось со мной, то и меньшинство ее было упорно. Подчиняться большинству оно не хотело, грозило тоже отсутствовать на заседании: один из решительных оппонентов*) сообщил, будто левые фракции, узнав, что готовилось, хотят вернуться и возражать. Не знаю, действительно ли левые этим грозили, или это было «военной хитростью» и мои оппоненты сами их к этому подстрекали. И. Гессен с возмущением мне говорил, что я «гублю Думу». Я из этого понял, что при таком отношении мой «трюк», так как это был все-таки трюк, не пройдет без возражений в тот день, когда мы будем доказывать, что вопрос о терроре **уже разрешен.** Я предложение снял и оно осталось публике неизвестным.

10-го мая обсуждался Наказ. В нем был параграф 97-ой о праве Думы, по выслушании двух только ораторов, **отказаться от рассмотрения** любого поставленного перед нею вопроса. Это классическая question préalable французского регламента. Против него пошли возражения и справа и слева. Крупенский выставил такое умное возражение: «Этот тормаз, несомненно, ограничивает права меньшинства. Если бы он клонился к парализованию левого крыла Думы, то я бы еще, может быть, согласился с такой обще-

*) Им был Н. В. Тесленко.

государственной точкой зрения, но он парализует и правое. Поэтому я протестую». А Бобринский, как будто чувствуя, куда клонится дело, в упор мне поставил вопрос: «Пускай скажет мне член Думы Маклаков, положа руку на сердце, не следует ли выработать такой Наказ, который обеспечивал бы права меньшинства, при котором можно было бы обсуждать вопрос о терроре; пускай он мне скажет, что Дума неправа в этом деле (аплодисменты справа). Да, если большинство заблуждается, то это не значит, что меньшинство не имеет права поставить вопрос, без которого Государственная Дума существовать, как честное учреждение, не может» (голоса справа: Браво, браво! Аплодисменты справа).

После горячих споров параграф 97-ой был принят, с увеличением числа ораторов с 2 до 4, — что было правильно, — и с изъятием от действия этого параграфа — запросов и законопроектов. Это было тоже резонно.

Но настояния правых о постановке этого вопроса о терроре становились все настоятельнее. Справа мне объяснили его новую подкладку. Заседание 7-го мая, в котором почти вся левая половина Думы демонстрировала антимонархические чувства в день, когда речь шла о покушении на жизнь Государя, переполнило чашу без того уже полную после инцидента Зурабова. Формально придраться к этому было нельзя, но шансы на сохранение Думы были подорваны. Нужно было принимать какие-то экстренные меры, чтобы Думу спасти. Поэтому в начале заседания 10-го мая возвращаются снова к вопросу о терроре уже с **этой новой целью.** Бобринский и Крупенский просят поставить его на повестку. Крупенский это мотивирует так:

> «Затем по порядку дня я должен сказать, что в виду надвигающихся грозных событий, среди которых может погибнуть наша молодая конституция, нам нужно осудить политические убийства».

11-го мая он развивает тот же мотив. Нужны теперь уже не речи, как думали прежде, чтобы в **самой стране** дискредитировать террор; нужно голосование Думы для **ее же** спасения. Он говорит:

> «Я хочу объяснить, что нет основания бояться и думать, что оно затянет Думу в какие-то прения. Я полагаю, что этот вопрос не требует никаких прений и может быть решен голосованием в две минуты. Если господа кадеты и польское коло думают, что скомпрометируют себя относительно левых своих товарищей, то они могут быть спокойными, — эти левые товарищи в их революционность не поверят и презирают их так же, как презирают правых».

15-го мая, в конце заседания, Дума доходит до вопроса о назначении для осуждения террора определенного дня. Если правда, что это было нужно для сохранения Думы, то в этот день Дума себя похоронила. Трудовики внесли предложение о применении к этому вопросу только что принятого Думой параграфа 97-го Наказа, т. е. о признании его неподлежащим рассмотрению Думы.

Наказ допускал только две речи за предложение и две против. Кадеты молчали. **«За»** говорили трудовик Недовидов от фракции и лично от себя нар. соц. Алашеев. Оба настаивали на практической **бесполезности** осуждения особенно со стороны такой Думы, которую правительство все время стремится унизить. **Против** предложения говорил от октябристов — Капустин и от правых еп. Евлогий. Оба были искренни и тактичны:

> «Капустин: — Всей душой сочувствуя таким мероприятиям, как отмена смертной казни, как отмена всех тягостей военных положений, усиленных охран, и т. д., я думаю, что пора иметь смелость не уклоняться, а вынести ту или другую резолюцию и решить отношение к политическим убийствам. Не сделать этого, это будет такое постановление, которое роняет Государственную Думу в нравственном смысле, роняет в глазах большого количества русского населения».
>
> «Еп. Евлогий: — Во имя нравственного достоинства Государственной Думы, которая представляет собой лучших избранников народа, я взываю, чтобы, как можно скорее было вынесено порицание этому политическому террору. Тогда страна вздохнет свободно и из груди всего нашего многострадального народа вырвется вздох облегчения, и, повторяю, господа, Государственная Дума от этого только упрочит и утвердит свой нравственный авторитет».

При голосовании «предварительный вопрос» был принят большинством 215 против 146. Соц.-демократы, с.-ры, н.-с-ты и правые голосовали против него, но очевидно, не в полном составе. За него были трудовики, кадеты и многие беспартийные. Так Дума, действительно, **уклонилась** в этот день от поставленного два месяца назад вопроса об ее отношении к террору.

Вопрос формально был снят, но этим не кончился. К нему вернулись через два дня, 17-го мая, при обсуждении запроса о Рижских застенках, после ответа правительства (см. гл. XI). Спор шел тогда, главным образом, о фактической стороне, но в речах и в формулах перехода, которые отдельные фракции предложили, они касались не только беззаконных действий правительства, но и революционного террора. Так признанный неподлежащим рассмотрению вопрос вновь выплывал. Те правые ораторы, которые еще

не потеряли надежды эту Думу спасти, со страстностью стали убеждать ее исправить ошибку и не уклоняться от осуждения террора.

В этом смысле, прежде всего, высказался Бобринский; чтобы облегчить кадетам голосование он осуждал не только революционный, но и «правый» террор.

> «Бобринский: — Я никогда не согласился бы осудить террор односторонне. Прежде всего, сильнее всего я осудил бы, так называемый террор справа. Мы осуждаем всякое насилие, откуда бы оно ни исходило. Сила принуждения, насилие, — это есть право исключительно государства, а не частных лиц или ассоциаций частных лиц. Государство обязано применять силу и насилие для того, чтобы обуздать тех, которые непослушны закону. Но частные лица, когда они берут на себя то, что предоставлено только правительству, они суть преступники. А посему я говорю, что, осуждая насилие слева, осуждая открыто и смело, я с омерзением отношусь к насилию справа». . . . . .
> . . . .
>
> «И теперь, господа, забыв всякую рознь, забыв всякие разногласия, — конечно, все те, которые стоят за народное представительство в России . . .
>
> — все вместе соединимся и вспомним Бога и нашу совесть, скажем пред лицом всей России: стой, насильники, довольно крови, пора итти России по пути прогресса, который ей указал ее Император».

О том же просил еп. Платон:

> «Выразим мы свое осуждение политическим убийствам и террору (шум слева), и этим мы уничтожим тот акт, который Дума допустила 15-го мая и который может быть понят, как акт общего благословения со стороны Думы политическим убийствам и террору».
>
> «Председательствующий: — Считаю нужным заметить, что то постановление Думы никоим образом не может быть понято, как благословение террора».

По этому вопросу выступил и его первоначальный автор, поднявший его в 1-ой Думе, М. С. Стахович, которого никто не мог заподозрить в несочувствии представительству и 2-ой Думе в частности:

> «Упрекая много раз очень часто другую сторону, которую мы считаем в этом первой виноватой, мы в то же самое время, говорю я, должны сказать другой, что мы осуждаем эти явле-

ния, потому, что это бесплодный ужас, потому, что это бесцельное безумие, потому, что это смертный грех. Если мы этого не сделаем, помните... (шум)...........................

. . .«Помните, господа, что если Государственная Дума не осудит политических убийств, она совершит его — над собою».

Это была последняя попытка. Более того, осуждение террора в этот день сделалось даже возможным, поскольку оно могло бы быть не односторонним; сумело бы связать себя с осуждением и правого террора (Бобринский), и даже правительственного (Стахович). В этот день все почувствовали существование того высшего начала — **права**, с высоты которого можно было осуждать все аналогичные явления, его нарушавшие. Эта мысль не была досказана до конца. К ней только издали приближались. Знаменательно, однако, что именно те речи, в которых ставился так этот вопрос вызывали не только наибольшее, но общее одобрение Думы (Кузьмин-Караваев, Булгаков, Бобринский). Казалось — выход был найден; или, по крайней мере, все согласились, **где** его нужно **искать**. Но если цель была намечена правильно, то дойти к ней в этот день не сумели, тем более, что с ней оказался связан побочный вопрос об отношении к фактической стороне тех Рижских событий, о которых предъявлялся запрос и о которых было полное разногласие в Думе. Придумать формулу, сохранив в ней такие оттенки, которые бы сделали ее приемлемой для **всех**, было задачей, которую можно было только постепенно и совместно исполнить. Партии же принесли с собой в этот день готовые формулы, где либо не было вовсе порицания другой стороны (соц.-демократы, трудовики, Крупенский), либо оно было так затушевано, что его разыскать можно было только под лупой. (Таковы были формулы Капустина, Дмовского и, наконец, самой партии к.-д.). Когда стали голосовать все эти формулы по порядку, все были отвергнуты без исключения, о чем я уже говорил (глава XI). По думским правилам инцидент этим должен был быть исчерпан, и о запросе толковать было более нечего. Незаконная попытка трудовиков Познанского и Березина измором навязать Думе свою партийную формулу была настолько ниже предмета, что хотя она им внешне и удалась, но никто их формулу не принял за мнение Думы. Задачу нужно было поставить, не связывая ее со спорным Рижским запросом, т. е. поставить **самостоятельно**; но Дума 15-го мая уже отказалась от рассмотрения самостоятельного вопроса о терроре. И потому Шульгин, ненавистник Второй Думы, был последователен, когда сказал в этот день:

«Господа Министры здесь утешали нас в том, что, мол, в Риге были только побои. Меня это совсем не утешает, потому

что я ясно вижу, что будет. И я говорю, господа, если политика, которую мы ведем, будет продолжаться далее, если мы так упорно будем отказываться от всякого выражения порицания террору, то мы приведем . . . .

. . .«Мы, господа, приведем к тому, что не в застенках, как вы их называете, бюрократических будут пытки, они будут везде. Будут пытать так, как пытают в деревнях, будут рвать на части бунтовщиков, и поджигателей, бросать в огонь, будут массовые погромы, где никому пощады не будет. Но с глубоким огорчением я должен сказать, что если это будет, пусть вся кровь падет на позорное заседание 15-го мая (шум, голоса: вон, вон!)»

Так кончился знаменитый вопрос об осуждении террора. В Манифесте о роспуске Думы было указано: «Уклонившись от осуждения убийств и насилий, Дума не оказала в деле водворения порядка нравственного содействия правительству»...

Я подробно изложил прохождение во 2-ой Думе этого вопроса, чтобы дать возможность правильно его оценить.

Нельзя поддерживать обобщенное мнение, будто вопрос был **провокацией** правых. Имевшие «провокацию» своей целью должны были желать, чтобы их предложение было **отвергнуто** и для этого стараться принятие его затруднять. Если такие люди и были, то считались единицами. Большинство наоборот делало все, чтобы **облегчить** Думе осуждение террора. Когда 15-го мая Дума отказалась от его рассмотрения, они 17-го мая к нему снова вернулись, сами громко и демонстративно осуждали насилия **правых**, и не их вина, что Дума не сумела найти нужной формулы в тот момент, когда возможность ее, как будто, обрисовалась. Вторичная их неудача разочаровала их в Думе; с тех пор даже у ее прежних сторонников появляются относительно нее новые, явно враждебные ноты. Ее верный защитник справа гр. Бобринский, 21-го мая при обсуждении закона о воинской повинности для поднадзорных, говоря о Гос. Думе, как о «действительно народном представительстве и законодательном учреждении», считает уже нужным иронически оговориться: «я не говорю, что это относится к настоящему составу Государственной Думы». А 24-го мая голосами правых ставится на повестку уже прямо провокационный законопроект об амнистии. Правые эту Думу с этих пор «беречь» не хотели.

Почему **кадеты** не захотели голосовать осуждения? Правильно ли это было с их стороны? Я лично на осуждение соглашался; такое предложение раз во фракции сделал и получил большинство; но я понимаю тех, которые **не могли** на это пойти.

Всякое выступление приходится толковать в связи с его об-

становкой. Нельзя оправдать Первой Думы, которая в осуждении террора не пошла за Стаховичем. Тогда устанавливался новый конституционный порядок. Его первым словом было прощение прошлому, амнистия всех преступлений; у Думы было моральное право сказать, что при этом новом порядке террору места быть не должно. Иначе нельзя было просить и амнистии.

Теперь было не то. Уже при новом порядке власть с революцией продолжала бороться беззаконием, до Азефа включительно. Глава правительства защищал эту борьбу. Он говорил о минутах, когда государственная необходимость стоит выше права, и когда надлежит «выбирать» между «целостью теории и целостью государства». Выступать **при такой идеологии власти** с осуждением террора — значило бы оправдывать те беззаконныя действия власти, с которыми Дума считала своим первым долгом бороться. Когда Дума отказалась вынести осуждение террору, этот отказ толковали, как его одобрение. Но если бы Дума только **его один** осудила в этом с большим правом можно было бы увидеть **одобрение беззаконных действий правительства.** На это во 2-ой Думе кадеты итти не могли.

Я подчеркнул, как решительно думские правые осудили проявления правого террора. Бобринский говорил 17-го мая: «Я с презрением отношусь к насилию справа... Сила принуждения, насилие есть право исключительно государства, а не частных лиц». Честь и слава ему за эти слова. Но и государство, которое имеет право на силу, может не все; оно творит право, как общую норму, но зато и само должно ей подчиняться. Дума могла осуждать террор только **во имя этого права**; тогда она выступала бы представителем иного начала, а не интереса одной из сторон. Пока же государственная власть смотрит иначе и считает себя выше права, она этим и террор питает. Дело не в злоупотреблениях отдельных чинов власти, о которых шла речь в Рижском запросе, и которых правительство иногда предавало суду; дело в той идеологии, которой Столыпин оправдывал свои беззакония. Пока он от нее не отрекся, приглашение к осуждению террора вызывало против себя моральный отпор.

И во всяком случае этот вопрос был так сложен, что брать осуждение террора, как пробу «конституционной лойяльности» значило судить слишком поверхностно. Дума по инстинкту от него уклонилась. Полного ответа она дать не могла, а неполный ответ мог быть перетолкован. Вопрос о границах прав государственной власти, о ее «всемогуществе», «неограниченности», которые раньше проповедывало Самодержавие, а потом тоталитарные государства, превосходил компетенцию Думы. Правые не понимали трагизма вопроса. Осуждение террора они требовали не во имя правового порядка, а во имя поддержки «правительства». Поддерживать его на этом пути — значило бы отречься от себя и от «правового порядка» и очутиться в противоположном воюющем лагере. Кадеты не мо-

гли этого искренно сделать, как бы к террору они ни относились. Это могло быть со стороны Думы ошибкой. Но ошибка объяснялась ее искренностью в этом вопросе. Когда в 3-й Думе Макаров говорил 8-го февраля 1908 г. будто «просьба правительства об осуждении террора была тщетна», так как «тогда, повидимому разделялась мысль, что законодательное строительство должно было быть осуществлено путем революции, путем убийств, грабежей, взрывов и т. п. явлений», — подобное «остроумие» было недостойной передержкой и демагогией. Идейный разрыв либерализма и Революции, который можно было желать и приветствовать, не следовало затруднять смешением с трудным вопросом о пределах прав «государственной власти» над «личностью», который перед непредубежденною совестью ставила репрессивная политика Столыпина. Она и получила возмездие в уклонении Думы от осуждения террора.

ГЛАВА XV.

Причины роспуска Думы.

Как бы ни были понятны и законны мотивы, по которым Гос. Дума уклонилась от осуждения террора, она этим оттолкнула от себя тот спасательный круг, который в ее интересах ей протягивало ее правое меньшинство. Она нанесла себе этим больший удар, чем сама ожидала. Однако, это все-таки не объясняет, почему ее распустили в момент, когда серьезная работа в ней начиналась и когда возможность образования в ней делового рабочего центра становилась для всех очевидной.

Надо признать, прежде всего, что инициатива роспуска на этот раз не только не шла **от** Столыпина, но скорее **против** него. На роспуске упорно, под конец и с неудовольствием за сопротивление Министерства, настаивал Государь. «У Государя, — пишет Коковцев в «Воспоминаниях»—после инцидента Зурабова, не могло быть другого отношения, как недоумение, куда же итти дальше и чего же еще ждать? Он это и высказал открыто Столыпину, как не раз говорил и мне...» «Я хорошо помню, как на одном из докладов между 17-м апреля и 10-м мая, Государь прямо спросил, чем я объясняю, что Совет Министров все еще медлит представить ему на утверждение Указ о роспуске Думы и о пересмотре избирательного закона».

Крыжановский к этому добавляет («Воспоминания»), что недовольный медлительностью правительства с роспуском Думы, Государь «прислал Столыпину записку в самых энергичных выражениях». В ней было сказано: «пора треснуть»*). Столыпину пришлось **подчиниться.** Накануне роспуска он писал Государю: «Завтра вношу известное Вашему Величеству требование в Думу и если в субботу она его не выполнит, то, согласно приказанию Вашего Величества, объявляю Высочайший Манифест и Указ о роспуске. Новый избирательный закон будет представлен к подписанию завтра, в пятницу». Наконец, Коковцев рассказывает, что «Столыпин спросил Государя, можно ли будет Думу не распускать, **если она согласится** на исполнение требования?» Государь ответил, что «понимает,

*) С. Е. Крыжановский, — Воспоминания, стр. 111.

что в таком случае Думу нельзя распустить и поставить правительство в неловкое положение». В деле роспуска Столыпин оказался, таким образом, не инициатором, а лишь подчинившимся исполнителем. Роспуск был не его торжеством, как было с 1-ой Думой, а чьей-то победой **над ним.**

Ясно, **кто** в этом направлении вдохновлял Государя. Как будто специально затем, чтобы не оставить места сомнению, Государь одновременно с роспуском послал непозволительную телеграмму Дубровину*), в которой просил его передать «всем председателям отделов и всем членам Союза Русского Народа, приславшим мне изъявление одушевляющих их чувств, мою сердечную благодарность за их преданность и готовность служить престолу и благу дорогой родины»... Эта сенсационная телеграмма кончалась словами: «Да будет же мне Союз Русского Народа надежной опорой, служа для всех и во всем примером законности и порядка». Если припомнить кампанию, которую Дубровин вел в «Русском Знамени» против Столыпина, ясно, кто 3-го июня был подлинным «победителем»**).

В деле роспуска влияние Столыпина сказалось в другом; подчиняясь требованию Государя о роспуске, он, как и в 1-ой Думе, не хотел «отменять конституции». Теперь это было сложнее. Причиной неудачи двух Дум всеми считался избирательный закон 11-го декабря и было предрешено его изменить. Этого нельзя было сделать, не нарушив конституции, т. е. не прибегнув к «государственному перевороту». Задача Столыпина состояла, чтобы этот «переворот» был в самом Манифесте представлен, как «переворот» и оправдывался только тем, чем все «перевороты» оправдываются, т.е. государственной «необходимостью» и «невозможностью» легальным путем выйти из положения***), а не законным **правом** Монарха. Текст

---

*) А. С. Суворин не поверил **подлинности** такой телеграммы и отказался в «Новом Времени» ее напечатать.

**) Вот образчик этой кампании, которая была оглашена П. Б. Струве в его бюджетной речи 23-го марта; «Русское Знамя» в номере 65 писало: «Да будет ведомо Столыпину, что русский православный народ только смеется над его словами: «не запугаете». Когда-нибудь настанет время и время это наступит очень скоро, когда мы не позволим дурманить русских граждан обещаниями заморской конституции, кадетскими бреднями. Нет, все говорит за то, что настала пора покончить все политические счеты с нынешним Столыпинским Министерством». Вот в чем Государь видел пример законности и порядка.

***) «Но веря в любовь к Родине и государственный разум народа нашего, Мы усматриваем причину двукратного неуспеха деятельности Государственной Думы в том, что по новизне дела и несовершенству избирательного закона, законодательное учреждение это пополнялось членами, не являвшимися настоящими выразителями нужд и желаний народных...

...«Все эти изменения в порядке выборов не могут быть проведены обычным законодательным путем через ту Государственную Думу, состав коей признан Нами неудовлетворительным, вследствие несовер-

этого Манифеста, как я уже указывал, был лично написан Столыпиным. Если причины роспуска Думы в Манифесте были неправдивы и недостойны, то отношение к «перевороту» было в нем с конституционной точки зрения безупречно. Я говорю не о том, был ли переворот полезен и нужен; но раз он был сделан, то мотивировать его так, чтобы этим одновременно не уничтожать конституции, можно было **только** так, как это сделал Столыпин.

Сохранение «конституции» при роспуске Думы омрачало торжество подлинных правых и восстанавливало их против Столыпина. Победа их поэтому была, неполна, хотя была все же победой. А сам Столыпин в этом вопросе признавал себя побежденным. Беспристрастный Коковцев свидетельствует в «Воспоминаниях», что Столыпин не мало боролся с самим собою, прежде чем решился встать на путь пересмотра избирательного закона с бесспорным нарушением закона о порядке его пересмотра и **сделал это исключительно во имя идеи народного представительства,** хотя бы ценою такого явного отступления от закона. В этом отношении положение правительства и в особенности самого Столыпина, было по истине трагическим. Лично он был убежденным поборником не только народного представительства, но и идеи законности вообще... Сам же Государь смотрел на этот вопрос «проще».»

Если Столыпин **так** на это смотрел и понимал вред «переворота», то почему он в этот момент Думу **перестал** защищать? Головин не затрудняется объяснением:

> «Зурабовский инцидент, — пишет он (Кр. Арх., т. XIX) — был последним доказательством желания Столыпина содействовать сохранению Второй Думы. По всей вероятности, Столыпин убедился, что Дума висит на волоске и что, держась за нее, он сам должен будет потерять свое личное влияние и положение. И Столыпин переходит в лагерь врагов Думы».

Если бы это было так, и все дело свелось к заботам Столыпина о своей личной карьере, то вопрос о причинах роспуска Думы интереса и не имел бы. Но таким поверхностным ответом удовлетвориться нельзя.

Надо, конечно, совершенно отбросить «открытие в Думе заговора», как **причину** роспуска. Хотя это и сказано в Манифесте, но это так же неверно, как и другие причины, которые в нем были приведены. Мы знаем теперь, что этот заговор, кроме того, был бутафорией. Он не **причина** роспуска Думы, а искусственно созданный

шенства самого способа избрания ее членов. Только Власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической Власти Русского Царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым».

для него **предлог** и оправдание. Думу не потому распустили, что открыли заговор, а заговор «открыли» потому, что Думу было решено распустить. Тогда открытие его и было возложено на Охранное отделение, которое поручило исполнение этого Бродскому и Шорниковой.

Это назвали «провокацией». Это не вполне точно. Не Шорникова создала революционную работу соц.-демократов в войсках, как не Азеф плодил террористов. Пропаганда соц.-демократов в войсках, действительно, велась очень давно. **Она**, по существу, и **оправдывала** их политику в Думе. Если бы они не готовили «восстания» и «революции», они не имели бы морального права конституционной работе Думы мешать. И они не ограничились пропагандой в деревнях и на фабриках, а, несмотря на кажущуюся безнадежность этой затеи, старались распропагандировать и **войска**. Может быть было оплошностью и власти, и общества не дооценивать опасность для Государства этой революционной работы. Но это вопрос другого порядка. Важно, что при помощи агентов раскрыть видимость заговора среди думских соц.-демократов было всегда очень легко. Это и было сделано тогда, когда сочли нужным с Думой покончить. В правительстве не все знали, что тогда делалось. Коковцев свидетельствует (т. I, стр. 272), что «никто из правительства не имел никакого понятия о том, что **секретарь военно-революционной организации** была агентом Департамента Полиции, и я уверен, что и Столыпин не знал этого». В последнем Коковцев, может быть, и ошибается. К сожалению, деятельность Герасимова и Азефа для Столыпина не составляла секрета. Эту тайну Столыпин унес с собою в могилу; но дело не в этом.

Сохранять эту Думу при ее партийном составе было все время трудной задачей. Недаром 2-ая Дума считалась обреченной с момента избрания. И все-таки Столыпин ее защищал даже тогда, когда этим компрометировал себя в глазах Государя. Правильнее, быть может, было бы ставить вопрос не о том, почему Столыпин, наконец, согласился ее распустить, но почему он так упорно и долго ее **защищал?** Чего он от нее ожидал? Только сам Столыпин, или те, с кем он «делился душевною повестью» могли бы на это ответить. Мы можем только **догадываться.** Потому получает особенный интерес все, что может направить на надлежащий путь эти догадки. Я хочу в этот вопрос ввести свидетельские показания из моих встреч со Столыпиным.

Столыпин искал разговоров с кадетами. Об этом в «Воспоминаниях» рассказывал Головин*); как и о том, что от содействия ему в этом желании он «уклонился» и «отослал» его к Челнокову. Он же добавил, что «насколько известно ему, М. В. Челноков, В. А. Мак-

*) Красный Архив, т. 19.

лаков, П. Б. Струве и И. В. Гессен беседовали со Столыпиным, но ничего путного из этого не вышло. **Различие во взглядах и требованиях Столыпина и представителей центра Думы было столь значительно, что договориться до чего-либо было невозможно».**

Не знаю, **кто** это Головину рассказал, но поскольку в этих словах речь идет обо мне, это совершенно неверно. Со мной, по крайней мере, дело обстояло не так. Моя первая встреча со Столыпиным не была устроена Челноковым, произошла раньше и была связана с моим выступлением по военно-полевым судам. Очень скоро после этого был какой-то обед во «Франции», излюбленной гостинице наших общественных деятелей. Был там и С. А. Котляревский, перводумец, кадет, из дисциплины Выборгское воззвание подписавший, но не могший себе этого шага простить. Он до обеда расспрашивал меня про Думу, про мои впечатления, очень советовал завязывать и поддерживать отношения с доброжелательными членами кабинета, в числе которых называл специально Извольского и Столыпина, и спросил неожиданно, не соглашусь ли я со Столыпиным встретиться, который будто бы этой встречи желал? Я ответил, что у меня нет «повода» его об этом просить. «Этого не нужно; он сам хочет к вам обратиться; он хотел только узнать, как вы к этому отнесетесь?» Я ничего предосудительного в этой встрече не видел и ответил согласием.

Обед не был окончен, как Котляревский вызвал меня из-за стола и сообщил, что Столыпин у аппарата. Так произошел наш первый контакт. Разговор с ним по телефону шел намеками; Столыпин, повидимому, боялся, что будет подслушан; выразил удовольствие, что мы скоро увидимся и сказал, что завтра **там, где оба мы будем,** он мне скажет о месте и времени встречи. На другой день в Государственной Думе он переслал мне записку, и вечером я был у него в Зимнем Дворце.

Я не придавал большого значения такой встрече; для своей партии я не был типичен и влияния в ней не имел: С. Котляревский знал это не хуже меня. Разговор со Столыпиным мог иметь поэтому только личный характер. Я понял потом, что Столыпин в подобных свиданиях искал суррогата того, чего ему не хватало — **общения с Думой.**

Мне не пришло в голову **тогда** наш разговор записать; но я его помню отчетливо. Во многих отношениях он был для меня неожиданным. В сжатом виде передам ход его точно.

Столыпин начал с преувеличенных «любезностей». «Я-де показал ему своей думской речью, что можно наносить удары правительству и не колебать государственности; а потому, хотя мы с ним в воюющих лагерях, у нас есть **общий язык.** Более того: из моей речи он кое-чему научился. Он поручил А. А. Макарову при обсуждении исключительных положений принять в соображение мои ука-

зания». Таково было вступление. Я отвечал ему в том же тоне. «Если, как это он говорил в своей декларации, он, действительно, стремится создать «правовое государство» в России и идет к этому конституционным путем, то почему он считает себя со мной в **воюющих** лагерях? Мы идем тогда к **той же** цели и **той же** дорогой. Различие между нами только в темпе движения. Но такие различия бывают и в среде одной партии. Из-за этого **не воюют** друг с другом; в конце концов установится какая-то **средняя** линия». Он прекратил ненужные любезности. «Так говорить можете вы, В. А. Маклаков, про себя. Ваша же партия не так рассуждает. В Первой Думе я на нее насмотрелся». Тут начался спор об этой Первой Думе; я ее защищал, хотя был с ним во многом согласен. А когда я указал, что во многих ошибках Думы виновато правительство своим отношением к ней, своим поведением после 17-го октября и т. д., он соглашался охотно, виня в этом Витте. Было-де безумием провозглашать и бросать в толпу общие лозунги, не облекая их немедленно в форму конкретных законов.

Мы перешли постепенно к тому, что было для него, очевидно, целью нашей беседы. «Сможет ли Вторая Дума работать? Найдется ли в ней **большинство** для работы? Ведь партийный состав Думы для России **парадоксальный».** Помню это его выражение. Я не буду пытаться воспроизвести весь ход нашего разговора; был диалог, реплики и возражения. Приведу только сущность. На мое замечание, что в «парадоксальности» Думы всего больше виновато правительство, он просил говорить **не о прошлом.** Прошлое всегда забывается; важно, что **теперь делать.** «Прошлое забывается, но не сразу; не будь этого прошлого, разве кадеты так бы отнеслись к его декларации?» — «Как же будут они относиться к законам, которые мы приготовили?» Я ответил ему то, что думал и что писал в X главе этой книги. Кадеты пойдут дальше его, будут оснащать его проекты своими поправками, но проваливать его законов не будут, поскольку эти законы **лучше** того, что сейчас существует. Но тех законов, которые стремятся ухудшить настоящее положение, Дума, конечно, не примет. Такая тактика, повидимому, его не беспокоила; самых радикальных «поправок» к законам он не боялся. «Но найдется ли в Думе большинство именно для **этой** политики?» «Я думаю, что найдется. Образовать его не легко; прошлое, которое вам хочется вычеркнуть, слишком во всех накипело. Но люди учатся фактами жизни. То, что невозможно сейчас, будет возможно завтра. Но нужно быть терпеливым к первым ошибкам». Он интересовался узнать, на чем я основываю надежду, что рабочее большинство **образуется,** что Дума «не будет заботиться **только** о том, чтобы волновать население, возбуждать к правительству ненависть?» «На том, что сама страна значительно успокоилась. Ведь именно это ее возбуждение толкало 1-ую Думу на то, что он сейчас в ней осуждает. Теперь та-

кого давления страны более нет. Чтобы убедиться в последствиях этого, пусть он поглядит на кадет, которых он называет своими **врагами.** Они все стоят **за работу,** воюют с противоположною тактикой, и если рабочее большинство образуется, то, конечно, не иначе, как **около них.** Поскольку правительство своего общего направления не переменит, оно будет иметь их **на своей** стороне, хотя этого они вам сказать и не могут. Да это и вам самому было бы вредно. А их поддержка для вас необходима. Без них и против них **правового государства создать** вы не можете. Где же, как не в них, его настоящая опора в России?» Он против этого не возражал. «Конечно, кадеты «мозг страны». Вы правы и в том, что страна успокоилась. Я держу ее пульс и это вижу. Но нельзя допустить, чтобы Дума это спокойствие страны пыталась расстроить и сама стала общее положение ухудшать. При ее составе возможно, что это будут ставить ее главною целью. Тогда спасти такую Думу будет нельзя». «Поймите, сказал он мне вдруг тоном совершенно неожиданной искренности, обстоятельства ведь переменились и в **другом отношении.** Распустить Первую Думу было непросто; Трепов в глаза мне это называл «авантюрой». Сейчас же иным представляется «авантюрой» мое желание **сохранить** эту Думу. И я себя спрашиваю: есть ли шанс на успех? есть ли вообще смысл над этим стараться?» Он этим затронул вопрос, о котором я не раз думал и сам. Мой ответ поэтому не был экспромптом. «Эта игра стоит свеч, — отвечал я ему. — Подумайте, какая ставка в этой игре. Чего вы добьетесь, распустив сейчас Думу? Что будете дальше вы делать? Измените избирательный закон, или Думу совсем упраздните? Тогда начнется прежняя борьба правительственной кучки с широким общественным фронтом. С реакционной Думой обществу будет **легче** бороться, чем с чистым Самодержавием. На такую Думу будет проще нападать, чем на Самодержавие. **Прежнего** Самодержавия вы все равно не вернете; 17-го октября оно себя подстрелило. А зато, если такую революционную Думу вы сумеете сделать рабочей, и большинство ее с собой примирите, это будет настоящей вашей победой. Всякая победа полна только тогда, когда побежденный может сказать: «Ты победил, Галилеянин». Чем Дума была по началу левее, тем знаменательнее будет **такая** «победа». Только не теряйте терпения и этой линии не покидайте».

Во всем разговоре вопросы ставил Столыпин. Я только ему отвечал и его ни о чем не расспрашивал: ведь это **он** пожелал меня видеть. О его собственных взглядах я мог только догадываться по его отношению к тому, что я говорил. Это, конечно, путь ненадежный для понимания. Я своих выводов поэтому и не навязываю. Но свое тогдашнее **впечатление** отчетливо помню; пока я говорил о сохранении 2-ой Думы, он не только не раз сочувственно кивал головой; он смотрел на меня тем удивленно-вопросительным взгля-

дом, каким глядят на того, кто излагает от себя мысли своего собеседника. Как будто он спрашивал: откуда я это знаю? Когда я кончил, он покушался что-то сказать, но останавливался. А потом с большой удовлетворенностью решительно заключил: «в этом вы правы. Очень, очень рад был познакомиться и побеседовать с вами. Ну, что же? Будем и дальше работать».

Мы на этом расстались. Разговор не выходил за пределы общих понятий. Никакого различия **в требованиях**, о котором говорит Головин, не обнаружилось. Беседа показалась мне интереснее, чем я ожидал. В искренности Столыпина в этом разговоре я сомневаться не мог; из-за чего стал бы он передо **мной** притворяться? Я понимал, что он и не может мне **все** говорить; мы в первый раз увидались. Но все время я чувствовал в нем совсем не **врага** нашему делу, а союзника, с которым столковаться возможно.

Стало одновременно ясно, как наше обоюдное положение деликатно. Было бы естественно эту беседу не держать **про себя**, а передать всем членам партии. Но этого было нельзя. Она при наших нравах непременно бы попала в печать. На это я не имел права. Как встреча врагов во время войны, она была бы соблазном для **обеих** сторон. При настроении правых, она могла бы вредить Столыпину в глазах Государя. А для кадет она показалась бы с **моей** стороны нарушением «дисциплины», если не просто «изменой». И притом мое впечатление от беседы **так расходилось** с официальным воззрением партии на Столыпина, как на непримиримого врага и Думы, и конституции, что для того, чтобы других убедить, нужны были более веские основания, чем наш разговор. Кроме недоразумения и злостного перетолкования из моего сообщения о нашем разговоре ничего бы не вышло. Поэтому я о ней рассказал только тем самым близким единомышленникам, которых во фракции кадет шутя называли, как и меня, «черносотенными» — Челнокову, Булгакову и Струве. Мы **одни** о ней знали.

Из этой встречи регулярного контакта со Столыпиным не получилось. Чаще других его из нас видал Челноков. Он с ним встречался, как Секретарь Думы; ходил с ходатайствами; как человек общительный, мог обо всем разговаривать. Но он был сам недостаточно в курсе кадетской высокой «политики». Зато он старался содействовать сближению Столыпина и с другими, более влиятельными, чем он, депутатами. Так И. Гессен в «Двух Веках» рассказал, как Челноков хотел устроить свиданье Столыпина с ним самим, Гессеном, и с Н. В. Тесленко. Тесленко из «партийной дисциплины» уклонился от «тайпых переговоров с премьером» и «под предлогом неотложного дела» уехал в Москву. Гессен же у Столыпина был: разговор их продолжался будто бы четыре часа, но он не запомнил, как он развивался»*). Однако, и из рассказа Гессена видно, что

*) Так пишет Гессен в «Двух Веках», стр. 246.

Столыпин старался доказать, что «Речь» и «кадетская партия» Столыпина «не хочет понять»; значит, он **искал** с ней понимания. Между прочим, при этом визите Столыпину сказали по телефону, что на другой день Государь принимает Дубровина и Столыпин видимо был этим поражен и озабочен. Все это было бы полезно нам знать.

Нужно признаться, что мы, которые **не** уклонились от встреч со Столыпиным, их все же и не «культивировали». Кроме случайных взаимных осведомлений, из них ничего не получалось. Но и это, как мы дальше увидим, могло быть полезно.

Естественно, что и среди правых мы старались отыскать тех, кто хотел Думу беречь и в ней наладить работу. Нашими главными, но совсем не единственными единомышленниками в этом были Стахович, Хомяков, Капустин, Бобринский и др. Раз состоялся даже обед, который устроили правые и на который они пригласили коекого из кадет, а кроме того поляков. Но общество было слишком многолюдно и разнородно, чтобы разговор мог быть **вполне** откровенен. Как курьез, вспоминаю поведение на нем поляков. Правые были противниками их **автономии**, и вообще польского национализма. В разговоре Дмовский мимоходом сказал, что оживление «национальной политики» в Польше было вызвано, главным образом, их желанием сделать **диверсию**, отодвинуть на второй план «социальный вопрос». Не знаю, было ли это сказано искренно, но такой подход к польскому национальному вопросу очень понравился экспансивному Бобринскому. Не было ли это сродни и тому объяснению позднейшей националистической политики Столыпина, которое он в 3-й Думе сам высказал Дымше, т. е. что она сможет «воодушевить и сплотить» враждебные партии в Думе?

Я рассказывал раньше, как Бобринский предупредил меня о «правом запросе», и как мы тогда вместе с ним ходили к Столыпину. Это была моя вторая с ним встреча. Сам Столыпин тогда с удовлетворением подчеркнул символичность нашего **совместного** появления; Бобринский в разговоре старался не только объяснять, но оправдывать кадетскую тактику в Думе. Он шутя говорил: «Когда кадет гнет **направо**, ему приходится поневоле, чтобы не упасть, поднимать левую ногу». Столыпин тоже шутил, что «кадет под столом незаметно жмет Революции ножку». Но за этими шутками впечатление осталось у обоих нас одинаковое. **Тогда, т. е. в начале мая**, следовательно уже после зурабовского инцидента, Столыпин еще не отрекся от Думы и ее против ее врагов **защищал.** Чтобы определить, почему и когда это в нем переменилось, нужно искать **в другом** месте и вернуться назад.

5-го апреля была выбрана аграрная комиссия, все аграрные законы в нее переданы, а прения «по направлению» их, все-таки, продолжались. Смысла они уже не имели и никто их не слушал. Но когда после пасхальных каникул, в конце апреля или в начале мая,

Челноков повидал Столыпина, он пришел к нам озабоченный: «Столыпин, рассказывал он своим красочным языком, «помешался» на аграрном вопросе». Он сказал Челнокову: Прежде я только **думал,** что спасение России в ликвидации общины; теперь я это **знаю** наверное. **Без этого** никакая конституция в России пользы не сделает». Челноков прибавлял от себя: «Когда Столыпин наделает своих «черносотенных мужичков», он будет готов им дать какие угодно права и свободы». В таком толковании взглядов Столыпина была доля правды. Но Челноков сообщил и другое: «Столыпин встревожен таинственными работами аграрной комиссии, куда представители министерства не приглашались; он боится, что Комиссия ему готовит сюрприз. Вдруг она его аграрные законы по 87-ой ст. отвергнет? Этого он не допустит. Дума тогда будет тотчас распущена». Об этом он заранее и предупреждал Челнокова.

Здесь, действительно, было у нас слабое место. Аграрные законы Столыпина, уже осуществленные, не столько выход из общины, сколько передача земель Крестьянскому Банку, противоречили аграрным программам не только социалистических партий, но и кадет. Об этом они до последнего времени во всеуслышание заявляли. При 87 ст. у Столыпина против Думы не было бы защиты в Гос. Совете. Вотум одной Думы мог у этих законов силу отнять. Столыпин этого ждать не хотел. Роспуска же Думы на аграрном вопросе правительство **не допускало.** Это было традицией; боялись крестьянства.

Мы, — вчетвером, — устроили между собой совещание; оказалось, что и Струве из более раннего свидания со Столыпиным вынес то-же впечатление; в области политической и правовой он готов итти на большие уступки, но от **аграрных** планов своих не откажется. Булгаков, бывший членом аграрной Комиссии, сообщил, что в ней еще далеки от **решения,** что роспуска Думы в ней не хотят, что если найти компромисс, то на него, вероятно, пойдут. В одном Булгаков нас успокоил: «Ничего скоро решено не будет и он предупредить нас успеет».

Мы совместно обсуждали вопрос: на какой почве мог бы быть компромисс? Было ясно одно: надо будет склонить Думу не отвергать этих законов, а limine, а постараться во всех них **перейти к постатейному чтению.** В форме поправок можно будет ввести и принцип «принудительного отчуждения». Дело в модальностях, а времени для выработки компромисса будет достаточно. Эти процессуальные соображения я уже изложил в главе IX. Они были так очевидны, что на них не только кадеты, но и Дума могла бы пойти.

С этим Челноков поехал к Столыпину. Он вернулся совсем успокоенный. Большего, чем перехода к постатейному чтению для своих законов, Столыпин пока не ждет. Потом сговоримся. И Столыпин

тут же решил, — и об этом сказал Челнокову, — выступить в Думе с принципиальной речью об аграрном вопросе.

Он это и сделал 10-го мая. Он начал с упрека аграрной Комиссии, «в которую не приглашаются члены правительства, не выслушиваются даже те данные и материалы, которыми правительство располагает, и принимаются принципиальные решения». Тем более считает он необходимым немедленно высказаться. И он последовательно подверг критике все представленные в Комиссию аграрные законопроекты отдельных политических партий. Он правильно указал, что аграрные программы всех левых партий ведут

> «к разрушению существующей государственности, предлагают нам, среди других сильных и крепких народов, превратить Россию в развалины для того, чтобы на этих развалинах строить новое, неведомое нам, отечество. Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится. Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но путем разложения не пойдет, потому что где разложение — там смерть».

Он справедливо отметил «непоследовательность и противоречивость кадетской программы».

> «Их законопроект признал за крестьянами право неизменного, постоянного пользования землей, но вместе с тем для расширения его владений он признал необходимым нарушить постоянное пользование ею соседей землевладельцев, вместе с тем он гарантирует крестьянам ненарушимость их владений в будущем. Но раз признан принцип отчуждаемости, то кто же поверит тому, что если понадобится со временем отчудить земли крестьян, они не будут отчуждены? И поэтому мне кажется, что в этом отношении проект левых партий гораздо более искренен и правдив, признавая возможность пересмотра трудовых норм, отнятие излишка земли у домохозяев».

И он раскрыл план правительства. Впервые сделал намек на связь свободы и просвещения с введением в крестьянстве личной земельной собственности.

> «Думает ли правительство ограничиться полумерами и полицейским охранением порядка? Но прежде, чем говорить о способах, нужно ясно себе представить цель, а цель у правительства вполне определенна: правительство желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого не-

обходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, т. е. соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственност».

Этими словами Столыпин излагал свое кредо либерала и западника.

«Ведь, господа, собственность имела всегда своим основанием силу, за которую стояло и нравственное право. Ведь и раздача земли при Екатерине Великой оправдывалась необходимостью заселения незаселенных громадных пространств (голос из центра: «ого»), и тут была государственная мысль. Точно так же право способного, право даровитого создало и право собственности на Западе. Неужели же нам возобновлять этот опыт и переживать новое воссоздание права собственности на уравненных и разоренных полях России? А эта перекроенная и уравненная Россия, что, стала ли бы она и более могущественной и богатой? Ведь богатство народов создает и могущество страны».

От опасностей излишнего этатизма он приглашал на путь **индивидуализма.** Но он признавал, что «наше государство «хворает», что самою больною частью является «крестьянство». Ему надо помочь. Все части государства должны притти на помощь той его части, которая в настоящее время является слабейшей. В этом смысл государственности, в этом оправдание государства, как единого социального целого.

«Если это принцип социализма, то социализма государственного, который применялся не раз в Западной Европе, и приносил реальные и существенные результаты».

Потому помощь крестьянству должна итти от всего государства, а не за счет одного немногочисленного класса — «130 тысяч помещиков, с уничтожением которого были бы уничтожены, что бы там ни говорили, и местные очаги культуры».

В конце этой речи была сказана такая фраза:

«При рассмотрении вопроса в его полноте, может быть, и в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об обязательном отчуждении. Пора этот вопрос вдвинуть в его настоящие рамки, пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед. Средство это пред-

ставляется смелым потому только, что в разоренной России оно создаст еще класс разоренных в конец землевладельцев. Обязательное отчуждение действительно может явиться необходимым, но, господа, в виде исключения, а не общего правила, и обставленного ясными и точными гарантиями закона. Обязательное отчуждение может быть не количественного характера, а только качественного. Оно должно применяться, главным образом, тогда, когда крестьян можно устроить на местах для улучшения способов пользования ими землей, оно представляется возможным тогда, когда необходимо: при переходе к лучшему способу хозяйства — устроить водопой, устроить прогон к пастбищу, устроить дороги, наконец, избавиться от вредной чрезполосицы. Но я, господа, не предлагаю вам, как я сказал ранее, полного аграрного проекта. Я предлагаю вашему вниманию только те вехи, которые поставлены правительством. Более полный проект предполагалось внести со стороны компетентного ведомства в соответствующую комиссию, если бы в нее были приглашены представители правительства для того, чтобы быть там выслушанными».

Помню, как мы переглянулись с Челноковым, когда услышали эти слова. Они казались ответом на то, что нам было нужно. Признание **принципа принудительного отчуждения**, хотя бы и в узком размере, упоминание о нем в законопроектах, которые он не замедлит представить, давали возможность Думе перейти к их постатейному чтению. Хотя речь Столыпина и была вызовом аграрным планам левого большинства, она все же давала просвет. Нам в нужный момент на помощь пришло бы общее нежелание роспуска Думы, готовность пойти на компромисс при соблюдении партийной программы. Столыпин облегчал нам эту задачу.

Но нам пришлось немедленно увидать с какими препятствиями мы все-таки в этом столкнемся. Раньше, чем нашей **фракции** пришлось этот вопрос обсуждать, Милюков в «Речи» **свою** позицию уже определил. Конечно, газете, занятой всего больше печатной полемикой, и с официальною «Россией», и с органами левой печати, приходилось во избежание лжетолкования, острые углы не смягчать, а **стачивать**; кроме того, «Речь» никогда не признавала,что она в чем-либо ошибалась или что предсказание ее не оправдалось: не могла и Столыпина не осуждать всегда и во всем. Благодаря всему этому, «Речь» как-бы заранее старалась **расстроить** наш план и наше желание речь Столыпина **использовать** для возможного соглашения.

Речь Столыпина была Милюковым объявлена «весьма бестолковой и некстати сказанной» («Речь», — 15-го марта). Он делал «попытку найти в ней проблески здравого государственного смысла» и приходил к заключению, что Столыпинское «принудительное

отчуждение» не заслуживает такого названия; что это только обман; что весь смысл плана Столыпина заключается в желании искусственно повысить для помещиков продажные цены земель, и заставить **казну** по этим вздутым ценам за них заплатить. Словом, «в проекте Столыпина социализм потому получает «государственный оттенок», что «экспроприирует» казну «в интересах 130.000 владельцев». Так над речью Столыпина иронизировал Милюков.

Бумага все терпит, и сейчас бесполезно это оспаривать. Хочу лишь отметить, что весь спор свелся к «принудительному отчуждению», как будто **оно** разрешало «аграрный вопрос». Столыпин «принудительного отчуждения» не отрицал; но признавая и отстаивая **личную земельную собственность,** он «принудительное отчуждение» естественно допускал только в виде **исключения, а не общего правила,** и при этом исключительно «обставленного ясными и точными гарантиями закона». Допустимые случаи могли быть широки, но продолжали бы быть «исключениями». К тем примерам их, которые приводил сам Столыпин, можно было бы прибавить и случаи, когда земля находилась у крестьян в аренде, или лежала втуне и не возделывалась. Отчуждение и здесь было бы применением к земледелию принципов принятых и в других областях экономической жизни. И тем не менее, против этого «Речь» восставала. «Принудительного отчуждения» она добивалась не как исключения, а как правила **против помещиков.** Кадеты как будто забыли, что они были сторонниками «правового порядка», т. е. ограничения произвола властей, и ограждения против них тех «прав человека», которые государством **не отрицаются.** Если личная земельная собственность вообще не отрицалась, то как можно было ее отрицать лишь для помещиков, т. е. на одном **сословном начале?**

Теперь дело прошлое; земельной собственности более нет. Нельзя теперь в каждом возражении против кадетского аграрного «символа веры» видеть, как прежде, только алчность помещиков. Но все же не лишне вспомнить, как принудительное отчуждение у нас появилось в программе. Крестьянские массы к правовому порядку были равнодушны, они хотели только **земли.** Тогда был в моде Виргилиев стих: Flectere si nequeo superos Acheronta movebo Его и «поднимали» революционные партии, обещая крестьянам землю помещиков **даром,** предваряя большевистский лозунг — грабь награбленное. Чтобы с ними в этом не расходиться, но и не отрекаться вовсе от правового порядка, кадеты изобрели компромисс «принудительного отчуждения по **справедливой** оценке». Я помню кадетские собрания, где этот вопрос обсуждали. Помню, как Герценштейн доказывал, что «по справедливой оценке» земля должна быть дешевле, чем она стоит **на рынке,** а Мануилов прибавлял, что без этой уступки в зе-

мле мы, конституционалисты, крестьян «потеряем». Если бы сломить Самодержавие без Революции **было нельзя**, то при Революции, как при эпохе единовременного разрушения прежнего строя, **такая** мера ликвидации помещичьей собственности была бы возможна. Но тогда уже не в рамках правового порядка. Всякая Революция кончается установлением какого-то нового строя, в котором и закон и права отдельных людей, каковы бы они ни были, пока они существуют, должны быть ограждены. Кадеты были партией правового порядка, которые не могли ограничиться перечислением временных мер, направленных **к разрушению** старого;они должны были определять **нормы будущей жизни.** Потому-то принудительное отчуждение частных земель в **их** программе было просто уродством, равносильным тому, как если бы включить в ту-же программу упоминание о праве содержания граждан под стражей.

Но спорить об этом было тогда преждевременно. Надо было только удержать Думу от неосторожного шага, от какого-нибудь ненужного голосования по существу этой проблемы в связи ли с речью Столыпина, или с предстоявшим прекращением «прений по направлению». Это и стало нашей очередной задачей.

Действительно, на другой день, 11-го мая, было сделано предложение назначить особое заседание **для обсуждения речи Столыпина.** Трудовик Карташев находил, что декларация правительства «идет вразрез с предположениями по земельному вопросу большинства Государственной Думы». Демьянов доказывал, что «необходимо дать ответ правительству, что Министры **не имеют права** выступать **с такими** декларациями».

Надо было избежать **этих** прений, которые могли окончиться необдуманным вотумом. Я, по своей специальности, восстал против них во имя Наказа. Только накануне, 10-го мая, был принят § 91 Наказа, который гласил, что «в основе каждого обсуждаемого Думой вопроса должно лежать определенное письменное предложение». Такого предложения никем сделано не было*).

Когда нам говорят, что мы хотим иметь суждение и прения вообще по заявлению министра, то нас влекут на тот путь митингования, с которым мы хотим покончить принятием Наказа».

Речь Столыпина, доказывал я, сама по себе лишь эпизод при обсуждении вопроса о **направлении** представленных законопроектов. Факт ее произнесения вне очереди может дать повод возобновить запись ораторов, но не больше. Отвечать на нее можно толь-

---

*) В 3-й Думе, по моему же докладу, этот параграф Наказа, слишком ригористический, был изложен иначе.

ко в порядке **этих же** аграрных прений. Против этих соображений возражал мне Березин, но Дума согласилась со мной. Так первая опасность прошла.

Но в следующий аграрный день, 16-го мая, записанные еще раньше ораторы стали Столыпину отвечать. Ответы их показали, что **главного смысла его речи они не заметили,** просмотрели его идеологию европейского либерализма и разрыв с пережитками сословной России. Они увидели в ней только защиту «помещиков». Так Демьянов утверждал, что:

> «декларация имеет целью заявить Гос. Думе, что ни одна программа оппозиционных групп не будет правительством принята. Наша обязанность сказать Министру Внутренних Дел, что мы тоже с ним не считаемся, и помним, что он тот сверчок, который должен знать свой шесток».

Но было грустно слушать неожиданное выступление Родичева. Эмоциональность и красноречие его увлекли. Припоминая слова Трубецкого на Петергофском приеме, он плачущим голосом скорбел, что «правительство Его Величества является здесь в Гос. Думе и ведет себя, как правительство не «Государя всея Руси», а как защитник интерессв 130 тысяч помещиков (бурные аплодисменты центра и слева)». Такое искажение мысли Столыпина было тем непростительнее, что лично Родичев не разделял восторгов перед принудительным «отчуждением» и имел мужество **раньше** это высказывать. Это ему тотчас напомнил Варун-Секрет, у которого под рукой оказалась брошюра о Съезде 29-го апреля 1906 года, для обсуждения аграрной программы. Родичев на нем оспаривал «отчуждение» во имя права. Варун-Секрет цитировал из его речи такие отрывки:

> «Прочитанные здесь доклады не убеждают меня ни в возможности осуществления предлагаемой прирезки крестьянского надела, ни в справедливости этого. . . . .
>
> . . .Предлагают установить не право общее для всех, а привилегию, не потому, что это справедливо, а потому, что полезно. Вы разбудите аппетиты, и не сможете их удовлетворить, и, не имея сами правового основания, не сможете его никому объяснить. Так поступать приличествует деспотизму. Даю, потому что я источник благодати, — и даю тому, кому надо и сколько надо. Мы, стоящие на точке зрения права, должны предлагать общие меры, одни для всех без различия лиц, потому что справедливость одна».

Все это **было** раньше сказано Родичевым и оставалось до это-

го дня вполне справедливо. Кадеты ради «демагогии» тогда **позицию** права покинули. Родичев смог на это ответить Варуну-Секрету только загадочной фразой, что «он и теперь считает основой разрешения земельного вопроса уничтожение несправедливых доходов». Это заявление было совершенно неясно и к делу отношения не имело и нападения его на Столыпина ничем не оправдывало.

К счастью, это были только речи отдельных ораторов; Дума, как таковая, пока, кроме аплодисментов, себя с ними ничем не связала. Но именно **это** и было слева предложено сделать 26-го мая, при прекращении прений «по направлению». Чтобы не оставить их вовсе бесплодными и дать комиссии некие руководящие указания, были предложены «формулы перехода», которые должны были выразить **мнение** думского большинства. В **этом** лежала опасность. Дума при этом могла бы одобрить уже именем Думы принцип «принудительного отчуждения» и тем наши планы разрушить. Нужно было этого избежать.

С точки зрения процедуры такой прием был бы неправилен. Если закон (§56 Учр. Гос. Думы) не только разрешает, но предписывает предварительное одобрение Думой «основных положений» законопроектов, которые для будущей Комиссии становятся обязательными, то «формула перехода» заменить их не могла. «Основные положения» известны заранее; по ним должны итти прения и **они** голосуются; одобрение их и является завершением **их обсуждения**. По аграрному вопросу основные положения заявлены не были, их не обсуждали и не голосовали; прения шли только по **направлению** и завершались сдачей законопроектов в Комиссию. Подменить одобрение основных положений импровизированной формулой перехода, которая специально не обсуждалась, причем по Наказу эти формулы голосуются в порядке их поступления, и принятие одной «устраняет другие» — было бы не только обходом закона (ст. 56 У. Г. Д.), но могло ввести Думу в обман.

Такие формальные соображения были слишком отвлеченны для уровня Думы; мы решили пойти испытанным недавно путем: применением к формулам перехода §97 Наказа, т. е. «предварительного вопроса». Он имел то преимущество, что число ораторов ограничивал «четырьмя». Кадеты его предложили, и его защищал Кизеветтер и Булгаков. Кизеветтер развивал опасное для нас положение, будто формула «ненужна», потому что все партии уже высказались и их **взгляды известны**. Такой мотив, очевидно, нас совсем не устраивал. Булгаков, который был в курсе нашего плана, доказывал, что формула была бы **вредна**.

«Мы в комиссию пришли, — говорил он, — без всяких директив от Гос. Думы, а только с директивами фракции. Аграрная комиссия работы свои начала, худо ли, хорошо ли, но

она их ведет. Как можете вы врываться в работы этой комиссии и их прерывать? Ведь общей формулы, которая объединила бы большинство в Гос. Думе, в настоящее время вынести невозможно. Есть только общие слова, которые можно было бы вынести за скобку, но слова имеют весьма различное значение. Как член аграрной комиссии и как член Гос. Думы, я протестую против принятия формулы».

Это было справедливо. Но были правы и те, которые именно в **этом** ему возражали. Этот парадокс был прямым последствием бессмысленности «прений по направлению». Ширский обвинял Кизеветтера, что он хочет «прервать, вернее сорвать голосование и оставить комиссию **без директив.** Страна не услышит авторитетного голоса самой Гос. Думы и т. д.» Березин возражал специально Булгакову. «Как член аграрной комиссии», он находил, что «никогда не чувствовал при работах в аграрной комиссии такой настоятельной потребности иметь какие-либо руководящие указания для работ, как в настоящее время».

И неверно, будто общего мнения у Думы сейчас не имеется:

«Я утверждаю, что да; принцип **принудительного отчуждения** должен быть признан, а законы, изданные в междудумский период, большинства не удовлетворяют. . .

. . .Самый вопрос о том принципе принудительного отчуждения, который признан большинством, если не ошибаюсь, 45 голосов против 15 — подлежит ли он еще оспариванию или нет? И вот, нам в аграрной комиссии, члены партии правых говорят: «по этому вопросу вам Дума еще не дала никаких указаний». Я, как член аграрной комиссии, и другие члены трудовой группы в этой комиссии, просим Государственную Думу дать нам ясный и краткий ответ — верно ли мы поняли настроение большинства Думы или нет?»

Он в этом был, конечно, прав. Это было результатом, во-первых, «прений по направлению», которыми, вопреки здравого смысла, Дума, якобы помогала Комиссии, и, во-вторых, нарушения ст. 56 У. Г. Д., то-есть, сдачи законопроекта в Комиссию без одобрения его основных положений. Но это не могло быть причиной, чтобы такой результат еще усугублять новой и худшей нелепостью. С точки же зрения нас, сторонников компромисса, было необходимо комиссию оставить совершенно свободной. В **этом** была ставка нашего спора. По формуле перехода, которая имела бы такое принципиальное значение, левые партии потребовали поименного голосования. Это показывает, какое значение они ей придавали и какое употребление из нее они после бы сделали. Но они по неопыт-

ности допустили оплошность. При обсуждении «предварительного вопроса» требование поименного голосования **для него** заявлено своевременно не было. Оно было заявлено только для «самих формул перехода». На это справедливо указал Председатель. Предварительный вопрос и был принят большинством 238 голосов против 191. А тогда все формулы отпали и их голосовать не пришлось.

Это было **нашей** победой. По существу Березин был прав. В Думе за принудительное отчуждение было несомненное большинство. Кадеты себя с ним **связали и против него** голосовать не смогли бы. Ведь в том самом заседании, 26-го мая, в котором они сняли все формулы, и Кизеветтер и Кутлер все-таки одинаково заявили, что **от принципа принудительного отчуждения они не отказываются.** Но с тех пор, как и Столыпин сам признал его «допустимость» в известных пределах, открылась возможность перехода к постатейному чтению и дальнейшего спора о границах применения «отчуждения», **уже в рамках законов Столыпина.** Такой спор о пределах был бы делом будущего; пока же надлежало только не бросать перчатки правительству. 26-го мая кадеты этого и добились. Их определившееся большинство — 238 голосов, могло сохраниться и для перехода к постатейному чтению. И потому мы могли заключить, что со стороны аграрного вопроса **непосредственная** опасность для Думы была устранена.

Оставался последний опасный подводный камень — «амнистия», который Думе подложили соединенные усилия левых и правых. 27-го мая и он был счастливо избегнут. Дума перешла к обсуждению «местного суда». Существование ее казалось теперь обеспеченным, по крайней мере на известное время. Мы, наконец, перешли к **серьезному** делу, которое одинаково интересовало и Думу, и страну, и правительство. Это было настоящее испытание Думы и ее годности.

Но тут неожиданно и подкралась развязка. 1-го июня должны были продолжаться начатые накануне прения о местном суде. Нас ждал сюрприз. Столыпин потребовал закрытого заседания. В нем Камышанский стал оглашать длинное постановление Судебного Следователя о привлечении всей соц.-демократической фракции, на основании результатов обыска у Озоля. Столыпин потребовал у Думы согласия на арест 16 депутатов и устранения из Думы всех других привлеченных (55 человек). Он кончил словами: «обязываюсь присовокупить, что какое бы то ни было промедление в удовлетворении этого требования или удовлетворение его в неполном объеме, поставит правительство в невозможность отвечать за безопасность государства». Дело было ясно. Ни у кого не могло быть сомнения, что это требование только предлог, хотя никто **тогда** не думал, что он создан был провокацией. Но раз было почему-то решено с Думой покончить, ей осталось погибать «непостыдно».

Кто-то потребовал слова. Головин с невозмутимым спокойствием пояснил, что **так как этот вопрос не стоял на повестке,** то по Наказу он решен быть не может; речь может итти только о его **направлении.** Пуришкевич взлетел на трибуну и завопил, что Наказ не в праве такого дела оттягивать, что «преступники должны быть немедленно выданы и отправлены на виселицу». Поднялся шум; Головин объявил перерыв заседания. Мы собрались по фракциям. Каким-то образом к нам проник Милюков. Он предложил нам самим сложить с себя депутатские полномочия, в виду невозможности их исполнять. Никто этого предложения не поддержал и он сам не настаивал. Спасти Думу казалось нельзя. Но по крайней мере пусть все идет законным порядком. Требование Столыпина надо сдать в Комиссию, дать ей минимальный (суточный) срок для доклада, а пока продолжать обсуждение законопроекта о местном суде. Дума так и решила.

На следующий день, в субботу, 2-го июня, состоялось последнее заседание Думы. На повестке стояло продолжение обсуждения законопроекта о местном суде и доклад избранной накануне комиссии по делу соц.-демократов. Это был по истине le dernier jour d'un condamné. Все понимали, что сочтены не дни, а часы Государственной Думы. Законы пока соблюдались; соц.-демократы оставались неприкосновенны, Дума могла и говорить, и принимать решения, но все это только до минуты неизбежного роспуска. Было что-то возмущавшее в том, что этот роспуск надвинулся как раз в тот момент, когда Дума благополучно обошла последние подводные камни, и когда настоящая работа ее, наконец, началась и могла продолжаться. В начале последнего заседания было доложено, что Комиссией был закончен и представлен доклад о втором после местного суда важном законе — **неприкосновенности личности.** Отголоском возмущения на несвоевременность и беспричинность этого роспуска явились слова члена Думы Аджемова, который, выступая по вопросу о местном суде, при «бурных аплодисментах центра и левой», подчеркнул, что «именно тогда, когда Дума подошла к реформам народной жизни, когда стало чувствоваться, что наша работа — народное дело, что авторитет Думы укрепился, как начала реформирующего все сверху донизу — именно тогда встрепенулись все темные силы».

Все это было правдой; но что же оставалось делать перед неизбежным концом? Первая Дума когда-то горько пеняла на то, что ее распустили врасплох, притом успокоив ее притворной просьбой поставить на понедельник на повестку — ответ правительства на запрос о Белостокском погроме, и этим обманом ей не дали возможности что-либо предпринять. Теперь Дума была предупреждена накануне. Фракции могли все обдумать и придумать решение. 2-го июня заседание открылось в 2 час. 30 мин. и по просьбе левых

был опять объявлен на полтора часа перерыв для совещания. Что же за это время придумали? Церетелли от имени левых (с.-д., с.-р., н.-с. и трудовиков) внес предложение немедленно приступить к **отмене законов, изданных по 87-й статье в междудумье.** Было что-то непоследовательное и беспомощное в этом проекте. Можно было «обращаться к народу»; партии, которые отрицали действительность конституционных путей, но в Революции и в «вооруженные восстания» верили — могли к ним призывать. Но и они **этого** не хотели; они понимали, что страна их не поддержит и что такой призыв выйдет смешон. Они в этом не ошибались. Но прибегать в такую минуту и с этою целью к «правам», которые Дума имела **от конституции,** стараться действовать, как орган государственной власти, чтобы этим государство взрывать изнутри, было уже простым озорством. К тому же от одного вотума Думы законы, изданные по 87 статье автоматически силы своей не теряли. Нужно было бы, чтобы об их прекращении было опубликовано Сенатом в законном порядке, как это и было сделано с теми 4-ми законами, которые Дума отвергла 22-го и 24-го мая (гл. X).

Если Дума рассчитывала в этом плане на **поддержку Сената,** она не могла итти к этой цели, нарушая формальные правила, и по существу решая вопросы, которые на повестку дня не ставились и о которых, вопреки закону, Министры не извещались. Принятие таких постановлений было бы только демонстрацией бессилия Думы; через десять лет эти партии Думы в единственном заседании Учредительного Собрания могли увидать пользу и смысл подобных приемов.

Эти предложения левых даже не голосовались. Головин их не допустил своей властью, как запрещенных Наказом. Кадетские ораторы настаивали, чтобы Дума оставалась на почве закона; о Выборгском завете 1-ой Думы — «пассивном сопротивлении», — никто и не вспомнил. Кадеты афишировали свою лойяльность. и принимали участие в прениях «о местном суде». Но и с лойяльностью было «опоздано». Если бы так вела себя 1-ая Дума, все пошло бы иначе. Но тогда, когда подобное поведение могло быть спасительно, его не хотели кадеты. Они предпочли беззаконие. Теперь же, возражая против неконституционных путей, они оказывались в одном лагере и с меньшинством и с правительством. Как видно из протоколов их фракции, напечатанных в «Красном Архиве» (том VI, стр. 63), они **принципиально** готовы были согласиться даже на выдачу тех соц.-демократов, **вина которых будет доказана.** Но они заняли такую определенную линию, когда для нее было поздно; более того, они поэтому ее и заняли, что с ней было «поздно». Когда войну ведут «до конца», на мир всегда соглашается только тот, кто начинает предчувствовать **свое** поражение; во время **удачи,** он на него не идет. Теперь кадеты, кроме честного

исполнения конституции, ничего не требовали, именно потому, что были только за несколько часов перед роспуском. А еще недавно от разговоров со Столыпиным они «уклонялись», находили, что Дума с ним работать не может и отвергали возможность **правого блока.** Так всегда бывает при **войнах.** Несчастье наше было именно в том, что и после 17-го октября, вопреки конституции, между властью и общественностью продолжалась «война»*).

Заседание 2-го июня длилось недолго. К концу его Кизеветтер, председатель Комиссии, занимавшейся делом соц.-демократов, пришел доложить, что комиссия работы своей не окончила, и просил продлить ей срок до понедельника. Предложение было принято Думой. Назначение вечернего заседания было отклонено большинством 201 голоса против 157, и заседание закрыто в 6 час. вечера. Больше этой Думе собраться уже не пришлось.

Но пока это происходило, у всех на глазах, не прекращались закулисные попытки повлиять на Столыпина. О тех из них, о которых я знаю лишь с **чужих** слов, говорить я не буду. Но было понятно, что мы сами, те четыре кадета, которые находились со Столыпиным в каком-то контакте, хотели от него узнать **непосредственно,** что же случилось? Почему в нем произошла такая перемена? Нельзя было не сделать попытки его повидать. Мы поручили Челнокову это устроить. Столыпин просил нас, четверых, приехать в Елагин Дворец, в 11 час. 30 мин. вечера. Это было в глубоком секрете. Партии друг за другом следили. Я незаметно в назначенный час вышел из Комиссии о социал-демократах, чтобы ехать к Столыпину.

Об этом нашем ночном визите к Столыпину было пролито тогда много чернил. Никто точно не знал, что **там произошло.** Те, кто делали из нас «козлов отпущения» предпочли «намекать», что мы что-то скрываем, и сами сочиняли то, что им нравилось. Близкое к истине изложение я нашел только в книге М. Л. Мандельштама — 1905 года, — вышедшей в Москве в 1931 году; он пишет, что его передал с моих слов. Но в 31 году от этого происшествия прошло 20 лет с лишком и он много забыл и перепутал, начиная с имен и даже числа самих участников этой поездки. Наконец, все, что я мог ему рассказать, он и тогда воспринял тенденциозно, т. е. по-своему. Все это отразилось на его передаче. Теперь дело прошлое. Расскажу все, что было, пока трое из нас еще живы и даже в Париже**).

Столыпин не заставил нас ждать, хотя происходило заседание Совета Министров. Разговор сначала не вязался. Попыток до-

---

*) Моя книга «Власть и общественность», т. III, ст. 431.

**) Так было написано в 1942 году, когда книга подготовлялась к печати. П. Струве успел еще при жизни эту главу прочитать. Но теперь, когда книга выходит в свет, я один остался в живых.

казывать, что обвинение соц.-демократов не обосновано, Столыпин не принимал. «Я с вами об этом говорить не стану: раз судебная власть находит, что доказательства есть, это нужно принять, как исходную точку для действий, и наших, и ваших». Не допускал он и «отсрочки» для изучения дела; «пока мы с вами здесь разговариваем, соц.-демократы бегают по фабрикам, подстрекают рабочих». После нескольких подобных реплик, мы переглянулись: не нужно ли просто встать и проститься? Струве подошел к вопросу начистоту: «Что же случилось, что Столыпин свою политику так резко меняет? Зачем он требует от Думы того, чего она дать, очевидно, не может и как раз тогда, когда ее деятельность **улучшается?»** Столыпин стал возражать: «В чем мы видим улучшение?» На это ответить было легко: в этом мы были сильнее. После нескольких реплик, он этот спор прекратил, и, как будто перестав притворяться, грустно сказал: «Пусть все это так; но есть вопрос, в котором мы с вами все равно согласиться не сможем. Это — аграрный. На нем конфликт неизбежен. А тогда к чему же тянуть?» Это было для нас неожиданно. «Но ведь вы же сами Челнокову сказали, что вам пока будет достаточно перехода к постатейному чтению, что вы на поправки согласны, и что о них мы сговориться успеем». «Да, но комиссия с тех пор приняла принцип «принудительного отчуждения» и приняла кадетскими голосами. Ваши ораторы заявляли в Думе, что они от своей программы не отрекутся. Как же после этого вы будете голосовать **за переход** к постатейному чтению»? Как член аграрной Комиссии, Булгаков стал тогда объяснять весь наш план, значение того, что формула перехода с принудительным отчуждением Думой **не** принята, рассказал все то, что я уже излагал. К этому Столыпин отнесся с большим интересом, задавал вопросы, осведомлялся о разных подробностях, не раз одобрительно кивал головой. Нам начинало казаться, что недоразумение выяснилось, что оно поправимо. И он заговорил тогда совсем другим, прямо убеждающим тоном: «Если это так, то почему же вы не хотите исполнить наше требование и устранить из Думы соц.-демократов? Ведь они **ей** мешают не меньше, чем мне. Освободите Думу от них и вы увидите, как хорошо мы будем с вами работать. Препятствий к установлению правового порядка в России я никаких ставить не буду. Вы увидите, как все тогда пойдет хорошо. Почему же вы этого не хотите?»

Такого поворота мы не ожидали, но и принять не могли. Я ему ответил: «Ваше требование вы предъявили в такой острой и преувеличенной форме, что его принять Дума не сможет. После этого нам было бы стыдно друг на друга смотреть». «Значит, что же, нам Дума откажет?». «Наверное. Я самый правый кадет и буду голосовать **против** вас». Он поочередно обвел нас глазами; никто не возражал. «Ну, тогда делать нечего», — сказал он, наконец.

особенно внушительно: — «только запомните, что я вам скажу: это вы сейчас распустили Думу». Дальше говорить было не о чем. Челноков осведомился: «Будет ли он завтра в помещение Думы допущен? Там его вещи». Столыпин улыбнулся: «Ведь вы же не собираетесь в Выборг. С вами будет все по-хорошему». «Вы не ждете все-таки беспорядков и вспышек?» «Нет. Может быть, чисто местные; но это не важно».

Он кончил неожиданной любезностью: «Желаю с вами всеми встретиться в 3-ей Думе. Мое единственное приятное воспоминание от Второй Думы, это — знакомство с вами. Надеюсь, что и вы, когда узнали нас ближе, не будете считать нас такими злодеями, как это принято думать». Я ответил с досадой: «Я в 3-ей Думе не буду. Вы разрушили всю нашу работу и наших избирателей откинете влево. Теперь они будут **не нас** избирать». Он загадочно усмехнулся. «Или вы измените избирательный закон, сделаете государственный переворот? Это будет не лучше. Зачем же мы тогда хлопотали?» Он не отвечал, и мы с ним простились.

Было светло, когда мы возвращались. По дороге мы встречали думских приставов, которые к Столыпину ехали. Чтобы обменяться между собой впечатлениями, решили заехать по дороге в «Аквариум». Было что-то фантастическое в нашем появлении среди гуляющей, подвыпившей публики и раскрашенных дам полусвета. За маленьким столиком, со Струве с его бородой патриарха, в жокейской шапочке и в каком то желтом балахоне, за обязательной бутылкой шампанского, мы обсуждали положение. Разбирали вопрос: «Не слишком ли категорично я ответил Столыпину, что Дума его требование исполнить **не может?»** Но мы не ошибались; большинства за выдачу образовать было нельзя. Нам не простили и меньшего. На другой день я был в нашем Центральном Комитете, когда вошел И. В. Гессен с вечерней газетой в руках. В ней, за подписью С. А-ч, сообщалось, что четверо кадет (имя рек), по поручению кадетской партии, ездили ночью к Столыпину «торговаться» о выдаче соц.-демократов. Уже потом я от С. А-ча, в общем очень противного журналиста из «Руси», узнал, будто про наш визит ему тогда же рассказал Философов, Министр Торговли. За эту поездку «к врагу» на нас даже в Центральном Комитете обрушили такое негодование, что я тут же заявил Милюкову, что из партии выхожу. Он меня отговорил и других успокоил. Мы с общего одобрения ограничились письмом в редакцию, что ездили без всякого поручения, от себя лично, чтобы «выяснить положение». Это не мешало продолжать нас заподозревать и поносить.

О таком возмущенном отношении лидеров партии к нашей поездке я нахожу свидетельство и в упомянутой раньше книге М. Л. Мандельштама. Вот что он пишет:

«Трудно передать тот взрыв негодования, который вызвал визит видных депутатов, членов партии народной свободы, к министру разгона Думы и государственного переворота. Это недовольство было распространено и в кадетских кругах».

Прибавлю, что и Московский Городской Комитет был так охвачен этим настроением против меня, что не хотел сам выставлять моей кандидатуры в 3-ью Думу. Оказалось, однако, что если «руководители» были возмущены этой поездкой, то рядовые члены даже из партии их осуждения не разделяли и неудачной попытки Думу спасти в вину нам не ставили. В этом я лично мог убедиться на всех тех собраниях, где этой поездкой оппоненты меня попрекали; рядовая публика была неизменно на моей стороне. На предварительном плебисците кандидатов среди членов партии, а потом и на выборах, я прошел по Москве наибольшим числом голосов. Очевидно, была разница в психологии обывателя и «настоящих политиков», — и они часто друг друга не понимали. И обыватель оказался ближе ко мне, чем к нашим вождям.

ГЛАВА XVI.

Историческое значение 2-ой Государственной Думы.

Один и тот же предмет с разных дистанций кажется разным, хотя воспринимается одинаково правильно. То же происходит при воспоминаниях о прошлых событиях. Для современника вся жизнь выражается в тех мелочах, которые он наблюдает; в возможности их замечать — его преимущество. Позднее они не только теряют значение, но могут мешать пониманию. В моей книге я отмечал то, чего **не** будет издали видно, т. е. мелкие факты; но мы отошли от них так далеко, что в них уже и теперь видны и **крупные** очертания.

Чтобы понять отношение Столыпина к 2-ой Государственной Думе, нет необходимости предполагать в нем «лицемерие» или «угодничество». Все было логично. И потому, что в Столыпине мы имели дело с человеком исключительно **крупным,** занимавшим такое **высокое** место, что он был у всех на виду, на нем ярко отразилась трагедия самой России.

Нашему поколению довелось жить при крушении Самодержавия, которое когда-то создало «Великую Россию». Оно не было, конечно, властью одного человека; в нем совмещался и государственный аппарат, подчиненный Монарху, и правящие классы с различной степенью самостоятельной власти одних людей над другими, и зачатки самоуправления. Соотношение этих частей менялось с историей, но все покрывалось идеей безграничности власти **государства** над человеком; а так как государство воплощалось в **Монархе,** то все права шли от **него.**

Сами великие реформы 60-х годов, которые сближали Россию с формами жизни Европы, были формально актом Монарха. Они начались уничтожением **рабовладения;** легальная власть **одних над другими** стала не только невыносима подвластным; она задерживала развитие всего государства и возмущала правосознание самих правящих классов. Ведь «рабовладение» оправдывало беззащитность **их самих** против воли Монарха. «Освобождение» было сделано той самой властью, которая создала и «рабовладение», чтобы предупредить освобождение **снизу.** Оно логически вело к «увенчанию» здания. Но в героический момент Самодержавия этого еще не было

нужно; Самодержавие казалось даже полезным, чтобы при таких глубоких реформах сохранить порядок в стране. Либеральные деятели в роде Милютина, были за Самодержавие. Конституция в то время вышла бы только дворянской; потому против нее выступил когда-то Кавелин. Но это не все. Наступление «народоправства» всколыхнуло бы те массы, для которых было еще чуждо понятие «закона» и «права». Оно привело бы к замене одного произвола другим. Этого боялся идеолог конституционного строя — Чичерин, давший формулу — «либеральные реформы и сильная власть», против Герцена, как глашатая «революционного идеализма». На столкновении идеологий — «государственного либерализма» и «Революции» остановились реформы Александра II и наступила реакция. Самодержавие принялось себя охранять «для блага народа» (Манифест Александра III); в этом было содержание всей политики последнего времени.

Завершение реформ 60-х годов и «увенчание здания» возобновилось уже на рубеже XIX-го и XX-го веков. Повторялась картина «эпохи Великих Реформ». Опять Монарх, против собственных симпатий, опасаясь уже начавшегося движения снизу, взял на себя их почин. Умеренные элементы страны, в роде земства, и даже дворянства, потерявшие веру в Самодержавие, для борьбы с ним не побоялись союза с революционными партиями. Их союз оставил Самодержавие изолированным и вырвал уступку 1905 года. Она не могла начавшегося движения сразу остановить. Наиболее активные элементы либерализма выдали векселя революционным союзникам: они соглашались на полное народоправство, на самодержавие некультурного большинства под видом «воли народа», на удовлетворение примитивных имущественных желаний народа, на отобрание земли у помещиков и т. к. Так опять, как в 60-х годах столкнулись «либерализм» и «революционная идеология» перед лицом еще сильной исторической власти.

Под этим знаком прошло преддумие 1905 года и деятельность двух первых Государственных Дум. Какая же позиция была у Столыпина?

Его называли «реакционером»; не может быть ничего поверхностнее этого определения. Он был подлинным продолжателем «эпохи Великих Реформ», идеологии Б. Н. Чичерина; как последний, он был поборником «либеральных реформ, но и сильной власти». Потому был беспощадным врагом революционной стихии во всех ее проявлениях. Был либералом, индивидуалистом, защитником личности против поглощения ее «волей народа»; отсюда его ставка на «сильных», борьба с общиной и даже с семейною собственностью. Такие взгляды его, если бы они у него сохранились, может быть сделали бы его в настоящее время отсталым, непонявшим новых проблем нашего времени. Но тогда это было шагом вперед к при-

ближению к жизни свободных европейских народов, к вступлению на путь демократии.

Столыпин настоял на роспуске 1-ой Государственной Думы, так как справедливо видел в ней господство революционной стихии, которая помешала «либеральным реформам». Но Вторая Дума по составу казалась для них еще гораздо менее годной. Он все же решил это попробовать, т. к. некоторые подходящие элементы для этого были. Октябристы, умеренно-правые и многие беспартийные не меньше Столыпина понимали необходимость его реформ. Но без центра их было бы недостаточно в Думе. В центре же сидели кадеты, программа которых шла в том же направлении, но дальше, чем у Столыпина. Если бы они усвоили позицию непримиримости: «все — или ничего» — Дума в смысле деловой работы сделалась бы совсем безнадежна. Соглашение с кадетами для сохранения Думы стало необходимостью.

И, однако, оно встречало затруднения с обеих сторон.

Во-первых, со стороны правых и главное — самого Государя. Он не понимал смысла разговоров с «левыми». Даже в смуту 1905 года он ставил их Витте в вину*). Но Витте еще мог ему объяснить свои обращения к левым исканием необходимой для власти опоры, против «революционной анархии». В 1907 году такой анархии уже не было. Сближение с левыми теперь означало бы желание Столыпина защищать свои «реформы» против их **правых врагов.** А «правые» казались Государю не только опорой порядка, но и единственными защитниками его собственной власти. Разоблачать перед ним их игру было бы так же бесполезно, как позднее пытаться раскрывать ему глаза на Распутина. Трагедия обреченности Государя была в том, что против него обращались его лучшие стороны. Он держался за Самодержавие не ради **себя**, а видел в нем «народное достояние», ему врученное **предками.** Это убеждение подогревалось его мистической верой в религиозную миссию Самодержца. Он доказал ее искренность, когда в самый опасный момент внешней войны лично взял на себя то «командование», которое лавров ему не сулило, а его трон подвергало опасности. Чем более он сознавал, что его личный **характер** не подходит для Самодержца (переписка его с молодой Императрицей показывает, что это оба они понимали), тем более он считал своим долгом «вверенную ему свыше власть» не растратить, а сохранить для преемников. С течением времени он все ревнивее к Самодержавию относился. Он не простил «обществу» и его представителям, что 17-го октября они не поддержали его. Отсюда его благодарность тем, которые его Самодержавию остались верны. Как все слабые люди, когда Государь уступал, он не

---

*) «Мне не нравится манера Витте разговаривать с разными людьми крайних направлений... Я ему говорил об этом и надеюсь, он перестанет». (**Письмо Государя — Императрице Марии — 27 окт. 1905 г.**).

хотел себе в этом признаться; он становился упрям, когда догадывался, что на него хотят повлиять. Задача Столыпина спасти Государя была задачей спасти утопающего, который в спасителе видит врага. Он не мог с ним действовать прямо; должен был хитрить, приспособлять свои доводы к предрассудкам своего собеседника. Напечатанная в V-ом томе «Красного Архива» переписка его с Государем дает любопытные образчики этих приемов. Я некоторые из них уже отмечал: какъ Столыпин старался «затушевать» неловкую демонстрацию при открытии Думы, как «хвалил» настроение Думы в день декларации, как свой отказ от военно-полевых судов назвал «удачным сведением вопроса на-нет» и т. д. Но задача выручать Думу из ее оплошностей для него все становилась труднее; Дума их умножала. Хотя в глубине ее деловая работа налаживалась, это издали было мало заметно; а на поверхности время от времени разражались инциденты и накапливали против нее «обвинительный материал». Поведение Думы в деле Зурабова, когда желательного для правительства голосования от нее так и не удалось получить, антимонархическая демонстрация 7-го мая — были жесты, которые мешали Столыпину делать эту Думу опорой его реформаторских планов. Чтобы спасти ее, он стал прибегать к искусственным средствам. Таким средством было старание добиться осуждения Думою революционного террора. Распустить Думу после этого шага — было бы нельзя, не вызвав недоумения. Но Дума этого не понимала и на это не шла. Последним средством того же порядка могла стать выдача Думой соц.-демократов. Но в возможность принятия ее ни Государь, ни правительство справедливо уже не верили и потому это требование явилось просто замаскированным роспуском.

Если Столыпину было трудно внушить Государю правильное понимание положения, то ему оказалось не менее трудно сговориться и с кадетской общественностью.

Если отдельные ее представители понимали реальные задачи государственной власти и требования, которые к ней предъявляются, то в целом у нее был свой «символ веры», «писание» и «предание», которые с этим не совпадали. Были «вожди» и «цензоры политических нравов», которые истинную веру ограждали от «расколов» и «ереси». Одним из канонов ее было требование полного народоправства, т. е. полноты власти за «представительством». Это понимание для них было политической аксиомой. Другим бесспорным каноном была нежелательность «разрывать с Революцией». Революционеры продолжали казаться «союзниками», хотя и опасными. Как во время «освободительного движения» их помощь считалась полезной*). При таком отношении к ней кадетам было трудно сговориться со Столыпиным.

---

*) «Посл. Нов.» 30 мая 1937 г. — статья Милюкова «Маклаков между общественностью и властью».

Все попытки Столыпина непосредственно объясниться с кадетами — не удались. Квалифицированные их представители от разговора с ними уклонялись. Я указывал, как к приглашению Столыпина отнесся прежде всех Головин; как позднее Тесленко, под предлогом «неотложного дела», уехал в Москву, как Гессен, хотя и пошел, но даже в 1937 году «не мог себе объяснить, по каким основаниям он счел себя в праве принять приглашение». Такое отношение к Столыпину согласовалось с той директивой, которую в начале Думы Милюков в «Речи» излагал, как аксиому, т. е. что со Столыпиным Дума работать не может (глава VI). Если все это вспомнить, то неожиданная фраза Столыпина, обращенная к нам во время нашего ночного визита, которую я приводил в предыдущей главе, покажется не только прощальной любезностью, но и данью благодарности тем, кто от разговора с ним не уклонился и правительство не считал за «злодеев». Но эти наши тайные встречи, «прелюбодейные связи», как их шутя называл Челноков, были не адэкватны предмету. Важность соглашения была достаточно велика, чтобы сделать для него все, что было возможно.

Но если идейного соглашения между правительством и вождями кадет не состоялось, то жизнь оказалась все-таки сильнее теории. Чего не признавали «вожди», становилось ясно внизу, с тех пор как Дума стала не только существовать, но работать. В этом и заключался исторический интерес 2-ой Гос. Думы. Когда она пошла по конституционной дороге, атмосфера в ней изменилась; в ней стали переоценивать ценности. Политика предвзятой борьбы **против власти,** воспитанная годами устранения общественности от практической жизни — перерождалась в политику «достижений». Это вело за собою последствия. Дума стала ясней понимать, где ее друзья и враги, и кто действительно ее работе мешает; явилась необходимость установить в ней больший порядок, бороться с тратой думского времени на «посторонние цели», т. е. на попытки речей для газет и для публики. По каждому **деловому** вопросу революционная идеология и фразеология приходили в конфликт с интересами дела. Так происходило оздоровление Думы. Настроение первого собрания «объединенной оппозици», под председательством Долгорукова, превращалось в позднейшее равновесие «прогрессивного блока». Это шло снизу, от непосредственных работников Думы. Они в конце концов повели за собой и вождей. Так опыт думской работы отрезвлял нашу общественность, как позднее ее переродили роковые для России годы войны. Кадетская общественность во 2-ой Думе не затруднилась и «формулировать» свое новое понимание; симптомом его был тот план думских работ, который защищал, несмотря на негодование левых и язвительные насмешки правых, В. Гессен в заседании 22-го мая; в нем послышались новые ноты и был высказан трезвый взгляд на задачу Государственной Думы. С ним

было опоздано, так как роспуск Думы был тогда предрешен; он и оборвал ее выздоровление.

Я не могу отказаться от своего впечатления, что кроме общих причин, которые соглашение затрудняли, и в конце концов истощили терпение Государя, в уступке Столыпина на роковой роспуск Думы сыграло роль и недоразумение с аграрным вопросом. Когда посреди своих стараний Думу спасти и с ней наладить работу, он заподозрил, что Дума его аграрную реформу отвергнет, он с своей обычной стремительностью решился ее **предупредить.** Недаром, когда при нашем визите мы этот вопрос ему разъяснили и с этой стороны успокоили, он тон переменил и стал нас убеждать ценой выдачи соц.-демократов **Думу спасти.** В этот момент он явно жалел, что мы на это не шли, хотя и сам понимал, что **итти не могли.** Думаю, что он пожалел и о том, что свое требование к Думе ему пришлось так резко поставить. Ему не было смысла перед нами в тот момент притворяться.

Но самая возможность такого недоразумения с аграрным вопросом показывала, как необходим и как недостаточен был контакт Столыпина с Думой, какой вред получался от того, что представители нашей общественности наладить его **не хотели** и дальше случайчайных изолированных и «секретных» свиданий не шли. В этом сказалась политическая атмосфера этого времени, и та «генеральная линия» нашей общественности, о которой я специально говорил в V-ой главе этой книги.

Но как же оценивать самый распуск Думы, какими причинами он ни был бы вызван?

О **самой** Второй Думе жалеть не приходится. Она была неудачной и по составу и по своему исключительно низкому культурному уровню; в этом отношении из всех четырех русских Дум она побила рекорд. Для той грандиозной задачи, которая была перед нею поставлена, она была мало пригодна; «работников» в ней было немного.

Печально было не то, **что эта** Дума со сцены исчезла, а то, что ее преждевременный роспуск оборвал тот здоровый процесс, который в ней начинался. Быть может, именно потому, что уровень Думы был **невысок,** и авторитет ее невелик, процесс образования либерального рабочего центра имел такой симптоматический смысл. Он был **органическим,** вытекал из самой сущности дела, из новых отношений между Думой и властью — и трудно сказать, кто на кого больше влиял. Дума ли на все общество, или общество на Думу? Но тот же процесс в них шел параллельно. Если бы вместо того, чтобы распускать эту Думу, ей дали дольше работать, а правительство стало яснее показывать, что свою либеральную программу принимает всерьез — через несколько времени и при старом избиратель-

ном законе новые выборы произошли бы в **другой** атмосфере и **другой** обстановке. К этому шли. Но правящие люди в России увлеклись соблазном форсировать этот процесс и получить сразу больше, чем можно. И тогда получилось то, что в подобных случаях бывает всегда: победители победу свою проиграли.

Во-первых, роспуск Думы был неразрывно связан с государственным переворотом, с тем изменением избирательного закона, которым хотели ускорить оздоровление общественных настроений. Опыт 2-ой Думы мог научить, что это не было нужно*). Выборы пошли бы в другой атмосфере. А переворот опять сдвинул **влево** конституционные элементы. Как ни искусно старался Столыпин показать в Манифесте, что акт 3-го июня **не отменял** конституции, что он объясняется только «государственной необходимостью», этому объяснению нельзя было верить; **необходимости** не было. 2-ая Дума не сделала ни одного антиконституционного акта, ничем не показала, что не хочет или не может работать; даже в выдаче соц.-демократов она не отказала, а суточная срочность этого требования не была обоснована; после обыска у Озоля до предъявления требования, прошло четыре недели; почему же Дума не могла просить двух дней на обсуждение? Все причины, в Манифесте указанные, были явно неискренни. Потому, несмотря на все оговорки Столыпина, в акте 3-го июня увидали не необходимость, а знакомую претензию Верховной Власти всегда считать себя выше закона, т. е. удар по основному принципу «правового порядка», который правительство собиралось вводить. А комментарии, которые к этому акту стала делать правая пресса и правые люди, в этом убеждении укрепляли. Все антиконституционные заявления и поступки кадет меркли перед нарушением властью данного Царского слова, как опоры конституционного строя. Нельзя удивляться, что в кадетской среде опять началось тяготение к Революции, т. е. к той политической комбинации, которая во время «освободительного движения» себя оправдала. Наоборот, сближение с более правыми конституционными партиями: октябристами и умеренно-правыми, которое началось во 2-ой Гос. Думе, было этим оборвано. Акт 3-го июня был сделан в

---

*) Я припоминаю по этому поводу, что в начале 3-ей Гос. Думы Щегловитов мне лично рассказывал, будто он был против изменения избирательного закона в незаконном порядке, просил Столыпина об этом его особом мнении доложить Государю и Государь выразил свое удивление. Если это правда, то Щегловитов показал этим не только юридическую щепетильность, которой у него в это время уже не было, но и большую политическую проницательность, чем ее оказалось в Столыпине. Он верно оценил настроение. К сожалению, весь этот мой разговор с Щегловитовым произошел тогда в такой удивительной обстановке, о которой я предпочитаю после смерти его не рассказывать, что его сообщение мне не внушает доверия.

их пользу, получил их одобрение, и этим провел непроходимую грань между ними и либеральной средой.

Вторым последствием этого акта было то, что он охладил реформаторскую готовность умеренных партий, и двинул их вправо. То просветление, которое вызвало в них соприкосновение с более широкой избирательной массой, сознание необходимости считаться с ее настроениями, стало испаряться с тех пор, как изменен был состав избирателей. Они успокоились, стали менее убеждены в неотложности возвещенных реформ и в пользе образования для этого либерального центра, «прогрессивного блока». Более того: тяготение к этому стало их компрометировать в глазах тех правых избирателей, которым акт 3-го июня отвел первое место. Они стали искать соглашения с этими правыми, а не с либеральной оппозицией. Нужен был урок 3-ей Думы и испытание военного времени, чтобы вернуться опять к идее «прогрессивного блока».

Но самый сильный удар роспуском Думы Столыпин нанес себе самому. Здесь поистине была Немезида. 2-ая Дума Столыпину недостаточно помогла и этим повредила себе. Но когда, в угоду правым, он от нее отказался, то этим он ослабил себя. Он это скоро увидел. Хотя 3-ья Дума в начале превозносила его, но это продолжалось недолго. Ее новое большинство ценило в нем не то, что было его местом в истории, не сторонника конституции и правового порядка, а то, чем он напоминал старый режим, т. е. автора 3-го июня и представителя «беспринципной» борьбы с Революцией. Против него самого и особенно против его реформ возникла и усилилась «оппозиция справа». Чтобы сохранить свой истинный облик, Столыпин должен был бы уйти в тот момент. Но он себя с актом 3-го июня связал и никто не уходит во время победы. Он пытался бороться с правыми, но должен был во многом им уступать, увольнять своих либеральных сотрудников, сохранять старые институты, в роде земских начальников, об упразднении которых он торжественно возвестил в декларации перед 2-ой Гос. Думой, и, наконец, — в угоду правым, под видом национального возрождения — начать диверсию в сторону угнетения инородцев. Как далеко он готов был пойти на этом скользком пути, показывает дневник Л. Тихомирова (Красн. Архив, т. 62). Но эти уступки с ним правых не примирили. Он был им больше ненужен, как оплот против Революции; а либеральные его симпатии и планы их только пугали. С правых скамей восстали даже против его любимого детища — крестьянских законов. После 2-ой Думы настоящего Столыпина мы больше уже не увидим. Трагическая смерть не только спасла его от опалы, но и сохранила его репутацию.

Это достаточно объясняет, почему Столыпин инстинктивно или сознательно за 2-ую Думу держался; в этом обнаружилось и ее значение в нашей истории. Она не была тем пустым местом, как ее

недруги ее изображали по сравнению с 1-ой. У последней были перед нею внешние преимущества. Она блистала именами и талантами; возбудила массу надежд, восхищала публику речами и выходками, которые сходили за смелость; отчеты о ее заседаниях, если теперь иногда вызывают досаду, то все же эффектны; о Первой Думе интереснее и читать и писать, чем о Второй. Все это в порядке вещей. Зрелище боя, когда калечат друг друга, для зрителей занимательнее, чем наблюдение за больным человеком, который медленно поправляется. О Первой Думе писали много и клевет и дифирамбов; ни тех, ни других она не заслужила; несмотря на лучшие намерения, при самых благоприятных условиях, она развитию России принесла один вред. Ее главные деятели именно потому, что не только сознавали, но **преувеличивали** свой авторитет в государстве, повторяли тот самый порок старого порядка, с которым должны были бороться: **считали волю Думы выше права.** Дума казалась им той «верховной государственной властью», для которой законного ограничения быть не должно. Но на этой позиции они были слабее своего врага, т. е. исторической власти; свои же «конституционные права» они этим компрометировали и подорвали в глазах и власти, и общества.

Иное было со 2-ой Гос. Думой, о которой никто не говорил доброго слова. «Серая, бесцветная, безглавая», она не покушалась делать чудес; но за то она нашла правильный путь для своего конституционного назначения. Этот путь стал себя постепенно оправдывать. Во 2-ой Думе начал не только устанавливаться переживший **все** Думы порядок ее обихода, но и намечаться та объективно необходимая комбинация «прогрессивного блока», которая одна могла реформировать Россию без потрясений и изменить ее облик, сохраняя в ней и порядок и преемственность государственной власти. Для той кучки, которая хотела, чтобы государство служило только **их** интересам, Первая Дума была не так опасна, как Вторая, как на войне безрассудный по смелости натиск менее страшен, чем постепенное окружение. Правые воспользовались ошибками Думы, предубеждением против нее Государя и стремительностью жестов Столыпина, и сумели на роспуске ее настоять. Для мирного развития России он был большим ударом, чем преждевременное прекращение Первой. Первая Дума, против своего желания, вела все-таки нас **к революционному** взрыву; Вторая-же, если бы ей это время позволило, могла бы от него Россию избавить. После ее неудачи все пошло по иному. Третья Дума компрометировала и Столыпина и октябристов. Несмотря на внешний успех конституционного строя и связанный с ним расцвет экономической жизни, она вела к возобновлению старой борьбы власти и общества. Это обнаружилось в 4-ой Думе. И при третье-июньском законе результат выборов оказался другой. Страна опять явно **левела,** в вместе с нею и Дума. Пра-

вительство же искало спасения в еще большем повороте направо. Серьезный конфликт назревал. Он был замаскирован и отсрочен войной. Под влиянием военной опасности думские партии уже обдуманно перешли к той спасительной комбинации «прогрессивного блока», которую инстинктивно наметила 2-ая Дума. Это был новый и самый реальный шанс примирения с властью. Но с этим было опоздано. Верховная Власть тогда с рельс уже сошла и летела к пропасти, ничему не внимая. Но рассказ об этом лежит за пределами книги.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris (13)

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
Editions et Librairie LA RENAISSANCE
73, Avenue des Champs-Elysées, Paris 8-ème.